

22.242K

Щелмы
ветер



ИЗ БИБЛИОТЕКИ

поэта

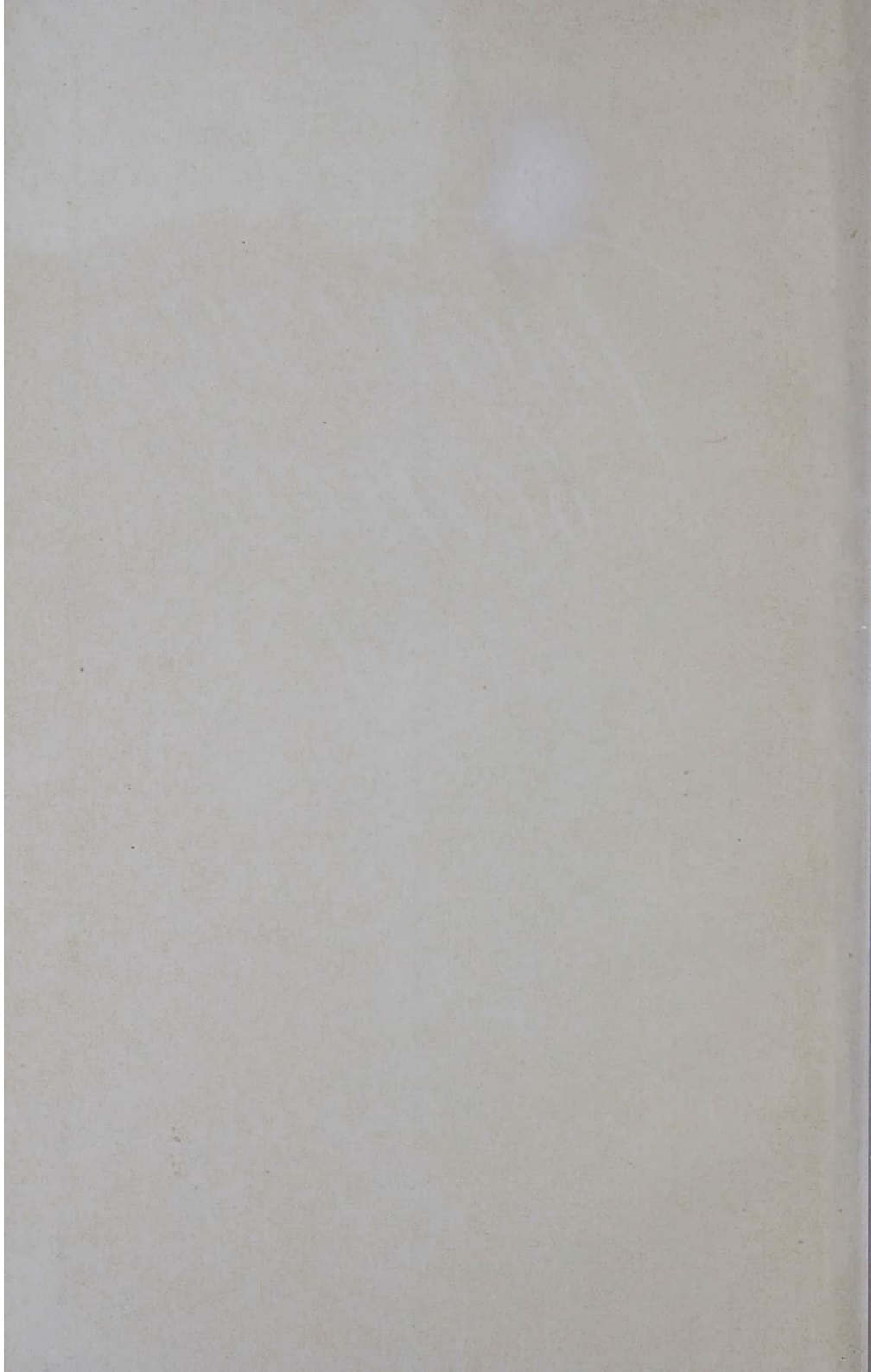
*Дмитрия Николаевича
Семеновского*

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 1653—91



Д. Селезневский

ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Шеплый ветер

Литературно-художественный сборник



ИВАНОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1958

кР 22.242



0000

-- 2010

Виктор Кувалдин

В РОДНЫХ КОЛХОЗАХ

Рассказы

ЮБИЛЕИ

Мельник колхоза «Прогресс» Иван Яковлевич Бережков заболел. Откинувшись на спинку стула, он сидел в конторе правления перед председателем и, не смотря на недуг, бойко объяснял:

— Маята эта самая меня лет десять назад схватила. Пошли мы как-то с Ермил Сергеечем на Сежу окуньков с подпуска половить. Только стали лавы переходить, вдруг вижу — подъязок. Нагнулся к воде, а он глаза выкатил, губами ворочает: «Что, мол, старый хрыч, пымать меня хочешь? Накося выкуси!» Не удержался я и скользнул в ватнике и сапогах вниз. Не иначе с тех пор болезнь ко мне привязалась. А может, от жерновов надломился?..

Видать, уходить с работы надо.

Председатель колхоза Николай Ильич Золотарев слушал старика с подчеркнутым вниманием: мельник в колхозе был один. Смуглолицый, с широко раскинутыми темными бровями, вдобавок одетый во все черное, Николай Ильич казался суровым и недоступным. Но эта внешняя его строгость в колхозе давно уже никого не обманывала.

— Ты, Иван Яковлевич, потрудишься до лета, а там мы что-нибудь придумаем, — сказал Золотарев и поднялся со стула, давая понять, что разговор окончен.

Но старик продолжал сидеть, поминутно прикладывая руку к пояснице.

— Вот и старуха моя советует. Поскрипи, говорит, зиму, а там хоть и помирай: все равно от тебя проку, что от квёлого петуха. Только, видать, не дотяну до лета. Уходить собрался. Может, Николай Ильич, какую должность полегче для меня сыщешь? Поболтаюсь малость.

— То есть как уходить? — нахмурился председатель. — Праздник скоро. Без пирогов хочешь народ оставить? Да и на фермы каждый день нужен помол. Нет, нет. Мельницу закрывать нам никак нельзя. И вообще нельзя нам без мельницы! — уже сердито, теряя выдержку, проговорил Золотарев.

Но мельник стоял на своем. Застегнув на все пуговицы потертое на локтях и припудренное мукой пальто, он неторопливо встал и направился к выходу.

Солнце пригревало по-весеннему щедро. Жухлый, изрытый подковами и покрывками машин снег темнел на дороге и проталинах, а поодаль еще рябил белоснежными островками. Полюбовавшись на это весеннее разноцветье, Бережков вздохнул и выбрал путь к своему приятелю Козыреву на свиноферму.

Свинарь сидел в чистой крохотной комнатухе, отделенной от стойл сплошной перегородкой, сличая на клочке бумаги какие-то цифры. Негодование, казалось, только и искало предлога спрыгнуть с его широких обветренных губ. К вздернутому носу ото лба угрожающе тянулись жесткие щетинистые иглы рыжих волос.

По общему признанию, за Козыревым водилась особенность смешивать чужие заслуги со своими, путать личные местоимения и не особенно считаться с близкими людьми. Вместе с тем, он страстно любил свое дело, вгрызался в него и, если требовалось, мог жить на ферме по неделе.

— У председателя вот был, — удобно располагаясь на лавке, начал мельник. — Бок отнялся. Живешь — пряники жуешь, а придет старость — и горбушка в радость.

Свиновод пропустил мимо ушей этот глубокомысленный оборот. Он, казалось, вообще не замечал гостя, так был поглощен вычислениями.

— Подсчитали, будто за зиму сто пудов concentra-

тов я съел, — неожиданно ткнул он пальцем в тетрадь и с шумом отодвинул ее на середину стола. — Математики! Надо в самое нутро дела смотреть — на привес. А мой привес — вон он за стеной животами пол подметает.

Желая расположить на свою сторону свинаря, Бережков болезненно поморщился:

— Бывало, ты как молодой месяц: встанешь рано, умоешься росой, тебе и дело не в дело. А теперь — тяжело. Годы не те.

— А мне, ты думаешь, легко на свиней жир нагонять, — остался равнодушным к его уловке Козырев. — Тут на днях у меня такой случай вышел. Зорька пятнадцать поросят принесла, я и говорю бригадиру: молоко выписывай, подкармливать родинцов надо. А он — погоди. А что — погоди? Сосков-то у меня для всех все одно не хватит.

Нагнув голову, словно собравшись бодаться, он достал из карман брюк крепкими, короткими пальцами сигарету. Закурил.

— У каждого свое, — вздохнул мельник. — А я вот уходить с мельницы собрался.

Он сказал это уже без надежды на сочувствие, но на этот раз Козырев проявил интерес к его словам.

— Возьми Федора на свое место, обучишь — хорошая замена будет... Или, постой... есть у меня на примете один знающий человек — Ветлугин. Всю эту механику с насечкой и направкой жерновов с малолетства превзошел. Я на днях в Березовку пойду, загляну к нему. Скажу: ставь магарыч — и дело с концом. Согласен?

Бережкову не понравилось такое легкое решение вопроса. Он хотел неторопливо и обстоятельно рассказать о том, как у него началась ломота в пояснице, пожаловаться на свою старуху, услышать сожаление по поводу ухода с мельницы. Но на такое излияние чувств Козырев, видимо, был несогласен.

— Может, и в самом деле стоящий человек, — осторожно заикнулся Бережков.

Ценой этого тяжелого для себя признания он хотел все же вызвать своего приятеля на душевную беседу, но ее не получилось и на этот раз. Увидев в окне шуст-

рого юнца, Козырев замахал руками, напялил на голову разношерстный треух и сорвался с места.

— Мишутка картошку привез. Посмотрю — много ли.

Сидеть одному и слушать, как где-то за перегородкой возьятся и чавкают свиньи, не хотелось, и Бережков поплелся к выходу.

Утоптанной тропой он неторопливо двинулся к мельнице. Шел тихо и долго, вспоминая на пути всю свою жизнь.

В сущности, прожита она была неплохо, а если бы не вечная война со своей старухой, то и очень хорошо. Плохо же было то, что никому не было дела ни до его поясицы, ни до старости, которая неминуемо должна прийти к каждому...

А солнце, между тем, не скупилось на ласку. Земля так и тянулась к нему вершинами темно-рыжих деревьев, отлогими скатами полей, заснеженными берегами начавшей темнеть речушки, чтобы вскоре самой весело засверкать всеми красками, зашуметь и зажурчать на тысячу ладов.

**
*

Через неделю на мельницу пришел мужик лет под пятьдесят, с красными упругими щеками и курчавой растительностью вокруг шеи. Твердо перешагнул через порог, отстранив локтем Бережкова: так заглядывают в старый, заброшенный дом, чтобы узнать, а нельзя ли тут чем поживиться. Потом небрежно подал руку и назидательно сказал:

— Из годов вышел, был конь, да изъездился... Что ж, это дело обычное: износишься — никого не спросишься.

И без видимой связи спросил:

— Жернов-то чем подымаете? Покажь-ка!

«Еще ни коня, ни возу, а уж командует», — подумал Бережков, поднимаясь по шатким ступеням деревянного помоста.

После того как все было осмотрено и прощупано, Ветлугин толкнул ногой входную дверь и высунул голову наружу.

— Эй, оголец, — сочно крикнул он подвернувшемуся мальчугану, — Добежи до конторы, позови главного. Скажи: мельник наниматься пришел.

«Знает себе цену, — снова мелькнуло в сознании Бережкова. — Такой не продешевит».

Ждать им пришлось недолго. Однако явился не Золотарев, а его заместитель — Парфенов, медлительный, раздавшийся в поясе, с унылым лицом цвета пареной репы.

— Знакомы будто? — первый заговорил Ветлугин. — Помню тебя, Андрей Аркадьевич, орлом. Все тебе кланяются, всему ты хозяин. А сейчас на вторых ролях, значит. Сковырнули?

— О деле давай, — нахмурился Парфенов.

— Правильно... Как цыган говорит: «На одном коне катайся, а о другом думай». Сколько же ты мне дашь?

— А сколько запросишь?

— Я сюда не просить пришел, — раздельно, понижая голос, сказал Ветлугин. — Восемь бумажек мне в любом месте в зубы сунут.

— Креста на тебе нет! — всплеснул руками Бережков.

— Больше шестисот правление не отпустит, — нерешительно заметил заместитель.

— Значит, мне тут разговаривать не о чем, — надвинул шапку на голову Ветлугин и пошел к выходу.

Шагал он не оборачиваясь, твердо переставляя ноги, по-медвежьи вывертывая ступни ног.

Заместитель и мельник вышли из помещения не сразу, — этого требовал торговый этикет. Однако у Парфенова выдержки хватило ненадолго. Он переминался с ноги на ногу, скреб ногтем желтую унылую щеку, минутно смотрел вслед Ветлугину.

— Христом-богом прошу тебя, Андрей Аркадьевич: не зови его. Все дело испортишь, — зашептал Бережков. — Ему и пятьсот за глаза хватит. Вернется. Право слово, вернется.

Но едва «захожалый» поравнялся с березкой, возле которой обозначался поворот, заместитель испуганно заорал: — Постой!.. Вернись-ка! — А когда тот невозмутимо медленно преодолел короткий путь, Парфенов махнул рукой...

— Получай семьсот — и дело с концом.

— В общем, пользуйся нашей простотой, пока дураки не вывелись, — сплюнул Бережков.

— А ты чего нос суешь? — скосил глаза Ветлугин. — Хвост вперед головы не лазит.

— Это я — хвост! — вытаращил глаза мельник. — Деньги-то тебе Андрей Аркадьич не из своего пинжака вытащит. Наши, колхозные, в оборот пустит.

— А твоя какая печаль? Помирать собрался, а туда же, общественные деньги считает.

Лицо у Бережкова покрылось испариной. Он быстро-быстро задергал губами, отступил шаг назад и почти одержимо закричал:

— Ты зачем нашу землю топчешь? А? Кто тебя сюда приглашал? Гони его, Андрей Аркадьич, в три шеи. Гони! А не то я сейчас мужиков позову. Они ему спину-то наломают!

Ветлугин круто повернулся и, сохраняя достоинство, пошел. На этот раз он возле поворота не остановился, несмотря на зов заместителя.

**
*

Вечером Парфенов рассказал об истории, случившейся на мельнице. Разговор шел в тот поздний час, когда в конторе правления собиралось все начальство и обсуждало события минувшего дня.

— Случай возмутительный, — не повышая голоса, бесстрастно повествовал Андрей Аркадьевич. — И сам не хочет работать, и мешает нам подбирать кадры.

— Подожди, подожди, — навалился на стол Золотарев. — Так и сказал: ты зачем нашу землю топчешь, в три шеи велел гнать и насчет пиджака заикнулся? Да это же замечательно!

Легко оторвавшись от стула, он потер маленькие сухие ладони и остановил свой цепкий взгляд на заместителе.

— Кадры... Какие это кадры! Нам надо готовить своих мельников, пчеловодов, кузнецов, шорников. Почему у нас эти профессии не в почете? Заметьте, всеми этими второстепенными, как мы понимаем, делами занимаются чаще всего старики, обладающие богатым жизненным опытом, навыками, терпением. Умирает человек, и мы с умилением вспоминаем о том, какой он был замечательный знаток своего дела. Я к чему это говорю, — повернулся Золотарев к бригадирам? Помните,

весной мы принимали решение чувствовать достойных старожиллов. Люди мы стали денежные, время перед посевной, есть. Не пора ли нам от слов переходить к делу? Вот с Бережкова и начнем. Он мне как-то всю свою биографию рассказал: занятная.

— Это в виде поощрения за скандал, — усмехнулся Андрей Аркадьевич.

Золотарев ничего не ответил. Глубокая складка перерезала его лоб, в темных глазах вспыхнула и тотчас же погасла острая, безотчетная неприязнь.

А Бережков хотя и продолжал ходить на мельницу, но от своей попытки оставить работу не отказался. Он все так же хватался за бок, вспоминал Сежу и в довершение к этому устроил в пустом бревенчатом отсеке нечто вроде клуба. Заезжие мужики собирались здесь возле груды отсевок, безостановочно дымили самокрутками и вели проникновенные беседы.

Спустя несколько дней он снова заглянул к председателю, тяжело уселся на тот же стул и завел прежний разговор о замене.

— А я, Иван Яковлевич, твой выпад против этого Ветлугина понял как добровольное согласие остаться на мельнице, — подвигая стул к старику, сказал Золотарев. — Ну хорошо, пойдем навстречу. Но прежде отпразднуем твой юбилей: пятьдесят лет на трудовом посту. Так?

Бережков заерзал на стуле и что-то невнятно пробормотал.

— Соберемся в клубе, — продолжал невозмутимо председатель. Заставим секретаря рассказать о твоей жизни: пусть молодежь учится, как надо работать.

Мельник снова хотел что-то ответить, но только махнул рукой. Вышел он сгорбившись, тяжело шаркая ногами. Увидел ли председатель, или ему только показалось, как в эту минуту повлажнели, затуманились глаза старика.

**
*

Юбилей справляли всем колхозом. В разгар торжества принесли поздравительную телеграмму из сельсовета, хотя он и находился через дорогу, а все его работники сидели за праздничными столами. Правление колхоза выделило небольшую премию, от кассы взаимо-

помощи вручили путевку в дом отдыха. Мельник расчувствовался и часто шмыгал носом. Рядом с ним сидела маленькая остроглазая женщина, привыкшая разжимать губы, видимо, только для приказаний. Когда он пытался налить в стакан из зеленой бутылки, она сурово тянула его за локоть и подвигала кружку с каким-то черничным соком.

А неделю спустя Бережкова отправили в санаторий. Место его временно на мельнице занял приехавший из города колхозник Дерябкин. Мельник подозрительно отнесся к такому назначению и вскоре прислал из здравницы тревожное письмо. К удивлению жены, почтальон стал приносить ей такие письма чуть ли не через день. На конверте тяжелым неровным почерком неизменно повторялось: «Передать моему заместителю Ивану Кузьмичу Дерябкину».

— Вот, старый, расписался, — ворчала жена. — Когда я в молодайках ходила, ни одной строчкой меня не обрадовал. И откуда он только на свои пакеты марки берет.

**

Ехал Бережков в колхоз теплым апрельским днем. Крикливой грачиной возней встретила его на краю деревни березовая роща, весенним похмельем — ожившая от зимней спячки земля. На пригорках, воинственно прокальвая ржавую листовенную прель, тянулась к солнцу ранняя зелень.

Сидя в телеге на ворошке сена, Бережков всю дорогу без умолку говорил, а когда подвода поравнялась с окраинным домом, замолчал и подтянулся: предстать перед односельчанами он хотел осанистым и серьезным.

Возвращавшийся с парников председатель издала увидел мельника и, хотя шел в другую сторону, повернул и направился к подводе.

— Ну как, Иван Яковлевич, подлечился? — спросил Золотарев, протягивая руку.

— Десять годов как рукой сняло, — охотно ответил Бережков. — Слышал о живой воде — словно ее глотнул.

— Ну, теперь домой поезжай, — добродушно заметил Золотарев. — Твоя старуха и так прохожу мне не дает, все спрашивает: скоро ли, мол, вернешься.

Короткий разговор и неожиданный совет сбили с толку Бережкова. Он твердо был уверен, что председатель сразу же заговорит о работе, и приготовился ответить согласием. Но Золотарев уже направлялся к конторе, с расчетливым мужеством погружая сапоги в редкие, лежавшие на его пути лужицы.

...На другой день Бережков поднялся рано и по привычке пошел на мельницу. Но чем ближе подходил к ней, тем неувереннее себя чувствовал: вчерашний разговор с председателем не выходил у него из головы. Он вспомнил, как Золотарев слишком поспешно отослал его к старухе, каким живым и хитрым огоньком при этом светились глаза собеседника. И когда попытался представить себя на миг в роли стороннего наблюдателя колхозных дел, понял, что лишится самого дорогого и прочного, чем в течение полувека жило его сердце.

«Это Дуняшка виновата, что я перед Золотаревым больным прикинулся, с работы уйти захотелось,—неожиданно с досадой решил он. — Это она тогда меня с пути сбילה». И перед его глазами живо встала веселая разбитная доярка Сизова, жившая с ним двор ко двору. Как-то Бережков зашел к ее отцу и засиделся. Дуняшка была дома, вертелась, примеряя наряды, перед зеркалом, мешала серьезной беседе.

— Собиралась в клуб, так иди, — нетерпеливо повернулся к дочери Сизов.

— А я виновата, что не знаю, какой платок поинтереснее выбрать. Вон их сколько — глаза разбегаются.

А когда девушка ушла, Сизов, хлопнув ладонью по коленке, рассмеялся.

— Во всем дареном ходит. Платье на ей вишневое — из отреза с районной выставки, костюм в шкафе висит — подарок из области, платок — тоже награда. Гармонь даже получила: играет на ней чище парня. Постой я тебе покажу, гармонь-то эту.

— Не надо, сиди, — помрачнел вдруг Бережков, почувствовав себя как-то сразу одиноким и обиженным. За сорок лет работы ему даже спасибо никто не сказал.

Вот после этого разговора и пристали к нему неотвязные болезни, привязалась неуступчивая грусть.

... Рассуждая сам с собой, Бережков подошел к мельнице. У входа стояло несколько телег, груженных мешками. Одна лошадь, запутавшись в вожжах, нетер-

пеливо дергала ногой, другая — подвижными губами выбирала из телеги высыпавшееся зерно.

Бережков выпутал лошадь и, чувствуя, как в нем поднимается слепой безудержный гнев, твердой походкой хозяина вошел в помещение. Возле жерновов никого не было, они мерно кружились: из лотка в ларь бежала тонкая струйка муки. Привычным движением руки он захватил ее в горсть, осмотрел на свет и чертыхнулся.

Затем, обивая на ходу ладони, пошел в бревенчатый приделок, ногой пихнул дверь. Там на ящиках вокруг Дерябкина сидели несколько мужиков. Едкий махорочный дым стлался под потолком. Расправляя спину, Бережков оборвал на полуслове рассказчика, глухо, непримиримо заворчал:

— Вам, чертям, что тут — ярманка? Распустили пояса-то, обрадовались легкой жизни. А ну, давай зерно с подвод волоки. И чтобы у меня больше здесь не раскуривать. Нашли место!

К ОДНОМУ БЕРЕГУ

Комиссия, занятая подработкой предложений к Уставу сельхозартели, заседала две недели. Все это время контора правления была похожа на потревоженный улей. Рубцова пригласили из района на совещание птицеводов, но он отказался ехать: одолевали посетители, обращались то и дело за помощью члены комиссии. Нужно было и самому разобраться во всей путанице с учетом трудодней, затрат на производство продукции, понять, насколько «ненаучны», как выразился агроном, были существовавшие в колхозе нормы выработки.

За последние дни Рубцов не высыпался. Обтянутые сухой кожей скулы обострились, глаза потемнели. Увидев как-то себя в зеркале, он задумчиво провел ладонью по щеке, потом махнул рукой: не до этого!

Из посетителей в тот день особенно запомнились двое: заведующий свинофермой Свистун и снятая за беспорядки и злоупотребления на ферме Наталья Белова.

Свистун, невысокий, упитанный, считался усердным, исполнительным работником, но вместе с тем и боль-

шим любителем позлословить. Говорил он всегда обиженным тоном ребенка, которого по недоразумению лишили сладкого, хотя он из кожи рвется, чтобы быть прилежным.

— Ты чего, Семен Яковлевич? — спросил Рубцов, заметив, что свиновод удобно расположился на стуле.

— Бархоткину мне.

— Зоотехник ушла в Ключи бригадное совещание проводить.

— На ферме дров нет, а она совещание, — неодобрительно заметил Свистун.

— Сама что ли она для тебя дрова будет возить? — нахмурился Рубцов.

— А кто же, кто? — торопливо заговорил Свистун, словно боясь, что его оборвут. — Я их каждую ночь с овчарни ворую... Уж меня Тарасов предупредил. Замечу, говорит, еще — ударю оглоблей промеж глаз и под суд не пойду. Потому в темноте не видно: волк это к овцам подбирается или я, значит, к дровам.

— А к бригадиру обращался?

— К бригадиру-то!? Он на свинарню только за навозом и ходит.

Рубцов слушал эти жалобы, как надоевшую песню. Сколько раз ему приходилось быть свидетелем подобных сцен! Новая система руководства бригадами должна была расшатать клин, вбитый между полеводцами и животноводами.

— Алексей Николаевич! — прервал его размышления Свистун. — Новые порядки, говорят, у нас на фермах заводятся. Будто бы теперь я и свиней сам пасти буду. Так ли?

— Не совсем так, — не очень охотно ответил Рубцов. — Придешь сегодня на собрание, узнаешь.

— Как же я тогда жить буду? — сокрушенно вздохнул он. — Дочь десятилетку кончила, скажет: батьку в свинопасы произвели.

— А ты приводи ее ко мне, я с ней потолкую.

Свистун долго мял в руках шапку и ушел, обуреваемый сомнениями.

Появление Беловой было неожиданным. Вошла она робко, покосилась на стул, но не села, а прислонилась к косяку двери.

Рубцов прищурился, усмехнулся, протянул руку.

— Ну, здравствуй... — Но подумал и добавил: — те.

— Здравствуйте, Алексей Николаевич, — негромко сказала Белова.

— Стул вон стоит... В ногах правды нет.

Белова поправила на голове платок и чинно села на краешек стула.

— Я, Алексей Николаевич, с просьбой: в овчарню работница нужна, я бы согласилась.

Рубцов не сразу ответил. По старой привычке партийного работника он любил находить причины, объясняющие то или иное поведение людей. И это простое выработанное им правило часто предостерегало его от необдуманных выводов и решений. Свистун был для него ясен. В какие бы причудливые формы ни выливались его жалобы, он всегда делал, что мог. Рубцов, не моргнув глазом, поставил бы его на самый трудный участок работы, зная, что тот изведет его нытьем, но и сам не будет спать ночей, а порядка добьется.

Другое дело Белова.

... Когда Рубцов только что переехал в колхоз, секретарь партийной организации Стрижов ознакомил его с колхозным активом. О Беловой он процедил сквозь зубы несколько невнятных фраз, из которых все же можно было понять, что молочно-товарная ферма, которой она руководила, была когда-то лучшей, но потом скатилась на последнее место в районе. Ходят темные слухи о легком образе жизни этой молодой, одинокой, красивой женщины. Нрав у нее непокладистый, переговорить ее так же трудно, как потушить слезами костер.

— Держать ее нет никакого смысла. Сразу же подыскивай на ее место другого человека, — предложил Стрижов.

Этот давний разговор быстро всплыл в памяти Рубцова. Вспомнил он и другой эпизод.

Однажды, в первые дни работы, он после осмотра свинофермы возвращался со Свистуном в контору. Свинарь без умолку ворчливо рассказывал о прежних непорядках в колхозе, видимо, по привычке, ругал бывших руководителей и их приспешников.

Срезая дорогу, они шли лугом. Вечерело. Пыльная сухая трава мягко шуршала под ногами. От непривычно долгой ходьбы у Рубцова ныли ноги, хотелось пить.

Когда задами подошли к деревне, Свистун толкнул председателя под локоть и кивнул в сторону молодой женщины, празднично сидевшей на скамейке у крайнего дома.

— Вот еще у нас фрукт в юбке, слабыми зубами не раскусишь... Насчет ее у меня к тебе, Алексей Николаевич, один совет — гони с фермы в три шеи.

Рубцов вспомнил предостережение секретаря и с любопытством посмотрел на женщину.

Были те минуты, когда солнце, прежде чем опуститься за горизонт, любовалось на свое отражение в стеклах окон, и от этого всё кругом выглядело наряднее, веселее. И женщина сидела точно напоказ: ее розовое платье багряно рдело в густых красках заката; зажав в кулаке семечки, она методически бросала их в рот, бесцельно глядела перед собой.

— Я к ней заверну, — сказал Рубцов. — Малость потолковать надо.

Свистун неодобрительно покачал головой, предостерегающе прошептал:

— Ты, Алексей Николаевич, с ней не вздумай лясы точить: не успеешь оглянуться, как она тебе голову вскружит. При твоём временном холостяцком положении это всё одно, что с головой в колодец. Ты с ней один тон держи: налево кругом, ар-рш!

Через пару минут Рубцов сидел на скамейке рядом с Беловой и вытирал платком лицо.

— По дороге зашли? — спросила женщина, бесцеремонно оглядывая запыленного, с темной полосой на лбу председателя.

— А мне и семь верст не крюк, если по делу.

Слово «дело» заставило Белову насторожиться. Лицо ее стало строже, а изогнутые у висков брови чутко приподнялись.

— Ко мне все больше на дом-то от безделья ходят, — небрежно сказала она.

Рубцов пропустил мимо ушей это необдуманное признание, провел сухим языком по губам и прежде всего попросил принести стакан холодной воды. Жажда ли его уж слишком томила, или любопытство, только, не дожидаясь возвращения, он и сам пошел вслед за ней в дом. И крайне удивился, увидев залитую светом пе-

реднюю с зеркально-желтой чистой пола, зеленою цветов у окон, с солидной мебелью.

— А болтают, будто колхозники в Варцеве плохо живут, на трудодни ничего не получают, — принимая стакан с водой, сказал Рубцов.

— Это еще мужнее осталось, — сделала она округлый жест рукой. — А насчет достатков — перебиваюсь кое-как. Приезжие у меня любят останавливаться, огородишко свой есть, скотина.

Налив еще воды в стакан, она отошла к двери и сложила на груди руки, словно ожидая, скоро ли гость уйдет. Рубцов понял это, но уходить не торопился.

— Я, собственно, вот по какому делу, — расположившись на стуле, неторопливо начал он. — Сегодня ночью мы пускаем на обмолот ржи комбайн, а подавать снопы некому. Полеводы весь день заняты, поговори со своими на ферме.

— Не пойдут они.

— А ты?

— А с чего это я полеводам должна помогать? Они и так каменной стеной от нас отгородились. Тут как-то пригласила я в кино Евдокию Степанову, а она мне: бык, говорит, тебе компания, а не я. Как дополнительную оплату получать, так врозь, а тоску разгонять — вместе.

— Да-аа, — вздохнул Рубцов. — Недружно вы живете. — И как бы невзначай намекнул: — А я слышал, на вашей ферме как раз никто дополнительную оплату и не получает.

— А вы выпишите, коли такой пряткий, — стрельнула она глазами. — У соседей новый председатель, говорят, с того и начал.

— Так ведь не только во мне дело, — с досадой сказал Рубцов. — Надо еще поглядеть, как вы работаете.

Он встал и привычным движением поправил пряжку ремня.

— Вот вечером сегодня и загляну. А заодно и об обмолоте потолкуем.

— Милости просим, — поспешила вставить Белова и не очень официально добавила: — Мы вежливым кавалерам завсегда рады.

Рубцов хотел уже идти, как неожиданно дверь распахнулась и на пороге появился кудрявый разбитной

человек, привыкший, видимо, весело проводить время. Тонкие ноздри его чутко вздрагивали, глаза шурились; всем своим видом он выражал полнейшую готовность, смотря по обстоятельствам, или пуститься впрысядку, или учинить скандал.

— Новому начальству! — легко качнулся он вперед и, не сбиваясь с пути, как по натянутому канату, дошел до председателя. — В колхозе только и разговору: Рубцов да Рубцов. Интересно, думаю, на новую метлу посмотреть.

— Ну, вот и кстати, — смотри, — улыбнулся Рубцов, пожимая протянутую руку. Машинально он отметил, что пальцы у собеседника цепкие, твердые, привыкшие к ручному ремеслу.

Тот ловким движением извлек из кармана брюк початую бутылку, для чего-то перебросил ее из одной руки в другую и припечатал к столу.

— За хорошее начало!.. Лицо я тебе не подчиненное, так что пить со мной не опасайся. Зовут меня Герасимом, а по-простому Гераська. Хожу в плотниках — разлюбозное дело! Ни тебе начальства, ни заботы — сыт, пьян и нос в табаке.

Не желая обидеть плотника, Рубцов второпях сослался на печень и направился к двери, но Герасим забежал вперед и самозабвенно выпалил:

— Вино болезни не помеха. Я, брат, тебе такой случай расскажу... Был у меня сосед. Винище это самое хлестал без оглядки. Вот доктора ему и говорят: «Бросай пить, околеешь». Послушался он — жизнь-то дороже. Только стал с того дня худеть и на живот жаловаться. Три месяца крепился, да ноги и протянул. Теперь вот и соображай, что к чему.

Рубцов пообещал Герасиму рассказать при случае другой нравоучительный анекдот, попрощался и не спеша пошел в контору правления.

Вечером он заглянул на ферму. С трудом перебрался через лужу у входа и, не застав на скотном ни одной доярки, вынул часы и стал ждать.

Первой появилась Белова и сразу же преувеличенно суетливо стала проверять бидоны, рассыпать в ведра овсяный помол. Две доярки явились, когда коров уже согнажи. Скотина ходила между стойлами, мешала женщинам работать. А Рубцов все хмурился, что-то на-

кр 22.242



спех записывал в блокнот, обдумывал: сейчас ему начать разговор или после.

Когда наполненные теплым молоком бидоны были поставлены в холодную воду, он собрал доярок. Уселись они на доски возле фермы. Из открытых ворот падала полоса света, вырисовывая беззаботно брошенные ведра и подошники. В соседней деревне назойливо тьякала собака, словно пытаясь доказать, как далеко в вечернем воздухе разносятся звуки.

Рубцов сидел с журналом учета надоев молока и не знал, с чего же начать беседу. Открыв журнал, он остановил свой взгляд на неряшливо написанных колонках цифр.

— А хотите, я по надоям ваших коров все престольные праздники отгадаю, — неожиданно хитровато сощурил он глаза.

— Может быть, вы такой догадливый, что и будущую судьбу насчет женишка мне предскажете, — фыркнула в рукав одна из доярок, с яркими, словно натертыми свеклой, щеками.

— Смех смехом, а вот давайте посмотрим... Десятого июля молока в среднем по ферме получено семьсот литров. Так? На следующий день — уже на пятьдесят литров меньше, а затем — почти на сто. Петров день у вас празднуют, угадал? Как началась гулянка, вам не до коров: доили наспех, не вовремя, ни о какой подкормке речи не было... Пойдем дальше. Второго августа опять провал. Ну-ка, подскажите: с кем в этот день веселились?

— С Ильей, — растерянно произнесла старшая доярка.

— Я в этом календаре не очень силен, — перелистывая журнал, признался Рубцов. — Но, судя по всему, святым отцам мы покоя не давали.

С этого веселого разговора он уже легко перешел на сугубо деловой: ознакомил с планом развития животноводства в колхозе, рассказал о передовых доярках из соседней сельхозартели и, как бы вскользь, попросил поработать ночью на току. Из семи согласились трое. А когда встал, чтобы идти домой, румяная вслед ему снова хохотнула:

— Насчет женишка-то как?

Рубцов обернулся и с завидной уверенностью изрек:
— А вот станешь хорошо работать, от парней тебе и отбоя не будет!

На другой день Рубцов ознакомился с фермой по финансовым отчетам, беседовал с зоотехником, коммунистами. Все говорило о том, что на место заведующей надо ставить человека покрепче. А вскоре правление колхоза предложило Беловой сдать дела.

Внешне она отнеслась к снятию спокойно, но порой резкие жесты и несдержанная речь выдавали ее волнение. Как-то после небольшого собрания в бригаде она ворвалась к нему за перегородку — это помещение называлось кабинетом — и возбужденно отчеканила:

— Говорить-то вы все мастера. Помогать человеку, воспитывать его!.. Где оно, это ваше воспитание? Сорвешься — уволите, вот и весь разговор. Почему я ферму запустила? Да с меня и работы-то никто не спрашивал. Придет прежний председатель на дом — поставишь пол-литра, вот и вся забота. А может я по настоящему-то делу стосковалась...

Она не защищалась, а обвиняла. Выразительное белое лицо покрывалось пятнами, темные глаза почти сливались с тенью над бровями. Нельзя было не поверить в искренность ее слов, и это больше всего смущало председателя.

В тот же день Алексей Николаевич передал содержание разговора Стрижову.

— Значит, во всем виноват я? — обиделся тот. — И что ферма стала плохой, и что Белову сняли с работы. Ну хорошо, поставим ее на старое место.

— Да не в этом дело, — досадливо махнул рукой Рубцов. — Надо, чтобы в колхозе с этого дня никто не мог бросить нам, руководителям, в лицо самое тяжелое обвинение — о невнимательности к человеку. Ошибки в работе неизбежны. Нам еще не раз придется разбирать дела и посерьезнее, чем у Беловой. Но тот, кто сорвется, пусть прежде всего винит в этом самого себя.

Последний раз Рубцов встретился с Беловой в несколько необычной обстановке. Однажды он заехал в райком партии договориться о шефской помощи. Разговор грозил затянуться — такое живое участие проявил секретарь к его председательской деятельности. К концу беседы Рубцов все чаще стал поглядывать на преда-

тельскую тучку, неожиданно набежавшую на небо, и совсем было собрался уходить, как секретарь легким движением подбородка снова привлек его внимание.

— Да, кстати... На тебя, Алексей Николаевич, жалоба поступила. С час назад приходила Белова и довольно энергично заставила себя принять. Очень обижена твоими действиями. Ошибки в решении правления нет?

— Нет, — суховато ответил Рубцов.

— А что это она про каких-то святых говорила?

Рубцов в двух словах передал содержание беседы.

Морщинки вокруг глаз секретаря развернулись веером, он откинулся на спинку стула, задрожал в беззвучном смехе.

— Ну и юморист. Тебе бы в «Крокодиле» работать, а не председателем.

И поощрительно добавил:

— Будет совещание зоотехников, непременно расскажу об этом случае.

Когда Рубцов вышел из здания райкома, небо лежало на горизонте пепельно-синим камнем. Ветер то набегал порывами, то затихал. Далеко и глухо гремел гром. «Успею доехать или обождать?» — прикинул Рубцов расстояние до колхоза и, недолго думая, решительно пошел к дрожкам.

Отъехав километра три, Рубцов заметил на дороге Наталью. То и дело поглядывая на небо, она торопливо шла к дому.

— Залезай скорее, может уйдем от дождя, — осадил он лошадь перед плечом женщины. Но та даже не обернулась на его оклик. Рубцов хотел продолжать путь один, как вдруг в дрожки упал узелок, а вслед за тем подседа и его владелица.

— Передумала, — жаркодохнула она ему в лицо.

А гроза приближалась. Горизонта уже не было видно, а вместо него на землю опускался синий занавес. Он как-то странно колебался, принимая разные оттенки — от темно-кубового до светло-серого. Чтобы занавес был прочнее, молнии то и дело прошивали его серебряными нитками.

Не доехали они с полкилометра до первой деревни, как поднялся ветер. Пыль сорвалась с дороги и закрутилась в вихре. Деревья бешено захлопали листьями. С минуты на минуту должен был хлынуть дождь.

Чуть в стороне от дороги, стоял старый сенной сарай с бревенчатым приделком. Едва они, привязав лошадь, вбежали в него, поблизости блеснуло, оглушительно треснуло, и на землю полились потоки воды.

Жадно вдыхая влажный воздух, Рубцов стоял в глубине темного, тесного, сырого приделка, едва не касаясь головой потолка. Неожиданно он заметил, что Наталья при каждой вспышке молнии стала все сильнее прижиматься к его плечу.

— Что, боязно? — спросил он, искренне разделяя страх женщины.

Но когда он увидел ее лицо и особенно глаза, то не заметил в них испуга. Они ласково светились, звали, манили... Мягкая ладонь коснулась его щеки...

Рубцов выпрямился, осторожно снял с плеча горячую руку, с трудом сказал:

— Напрасно ты это. Не возьму я тебя, Наталья, заведовать фермой. И дело тут совсем не во мне.

Позже он очень упрекал себя за эту необдуманную фразу. Белова резко отдернула руку, презрительно скривила губы и, не торопясь, пошла из приделка. Дождь сразу окатил ее с ног до головы. Вокруг все так же свистело, светило, гроыхало, а она шла спокойной поступью человека, который больше всего боится быть смешным.

Не видел он Белову с полгода. Говорили — перебралась жить на зиму в город к тетке, а следить за своим хозяйством поручила кривобокой страннице, состоявшей в семикисельном родстве. А что делала там, приглядывалась ли, как, словно на дрожжах, поднимается колхоз, с легкой ли душой переживала свой уход, — это для всех оставалось тайной.

...Вечером калиновцы собрались в зрительном зале клуба, чтобы поговорить об изменениях и дополнениях Устава. Накануне решено было пригласить не только членов сельхозартели, но и всех проживающих на колхозной земле. В этой связи определилась и повестка дня. Сначала Рубцов ознакомит «околоколхозников» с требованиями и обязанностями, которые будет накладывать на них новый Устав, затем речь пойдет о внутренних делах.

Проезжая как-то весной по Волге, Рубцов заинтересовался таким явлением: «широкое течение реки от-

ливало ровной синевой, а по правому краю шла рыжая полоса от впадения безымянной речушки. Не проехал он и трех километров, как мутная струя слилась, растворилась в Волге.

Эта отложившаяся в памяти картина всплыла, как только Рубцов пригляделся к собранию. Хозяева занимали все средние лавки, а приглашенные большей частью примостились по краям или стояли вдоль стен. Бросился почему-то в глаза ухмыляющийся Герасим; рядом с ним, сложив на коленях руки, сидела Белова, безучастная к шуткам своего соседа. Свистун занял место поближе к трибуне, в кругу самых известных по работе людей.

Как только Рубцов сжато изложил пункты нового Устава, Герасим вскочил, словно подкинутый пружиной, и, пробираясь через ряды скамеек, вышел к сцене. Расстегнутый ворот рубахи и всклокоченные волосы выдавали его волнение.

— Это что же такое получается, председатель? — шлепнул он для геройства картузом по коленке. — С сорока соток на семнадцать переводить! Ребра я на войне лишился, защищал советскую землю, а ты ее у меня отнимаешь... Мать-старуха на работе горб натерла, и ей, обратно, никаких прав. Не выйдет по-твоему, председатель. Мы и на тебя управу найдем.

— А ты иди к нам работать и получай, что положено, — спокойно ответил Рубцов. — А ребром своим не хвались, не на войне тебе его поломали, а в драке. И мать не задевай — не с тобой она живет.

И уже обращаясь ко всем, сказал:

— Спора по этому вопросу я разводить не буду. Но, пользуясь случаем, кое-что разъясняю. Я хорошо знаю, что многие из вас снова хотят вернуться в колхоз, точнее — на работу. Правильно делают. Ну что вы, в самом деле, теряете? Вот ты, Марья Степановна! — кивнул Рубцов в сторону пожилой женщины в ватнике. — Ходишь каждый день за пять километров в город мыть полы, и все твои доходы триста целковых... Или ты, Зинаида Тихоновна. Работаешь на подсобном хозяйстве и тоже не за ахти какие деньги. Чего вы медлите? Идите к нам. Я вот перед всеми даю слово, что заработаете не меньше. Год назад я этого бы не сказал, — зачем пустословием заниматься? Вы все лучше меня

знаете, что было год назад: коров в конце зимы на веревках поднимали. Было это? Было. Зайдите сейчас на фермы, посмотрите на скот и сами делайте вывод.

В перерыве Рубцов вышел с колхозниками из зала покурить. В эту минуту мимо него, сверкнув глазами, прошел Герасим.

— Заметил, Алексей Николаевич, как он на тебя посмотрел? Живьем проглотить готов, — легонько толкнул председателя Свистун.

— Костистый я, зубы пообломает.

— Да уж потом поздно будет считать, сколько у него зубов осталось, — философски заметил свиновод.

Поднявшись на сцену, Рубцов увидел Белову уже рядом с доярками в другой стороне зала. Они о чем-то мирно беседовали. Перебрались поближе к народу и упомянутые в его выступлении женщины.

И это простое передвижение по лавкам Рубцов отметил как знаменательное явление.

...И вот теперь Белова сидела перед ним, чинно сложив руки на коленях. Не могло ее прибить к другому берегу, это Рубцов знал. Заглянув для пущей важности в численник, он коротко сказал:

— Ну что ж, я согласен. Давай твое заявление, завтра, кстати, на заседании его и разберем.

ОГНИ

В один из зимних вечеров к районному врачу Илье Степановичу Брагину зашел инженер электромонтажной конторы Селезнев. Смущенно перебирая в руках черную меховую шапку, он попросил врача наведаться к больному в село Козлаки.

Инженер был высок ростом, молод, крепок. В том, как он иногда вскидывал голову или неожиданно энергично двигал рукой, чувствовалась натура экспансивная, увлекающаяся. Ему, по-видимому, неудобно было обращаться к пожилому человеку с просьбой поехать вечером за город.

Брагин, сухой, с седоватой бородкой клинышком, чем-то напоминал земского врача, внешность которого не раз описывали русские литераторы прошлого века.

— Туда, кажется, километров шесть?

— Так точно, — ответил инженер. — Доедем на моей повозке.

Брагин постучал пальцем о край стола, задумался и ответил согласием.

Через час плотно набитый сеном крытый возок понес их по завьюженной дороге.

— А я, знаете, двое суток не спал, — неожиданно признался инженер, когда последние постройки остались позади и перед глазами потянулись поля. — И отосплюсь же я завтра!

— Вы в Козлаки по делам службы? — поинтересовался Брагин.

— Я там гидростанцию строил. Вчера пустили. Срочно потребовалось выехать в контору, а то бы и сейчас там сидел.

Лепил инженер фразы лениво, должно быть, и впрямь спать хотел. Они поехали молча. Брагин ждал, не заговорит ли его спутник снова, но тот откинулся в угол и не то задремал, не то углубился в свои дорожные думы.

Чтобы убить время, доктор стал размышлять о Козлаках. В памяти вставало лесное захолустье, темные силуэты изб, овинов, зеленый заслон по берегам красивой реки. С каждым приездом в это село он находил что-нибудь новое: открылся колхозный клуб, появились грузовые машины... Теперь вот провели электричество, и можно будет выделить фельдшерскому пункту аппаратуру для физиолечения.

Потом он попытался представить себе больного и не мог сосредоточиться: образы рассеивались, уплывали. На месте лица, изборожденного морщинами, в темноте вспыхивали от буйного жара чьи-то молодые щеки; заслоняя их, назойливо выплывала борода одного из посетителей больницы — черная и плотная, как кусок смолы.

Под монотонный шум ветра, от плавного покачивания Брагин задремал и очнулся только в Козлаках. Ему показалось, что наступил день, но когда он, с трудом разгибая спину, высунулся из возка, то увидел, что яркий свет шел от фонарей. Посреди села стояло новое здание клуба, украшенное по фасаду лозунгами и гирляндами из ёлок: оттуда доносились переборы гармоник, слышались задорные частушки. Очевидно, колхозники собрались на торжество по случаю пуска электростанции,

Лошадь вынесла их на край села к обнесенному редким забором домику. Когда инженер и доктор проходили двором, на них пахнуло теплом коровьего стойла.

Передняя, куда они вошли, занимала добрую половину дома. Засуетившаяся старушка указала, где раздеться, вымыть руки, подала полотенце. Инженер подомашнему сбросил пальто на сундук и прошел за перегородку, где, по-видимому, и находился больной.

— Ну-с, поглядим, что за беда, — ловким, привычным движением оправляя халат, сказал Брагин и пошел вслед за Селезевым.

Первое, что он увидел, войдя в смежную комнату, были черные, блестящие глаза мальчика, разметавшегося на широкой постели. Белоснежная подушка оттеняла его спутанные волосы. У изголовья больного стояла девушка с озабоченным лицом. Она отрекомендовалась учительницей — Верой Андреевной.

— Ну, как мы себя чувствуем, молодой человек? — подсел Брагин к больному и безошибочно нащупал пульс.

Заболевание было незначительное, и доктор даже невольно огляделся, думая обнаружить в комнате другого пациента.

— Это не опасно? — наклонилась Вера Андреевна. — Вчера он был очень плох.

«Совершеннейшие пустяки. Не стоило беспокоить себя и других», — хотел было сказать Брагин. Но, тронутый искренним тоном девушки, вежливо объяснил:

— За ним, конечно, нужно следить, но серьезного я ничего не нахожу. Можете быть спокойны.

Прописав порошки, Брагин стал укладывать в дорожный сак несложные инструменты. Делал он это медленнее обычного, изредка бросая косые взгляды на инженера и его соседку. А они стояли близко друг от друга и о чем-то тихо беседовали. В глазах Веры Андреевны уже не было тревоги. Они казались большими от переполнившего их счастья. Трудно было поверить, чтобы это превращение последовало от одного утешительного диагноза. И тут доктора кольнуло неприятное подозрение. «Эгоизм молодости не очень разборчив, — подумал он, глядя на счастливую пару. — Ради ласкового взгляда идут на подвиги, но совершают и необдуманные поступки».

Вздыхнув, Брагин выполнил последнюю формальность: сказал о горчичниках, о еде — то, о чем врачи обычно считают своим долгом говорить.

Вскоре все вернулись в переднюю половину дома, где, дожидаясь их, старушка озабоченно хлопотала вокруг стола.

Вера Андреевна принялась было помогать хозяйке, но, взглянув на часы, всплеснула руками: ей во что бы то ни стало надо узнать, разошлись ли из клуба ученики. Им пора по домам. Инженер вызвался проводить девушку. В дверях он кивнул Брагину:

— Я, Илья Степанович, скоро... Вы отдохните, пока здесь сооружают...

Чувство досады не покидало доктора. Помощь была ничтожной, ее легко могли оказать местный фельдшер или медицинская сестра. И, сидя со скрещенными на груди руками, он окончательно заподозрил инженера в легкомыслии.

Когда Селезнев вернулся, Брагин посмотрел на него исподлобья.

— Одевайтесь, Илья Степанович. Идемте, нас ждут. Совершив подвиг милосердия... В общем славно, что вы приехали. Глаза у инженера блестели. В сдвинутой на затылок шапке, розовощекий, сияющий, он выглядел не очень серьезным человеком.

— Нет, нет... Идите один. Я тут погреюсь, сосну, а у речком тронусь в путь.

— Вы чем-то недовольны? — спросил Селезнев.

— Чем же? — пожал плечами Брагин. — Вот приехал, поставил градусник.

— Ах, вот что вас смущает!

Инженер сильной мясистой ладонью подхватил своего собеседника под локоть.

— Знаете, Илья Степанович, эта история требует объяснения. Двумя словами тут не отделаешься. Но это потом... Согласны?

Осознание вины только подлило масла в огонь.

— Объясните-ка мне сначала, — нервно потирая сухие руки, раздраженно заговорил доктор. — для чего вам понадобилось меня обманывать? Сказали — серьезный случай, нужен специалист... Затащили, черт знает куда.

Решив, что упрек, сделанный столь прямолинейно, достаточно убедителен, Брагин заговорил спокойно.

— Я понимаю, заболел брат девушки... Ваше увлечение этой милой особой многое извиняет. Но не в такой же форме, дорогой мой, выразить свои чувства. Есть более безобидные.

По изумленному лицу инженера Илья Степанович понял, что сказал что-то лишнее. Следующим признаком крайнего удивления был трубный звук, вырвавшийся из груди Селезнева.

— Вы всё перепутали! — резко бросил инженер. — Уж не думаете ли вы, что своим приездом оказали честь мне? Какой вздор!.. Нет, как вы только могли подумать? — морщась, словно от физической боли, проговорил он уже тише и с решительным видом принялся стаскивать с себя пальто. — Теперь я просто вынужден объясниться.

Селезнев взволнованно зашагал по комнате. Доски пола отвечали на его движения податливым скрипом. Успокоившись, он подхватил подвернувшийся стул и крепко уселся.

— Вы знаете, — начал он, — село, где мы с вами сидим, спрятано в лощине, как луковица в мешке. Зимние холодные сумерки наступают, едва солнце скроется за сосны, а это далеко не вечер. Жители жгут лучину, вечерают при тусклом, вздрагивающем свете коптилок... Бегут годы, меняется жизнь, а козлаковцы с тем же терпением подвигивают закоптелые фитили керосиновых ламп, свет от которых теперь им кажется уже не таким ярким. С какой завистью они проезжают мимо деревень, где и в сумерках на току гудят моторы!..

Селезнев закурил. Волосы упали ему на лоб, он встряхнул головой, потер ладонью щеку и продолжал уже спокойнее:

— Года два назад я был послан сюда для разработки проекта гидростанции. Вскоре меня назначили начальником строительства. Не буду говорить о том, как мы сплавливали лес, долбили землю, строили плотину. Расскажу коротко о ребенке, из-за которого вы сюда приехали.

Получив назначение, я решил подыскать тихий уголок и поселился в этом доме. В нем жили старушка и мальчуган с матерью. Мальчуган привязался ко мне с первого вечера: «Вы станцию приехали строить? — насел он на меня. — Настоящую, с плотиной?.. Я буду вам помогать».

После школы он отыскивал меня в лесу, в пойме, в котловане. Принести топор, сбегать за едой, выполнить десятки поручений — для него счастье. Вы спросите, почему? Посудите сами. Он — впечатлительный, жадный до всего нового. В школе ему изо дня в день напоминают о героях труда. Ему хочется строить моторы, собирать радиоприемники, смотреть кино. А дома — керосин, в школе — все тот же керосин. И вот — новые огни! Не ошибусь, если скажу, что его взволнованная озабоченность часто служила упреком тем, кто слишком надолго оставлял в земле лопату или загонял топор в дерево. А они всегда есть, такие люди, как в ярком букете цветов сухие стебли.

Этот черноглазый паренек очень мал — видели, а им уже на селе гордились. Что-то в нем есть действительно любопытное: знаете, такая ранняя закваска для хорошего всхода. Старики, чье детство прошло при идиотизме старой деревенской жизни, всем своим нутром верили, что на хорошей земле доброе семя во всей красе расцветет.

За два дня до пуска станции с Сережей случилось несчастье: он оступися и упал в ледяную воду. Мать мальчика в это время гостила у родственников за сто километров. Тогда ее место добровольно заняла Вера Андреевна, учительница. Помощь больному оказал фельдшер, и, как видите, своевременно. Но вот что интересно. Узнав о моей поездке в город, колхозники поручили привезти с собой врача-специалиста. Повторяю — хорошего специалиста. Это было их непреклонное решение. Надо было видеть, как они окружили меня, упрашивали. Вы меня извините, — приподнялся со стула инженер, — в ту минуту я совершенно не думал: нужен врач Сереже или нет. Я понимал, что вы были необходимы этим людям, чтобы выразить свое участие к судьбе ребенка. Что ему стало легче — простая случайность: не каждый в таком возрасте принимает ледяную ванну безнаказанно.

Инженер замолчал и стал неторопливо одеваться.

— Я обещал вас притащить на торжество. Пойдемте?

— Пожалуй, пройдуся, — ответил доктор, пощипывая бородку.

Они вышли на улицу и направились к клубу, где не утихало веселье.

ГЛУБИНКА

Перед окнами конторы серебрится омытый дождями большак. Справа по краю поля, покрытого рыжей стерней, чуть проглядывают контуры насыпи — это строят железную дорогу. Из-за непогоды едва различимы мглистые дали горизонта. Отсюда до областного центра километров сто. Добрая половина пути — проселочная дорога, лесная глушь.

Целый день, лениво орошая землю, плыли по небу осенние тучи. К вечеру они поредели и, словно решив отдохнуть, ключьями нависли над головой.

Темнеет...

В конторе за столом сидит девушка и неумело подрезает ножницами фитиль керосиновой лампы: с электричеством что-то случилось, а ей целую ночь дежурить. Рядом на деревянном диванчике примостился шофёр. В полусумраке видно его измятое бессонницей лицо. Веки то и дело опускаются на глаза.

Приехал он из города помогать подшефному колхозу возить зерно. Пробыл положенный срок, оформил документы, но в последнюю минуту решил отложить отъезд до следующего дня. Сказались две проведенные без сна ночи: накануне по просьбе председателя колхоза сделал добавочный рейс, а сегодня застрял на дороге и не сомкнул глаз, пока не вывел машину и не сдал зерно на базу. Последний вечер решил провести с директором МТС, старым боевым другом-однополчанином, а заодно и переночевать у него. Но директора ни дома, ни в колхозе не оказалось.

— Глубинка, — вяло шевелит языком шофёр. — До города едешь, аж голову от скуки ломит — всё лес да лес. Отсюда, поди, и лешие по сказкам пошли. Вот железную дорогу проложат, может веселее будет.

Пытаясь облокотиться на узкую ручку ветхого сиденья, он теряет равновесие и вяло выпрямляет спину.

Девушка зажигает лампу.

— Не поеду сегодня. За всю неделю отосплюсь, — бормочет шофёр. — Жаль, Степана нет. Собирались, собирались и не встретились.

— А вы лягте, Илья Григорьевич. Рядом, в комнате, диван помягче есть. Только сапоги скиньте. Придет Степан Кузьмич, я вас разбужу.

Шофёр трет ладонью жесткую щетину на подбородке, разминает плечи, покачиваясь, идет в соседнюю комнату.

Девушка сочувственно смотрит ему вслед, затем переводит взгляд на окно, зашторенное темной кисеей вечера. Там, за стеклом, в разрыве туч одиноко блеснула звезда. Она кажется туманной, расплывчатой и очень большой.

Тишину нарушает лишь тиканье ходиков да отдаленный вой буксующей машины. Скоро вторгается новый звук — посвистывающий храп шофёра. Девушка заботливо прикрывает дверь, разбирает стопку газет, склоняется над столом, пишет. Ей, агитатору, поручено подготовить беседу о борьбе за мир.

Иногда она переводит глаза на закоптелое стекло лампы и сосредоточенно думает.

Какое неисчерпаемо-емкое это слово «мир». В памяти встает картина: луг усеян белыми ромашками, за ними, насколько хватает глаз, волнами зыбится рожь; такая густая — кинь на неё картуз — удержится. Солнце поднялось над землей. В его лучах утренний ветерок перебирает листву сада с яркими вкрапинами плодов. Блестит чешуей красная черепица новостроек. Если посмотреть с берега реки, увидишь, как вода раздалась, притаилась на всем полотне и вдруг, переломившись у края плотины, с шумом ринулась вниз.

Смешно сказать: «глубинка!». Тысячами незримых нитей связана она с жизнью городов всей страны.

Когда началась война, ей было десять лет. Отец уехал на фронт, и мать, обнимая за плечи, тревожно говорила: «Ты теперь старшенькая». В их доме часто собирались солдатские жены, перебирали письма, утешали друг друга. Если было особенно тяжело, говорили, показывая на запад: там труднее. Ставили в пример бригадира полеводческой бригады соседнего колхоза Марию Семеновну Кошелеву. Это имя односельчане произносили с особенной теплотой. Острее других поранила её война: на фронт отправила трех сыновей, и ни одного не дождалась. Думали, доканают человека тяжелые вести а она, стиснув зубы, вся отдалась работе...

Девушка достает из стопки районную газету с портретом Кошелевой и задумчиво разглядывает. Потом откидывается на спинку стула и тихо покачивается.

Под окнами скрипит телега, доносятся чьи-то голоса, вскоре раздаются шаги. Особенно выделяется один звук — короткий, тупой и тяжелый, словно человек идет с дубинкой и по пути заколачивает в половицы гвозди. В комнату входит пожилая женщина, за ней прихрамывает старик.

В его облике вообще много от первооткрывателя непролазных лесных чащоб. Полюбились ему эти места, и осел он здесь, живя под темными лесами, ходячими облаками, частыми звездами, красным солнышком. Расплодился, а потом и сам стал, как моховой гриб, с сивой прозеленью в бороде; только глаза колюче поблескивают из-под нависших бровей.

Ведет он себя по-хозяйски, вынимает кисет, прикуривает от лампы, властно спрашивает:

— Главного-то нет?

— Обещал скоро приехать, — отвечает девушка. — Вы присаживайтесь.

И хотя рядом стоит диванчик, она встает и подвигает стул.

— А мы не гостить завернули, — сердито двигает бровями старик. Цепко ухватив стул, он легко подталкивает его своей спутнице:

— Вот кому подавай, прыткая.

Прихрамывая, меряет половицы, разговаривает сам с собой:

— Не задалась поездка... Ах ты, грех какой. Из-за дождя, видать, автобус-то не пришел.

— Вы в область? — спрашивает девушка. Она присела на край стола и участливо смотрит на прибывших.

Женщина пристроилась у двери, сложила на коленях руки. При слабом огне лампы её, одетую в темное, почти и не разглядишь.

— Собрались вот, — поднимает она голову.

— Собрались, да сорвались, — перебивает старик. — Знал бы, колхозную машину истребовал. Хоть назад поезжай. Такое положение, право.

Сердито притопнув ногой, он садится, и тогда из-под брючины выглядывает окованная железкой деревяшка.

На шум в дверях появляется шофёр. Губы у него недовольно кривятся, глаза заспаны. Сзади него на стене

вырисовывалась тень, похожая на одногорбого верблюда.

— А я думал Степан приехал. Все никак не встретимся. Должно быть так и придется уехать, не повидавшись.

— Вы тоже в город? — оживленно спрашивает женщина.

— Вот что, Ленок, — строго говорит шофёр девушке, не отвечая прямо на вопрос. — Будут звонить или там приходящие спрашивать: чья, мол, машина — подготавливай всех на утро.

— Тебя, слышь, Ильей звать-то? — заговаривает с шофёром старик. — Дело у нас спешное, может подброшишь хозяйку до района. Сам-то я с подводой, провожаемый. Отправлю — домой вернусь, а её бы скорым рейсом.

Не отвечая, шофёр идет в соседнюю комнату и плотно прикрывает за собой дверь.

— Устал он, — берет под защиту шофёра девушка. — Приехал из города зерно возить, ну и не давал себе покоя. Всё в дороге, всё в дороге. Завтра домой едет.

— Да-а, — тянет старик. — Завтра нам поздно. К поезду бы поспеть.

— Может другой кто подвернется, — неуверенно говорит женщина.

Вспыхивает электричество. Сейчас до мелочей видна обстановка комнаты: к стене приколочена нарисованная от руки карта колхозных угодий с цветными пятнами севооборотов, в углу сложены рейки и треножник от теодолита.

Старик вскидывает голову, суживает в невольном прищуре глаза.

— Заминка получилась? — кивает он на лампочку.

— Трансформатор новый ставили, — охотно сообщает девушка, видимо, радуясь случаю поддержать огорченных посетителей.

— Кругом новое, — доверчиво подвигается к столу женщина. Она сняла платок. Свет, падая сбоку, сурово подчеркнул глубокие морщины у рта, седую прядь волос.

Лена пристально вглядывается, порывисто клонится вперед.

— Марья Семеновна, не ошибаюсь? Я вас по фотографии узнала.

Не зная, как себя вести, девушка берет со стола газету, взволнованно протягивает её.

— Мы вашу статью о мире по всем бригадам читаем. Собрались агитаторы и решили.

— Спасибо на добром слове.

— Правильную линию взяли,— вступает в разговор и старик.— Этому делу — столбовую дорогу.

Энергично загибая на крутую ладонь жесткие пальцы с табачными подпалинами, он убежденно продолжает:

— А почему?.. Американец воду мутит, атомной бомбой грозит... Вот и должны мы за мир держаться, чтобы крепость во всем была.

За окном на линии трассы загорается цепочка огней. Старик одобрительно причмокивает.

— Правильно. И ночью работают.

Девушке хочется сделать что-нибудь хорошее для человека, о котором немало думала и раньше, готовясь к беседе с трактористами, прицепщиками, шофёрами.

— А в город вы зачем?

— Делегатом на областную конференцию меня выбрали, да вот с автобусом незадача. С попутной машиной из энтээс хотел уехать.

— Подождите,— легко подымается девушка и, приоткрывая дверь, зовет: — Илья Григорьевич!

Слышится глухой кашель, возня сапогами. В дверях, хмурясь от яркого света, показывается шофёр.

— Опять не приехал? — недоуменно смотрит он по сторонам.

— Илья Григорьевич.— Вы не можете сегодня уехать?

— Ты бы послушал нас,— решительно просит и дед.— Подмогнул бы. Не по своему делу.

Шофёр досадливо машет рукой, тянется к графину с водой.

— И что вам не спится. Ездят, ездят. Старые, покой заслужили — лежали бы на печи.

Он отряхивает с кожанки живые капли воды и снова идет к месту ночлега.

— Ты как сказал! — вспыхивает старик и цепко хватается шофёра за локоть.— Это какой печью ты меня corriшь?

— Отвяжись, дед.

— Нет, ты скажи, кто на печи отлеживается,— настаивает старик. Обижен он не на шутку, у него мелко трясутся руки, багровеют щеки.— Ты сосчитай сначала на-

ши дела, а потом и кори. Пруд-от какой сгрохали. Во-от! Али скотный двор. Видал мозоли-то!

Выкинув перед собой ладони, он тычет пальцами в кожанку.

— Да погоди, чудной,— защищается шофёр.

— Али в поле,— не унимался старик.— По зернышку пшеничку собирали, по колосу выращивали... Мы хлеб первые государству сдали, а ты — печка!

Шофёр несколько смущен. Переминаясь, он присаживается на диванчике и, чиркая спичкой, прикуривает.

— Ну чего ты, Михайлыч, пристал,— миролюбиво замечает женщина.— Человек устал. Отдых ему нужен.

— А я не неволю.

— Я ведь из каких соображений,— мягче говорит шофёр и протягивает пачку.— Кури, отец... К примеру вот вы: куда торопитесь? Обновок на воскресном базаре закупить, чтобы старухи на селе завистились. Так ведь?

— Илья Григорьевич, послушайте,— перебивает девушка.— Она отводит шофёра в сторону и, глядя снизу, шепчет что-то горячо, взволнованно. Доносятся слова: «Та самая Кошелева — говорила я вам... делегатом она... неудобно, если вечером не уедет».

— Илья Григорьевич, миленький, отвезите её. Вам, может быть, документы какие оформить, так оставьте. Я завтра же по почте перешлю.

Шофёр садится возле окна и задумчиво барабанит пальцами по переплету рамы...

— Ну что ж, едемте,— как-то удивительно просто и задушевно говорит он, обращаясь к Кошелевой.— Все равно, видно, Степана не дождусь...

Девушка не может скрыть радости. Встряхивая головой, с готовностью спрашивает:

— Может, что передать ему, Илья Григорьевич?

— Скажи — заходил бы, когда в городе будет.

Застегнув наглухо воротник кожанки, он идет к двери, а поравнявшись со стариком, косится в его сторону.

— Ты тоже хорош. Нет бы толком всё объяснить.

Вскоре от конторы МТС отходит полуторка. В свете фар матово блестит омытая дождями дорога. Проводив свою спутницу, старик ворошит на телеге сено и, подобрав вожжи, едет по большаку в противоположную сторону. Проходит немало времени, прежде чем разглаживаются складки над его бровями.

Владимир Жуков

НАЧАЛО ОДНОЙ БИОГРАФИИ

Поэма

*Светлой памяти матери моей
Прасковьи Ивановны*

1

Зима. Карельский перешеек.
И ты, измученный вконец,
Лежишь пластом на дне траншеи
В снегу на сопке «Огурец».
Летят, дымятся облака.
— Кури, земляк! На огонька...

Не всё понятно нам пока.
Не всё!
Ну что ж, товарищ, ясность
Поздней придет наверняка.
Лежи, не думай про опасность:
Твоя дорога далека.

Ты не ошибся, сделав выбор
Меж ней и школьною скамьей.
Лишь только в марте будет Выборг,
Но Выборг —
Не последний бой.
Без счета их на долю выйдет,

И будет горя через край.
Учись любить и ненавидеть,
Коль не сломаешься — мужай.

Во имя счастья человека,
Друзей, которым быть в живых,
Отмечен ты двадцатым веком,
Огнем годов сороковых.

2

Жарынь-жара. Исходит небо
Огнем июльской чистоты.
Пыль лезет в глотку. И за хлебом
Невероятные хвосты.

Слова о долге и о чести.
Глаза солдаток у щитов.
Непоправимые известья
С почти немислимых фронтов.

День ото дня суровой город,
Неутешительней бои...

Но и при том великом горе
Во всем традиции свои.
Не упрекнут тебя здесь все,
Найдут слова
Пряме́й всего:
— Сынок, а люди-то воюют...
И не добавят ничего.
И правдой той,
Святой и горькой,
Надолго сердце сведено.

Полста рублей стакан махорки,
Дрянной.
И трешница кино.
И ты берешь билет, толкая
Себя на горшую беду.
В полупотемках,
Где-то с краю,
С детьми сутулишься в ряду.

Невозмогу тебе. И тихо —
Из зала вон, вздыхать устав.
Чтобы на выходе ткачиха
Тебя словила за рукав.

Ей дела нет до всяких этик,
Не от безделья нынче здесь:
— Так, говоришь, белобилетник..
Сынок,
А руки, ноги есть?

И столько боли материнской,
И столько горечи в словах,
Что ты не скажешь ей, что с финской
Живешь на воинских правах.

Что ты мощей святых не толще,—
Когда снять гипсовый жилет..
Такой ответ простого проще.
Не нужен ей такой ответ.

На спросы горестные эти
Ей сам народ вручил права..
Она за всю страну в ответе.
И за тебя.
Она права.

3

В забор, как врезаны, плакаты.
И осень рвет листву с осин.
И нет семьи,
Чтобы в солдатах
Не пребывал отец иль сын..

О как ты, мама, постарела!
Как беспокойно голос тих.

А вот войне, ей нету дела
До слез и вечных дум твоих.
Война, она не разбирает,
Не бережет людских замет.

От века, знаешь ты, что рая
На том, обратном, свете нет.
Есть жизнь и смерть.
Еще есть дети.
Семь ртов.
Не выдумай уснуть.
И было каждого приветить,
Одеть во что-то и обуть.

В субботу вымыть — грязных, черных.
И вот ни сил уже, ни слов
От тех полутораведерных,
Святых и страшных чугунов.

А где-то молодость. А где-то
Веселье, полное огня,
Что лишь нечаянно с портретом
Дошло до среднего, меня.

От сердца щедрого немало
Ушло некрепких сил твоих,
Покуда старших поднимала,
На жизнь напутствовала их.

Покуда нас, меньших, растила,
Покамест маялась,
Пока
В канун войны не снарядила
В поход последнего сынка.

И вот открыто и сурово
Живешь ты в мареве смертей.
Четвертый месяц от меньшого
Ждешь, хоть каких-нибудь, вестей.
А писем нет. Летят недели.
Лишь свято веруй и молчи...
И ты слегла.
Уже с постели
Встать не дают тебе врачи.

Над головой твоей колдуют.
Но вновь я слышу, как во сне:
— Сынок...

А люди-то воюют.
Им потяжелше на войне.
Чай, не обуты, не одеты...—
С меня не сводишь тихих глаз.

...Когда бы знать,
Что ночью этой
Мы виделись в последний раз!

4

И вновь зима. В сугробе сером
Опять в окопе ты лежишь.
Уже доходит сорок первый,
И смертный бой идет за жизнь.
Летят, дымятся облака...
— Ребята, дайте огонька!

Понятней многое нам стало,
И стало многое видней.
Ты отгоняешь прочь усталость
И не считаешь ратных дней.

Ты научился ненавидеть,
Мой помкомвзвода дорогой.
И из тебя с годами выйдет,
Пожалуй, взводный неплохой.

Ведь это ты отбил атаку,
Из-под огня друзей спасал.
Ты — тот же самый. И, однако,
Ты сам себя бы не узнал!

Ну где тот мальчик мешковатый,
Тот малоопытный боец,
Что был со мной в тридцать девятом
В снегу на сопке «Огурец»?
Что брал Карельский перешеек
И не видал его в дыму?
Лежал пластом на дне траншеи,
Не понимая, что к чему.

Тебе-то объяснять не надо
Крутую важность тех траншей:

Без них сегодня Ленинграду
Пришлось бы вдвое тяжелей.
Ты это сам отлично понял,
И мне ль об этом толковать?
Ты стал стратегом в обороне.—
Настало время наступать.

5

И вновь зима. Год сорок пятый.
Метет снежок, туманя высь.
И давят на душу Карпаты.
И выбор тот же:
Смерть и жизнь.
Большие, малые заботы —
Уже за мутью снеговой...

Надсадно стонут минометы,
Как причитают над тобой.
А снег метет. На трубах тает.
Как вол,
Капрал румынский взмок.
Но вновь рука его взлетает,
И
— Уна, доу бомба фок!..

Теперь-то это не в новинку,
Еще в боях у Гор Сухих
Переменил капрал пластинку,
Взялся замаливать грехи...

В снегу податливом и талом
Сидят солдаты, не вздремнут,
На все заботы им осталось
Немного
Тягостных минут.
Сидят, в уме перебирая
Песчинки памятных замет.
Они-то знают ведь, что рая
На том, обратном, свете нет.
А жизнь, она такая штука,
Что как ни мудрствуй, а она
Недаром же в нелегких муках

Одна на каждого дана.
Какой ни вышла бы судьбою,
Но перед заметью свинца
Она — как песня перед боем —
Вся
От начала до конца!
И тут нельзя с бухта-барахты,
А паче тем — душой кривить...

Чтоб не сосал под сердцем страх, ты
Пред боем должен покурить.
Тут не балуйся «Беломором»,
Махра — та дело на войне.

Не за пустяшным разговором,
С самим собой наедине...

А снег метет. И тянет жилы
Невыносимая тоска.
Покуда целы все и живы...
— Ребята, нате огонька!

И вот сидишь,
Дымишь со всеми,
Исправно потом просолен.
А между тем подходит время
Сменить румынский батальон.
И вновь туда,
Где кровь и стоны,
Идешь, ступая в чей-то след...

И снег замел твои погоны
В один-единственный просвет.
И ступевались в дымке хмурой
Сначала штык,
Потом ружье,
Сугубо штатская фигура
Со всей сутулостью её.

6

Плафоны пражского перрона.
Прибой цветов и кумача.

И всей душою:
— По вагонам! —
Кричишь ты, вторя трубачам.

Звонок. Еще звонок. Последний.
И сто колес наперебой
Тебе пропели: «едем,
едем»,

«Домой,
домой»,
«Домой,
домой...»

А сердцу трепетно и жарко —
Не заглушить и не унять.
Вдруг стало так кого-то жалко,
Что лучше в тамбуре стоять.

Как бы стирая пот,
Ладонью
Ты от других прикрыл глаза.
И в кулаке неслышно тонет,
В мозоли катится слеза.

С чего пришла она, скупая,
Ужель так рано постарел?
Ведь Злату Прагу покидая,
О ней не очень ты жалел.

Пускай любое сердце тронет
Красой, превыше всех похвал,—
На бьющем музыкой перроне
Ты хоть и сник, но устоял.

Когда б не пешим, не с боями,
Не через тысячу смертей,
Уже пролегших между вами,
Пришел ты на свиданье с ней,—

Тогда совсем другое дело.
Тогда своею красотой
Она всю душу бы раздела,
Остался б круглой сиротой.

А так. В том не было причины
Сутулить плечи у окна,
Поникнуть, как перед кончиной,
И зряшно маяться без сна.

Чтобы вот так, сплошные сутки,
На сапоги табак ронять.
И самой милой прибаутки
Не оценить и не принять.

Всё пепел смахивать с нашивок
И отвергать вагонный чай...
Какое звеньшко, служивый,
В тебе сломалось невзначай?

Когда по всем сердцам, средь шума,
Резнул звонок, как вешний гром,
О чем высоком ты подумал
И закручинился о чем?

Но только в миг, когда колеса
На стыке брякнули впервой,
Ты не склонился над вопросом
В масштабе шири мировой.
Притиснул лоб к оконной раме,
От посторонних боль тая...
Как на замедленном экране,
Пошла на убыль жизнь твоя.

Пошла. И как чужою стала:
Не ты, а кто-то в ней живет.
Не день за днем, не от начала,
А вспять и задом наперед.

Земля и вкривь, и вкось изрыта —
Войне не скажешь, как пахать...
Согнувши плечи, над корытом
Застыла старенькая мать.
Бессильно руки опустила,
А вокруг — белье, белье, белье,
Что жизнь на треть укоротило...
И вот сегодня нет её.

Не эта ль тягостная дума,
 До дна полынна и горька,
 Среди восторженного шума
 Тебя скрутила по рукам,
 В вагон ввела, толкнула к раме,
 Прижала лбом,
 Лишила сна?...
 Ты ничего не знал заранее:
 Война, она и есть война.

А жизнь идет. Стучат колеса.
 Вперед нацеливая лбы,
 Назад,
 Размашисто и косо,
 Бегут, как в запуске, столбы.
 Поет баян о днях вчерашних,
 О переправах, о боях,
 О павших,
 Без вести пропавших
 В полях,
 Лесах
 И на горах.
 Меж сном и явью
 Оробело
 Стоишь...

Вдруг в этом полусне,
 Как та девчонка в платье белом,
 Берёзка выгнулась в окне.
 Всем существом
 К вагонам тряским
 Рванулась с поездом не в лад.
 И вот уже колесным лязгом
 Как бы отброшена назад.
 И ты повис в окне по пояс.
 И как тогда — ни слов, ни сил,
 Когда тебя военный поезд
 От той девчонки увозил.
 Всё вкривь и вкось, как на понтоне.
 Разрывом выбито весло...

На холодеющем бетоне
Ей горе рученьки светло.

Но как теперь, когда всё ближе
То, что с годами решено,
Но как теперь, когда ты выжил
И в безопасности давно,
Но как теперь, когда не надо
Ни ободрять и ни спасать,
Когда ты сам почти что рядом,
И письма незачем писать?

А вдруг одно простое слово —
И ты ненужен никому?..

Когда ты демобилизован,
И по желанью своему, —
В каком всё это встанет свете,
Нежданный примет разворот?

...Закрой окно. Ты видишь — ветер
Заснуть солдатам не дает.

8

И снова двери деканата.
Из них восторженным юнцом
Ты выходил в тридцать девятом,
Чтобы войти ...в сорок шестом.

Шесть лет — не много и не мало,
Но чтоб всего хлебнул сполна,
Тебя, как милого, мотала
По свету белому война.

А уходил ведь ненадолго,
От силы — до весны всего!
По зову воинского долга,
По вскрику сердца самого.

И пусть тебе станок тяжелый
Набил мозоли на горбу, —

За огневую эту школу
Ты не в обиде на судьбу.

Еще и то скажу тебе я:
Всё это в памяти храни...
Теперь вздохни. И портупею
На полделенья подтяни.
Не заслоняй рукой медали —
За ними путь лежит большой!
Теперь стучи: тебя здесь ждали,
Входи, двойник служивый мой.

9

Жарынь-жара. Исходит небо
Огнем июльской чистоты.
Поменьше очередь за хлебом.
И в клумбах политы цветы.

В газон
Летит трезвон трамвайный,
Машины шинами шуршат.
Над свежей кладкой
Кран порталный
Стрелу пронесит не спеша.

То вдруг духами, то замазкой
В лицо ударит ветерок...
В три ряда детские коляски
У всех бульваров и дорог!

Но трудный быт поры военной
Вблизи заметен и вдали:
Снесен забор. Обиты стены.
Скрипят о гравий костыли.

Гудят, летят автомобили.
А ты бредешь, в заботах весь.
И вдруг:
— Родной мой... Уж не ты ли?..
Живой. И руки, ноги есть.

И столько ласки материнской,
Участья
В голосе чужом,
Что сразу стал он самым близким
Тебе в том городе большом.

И где-то в памяти мгновенно
Уж за рукав тебя берет
В кино на выходе
Военный
Суровый сорок первый год.

Слова о долге и о чести.
Глаза солдаток у щитов,
Непоправимые известья...—
Весь путь,
Что ты с народом вместе
Прошел. И вновь пройти готов.

Михаил Шошин

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

В год сорокалетия комсомола часто вспоминаются люди и встречи моей светлой юности. Теплеет душа, когда берешь дневниковые записи тех лет и вчитываешься в них. И тогда возникает желание познакомить молодежь наших дней со своими товарищами двадцатых годов, людьми интересными и самобытными, поднятыми к большой жизни Великим Октябрем.

За два дня до первого мая 1928 года редактор губернской крестьянской газеты «Смычка» объявил мне, что я «сокращаюсь» ввиду предстоящей ликвидации газеты. Драматического в этом сообщении для меня ничего не было. Поднявшись этажом выше («Смычка» помещалась в первом этаже), я мог поступить репортером в газету «Рабочий край», но в голове моей шевельнулась и стала неотступно донимать радужная мысль: я получу зарплату за полмесяца, выходное пособие за две недели и гонорар; все это составит рублей полтора (по тем временам сумма существенная); нельзя ли на эти деньги прожить лето в деревне, спокойно подумать, побродить, почитать? Можно!

Я уложил в дорожный мешок свои пожитки, первым делом утром сел в поезд и после полудня был уже дома. Родители мои тогда еще были живы. Отпраздновав с ними Первомай, вечером я взял берданку и отправился к знакомому леснику Дмитрию Скоморохову. Предки его (многие фамилии возникли от названия

профессий) в самом деле были, наверное, скоморохами, но исполняли, вероятно, не комические, а героические или трагические роли, так как их потомок был высок, статен и красив. Вьющиеся черные волосы, густые брови, темно-синие глаза, прямой нос, бледное, продолговатое лицо — всё ему было дано для сцены. От своих же предков он, возможно, унаследовал склонность к пышной фразе, театральной позе и преувеличенным переживаниям. С первой мировой он вернулся унтер-офицером, в гражданскую войну командовал ротой курсантов, был ранен, долго лежал в госпитале и, возвратившись в родные края, по совету врача поступил лесником.

Я познакомился с ним несколько лет назад. Летним вечером, вскинув голову, жадно дыша, он говорил мне на лесной поляне:

— Моя грудь, простреленная офицером дроздовской дивизии под селом Адамань на подступах к Перекопу, как лекарство, пьет этот целительный аромат.

Девушки близлежащей деревни нередко появлялись на лесном кордоне и, поступаясь своей гордостью, заговаривали с красивым лесником, но он «выписал», по его выражению, девушку с юга, с которой познакомился в годы гражданской войны.

Героические усилия прилагала эта молодая женщина, чтобы вылечить своего больного мужа: завела корову, кур, свиней, раскопала около избы лесника большой огород и кормила Дмитрия жирными борщами, молоком, маслом, салом и яйцами. Когда я бывал у них, она только и говорила о питании и здоровье Дмитрия. Пышнотелая, цветущая, всегда бодрая и расторопная, о себе она, казалось, не заботилась. Она любила угощать и выпить рюмочку запеканки. Пила медленно, маленькими глоточками, с наслаждением и ничем не закусывала.

...В лесу было сыро, между деревьями виднелись косы снега. Коричневым блеском отливала вода в канавах и впадинах; еще не кончилась тяга вальдшнепов; я слышал в стороне знакомое хорканье и думал: «Сегодня можно будет, пожалуй, постоять на тяге».

Изба лесника хмурилась в сумерках темными окнами. Я постоял, прислушался — ни одного звука, а когда открыл дверь, сразу понял, что здесь все изменилось.

Изба прежде такая чистая и уютная, убранная рушниками, вышивками, сегодня казалась нежилой. Дмитрий лежал на койке и при моем появлении не встал.

— Где Ганна? — спросил я.

— Уехала, — не сразу ответил Дмитрий. — Ставь самовар, если не торопиться; сам я не буду, мне что-то в эту сырость нездоровится. Надолго ли в родные края?

Я обстоятельно сообщил ему свои планы на лето.

— Хорошее дело! — одобрил Дмитрий. — Походи тут, попиши, раз тяготенье такое в себе чувствуешь, а мне вот это ни к чему, писанье-то. Я еле-еле заставлю себя за перо взяться, чтобы маленькую бумажку написать. Но вот роль бы я сыграл, если бы здоровье было. Позыв на это я в себе имею.

Когда самовар вскипел, Дмитрий поднялся и, увидев на столе бутылку запеканки, сказал:

— Ты еще, значит, в городе решил ко мне заглянуть? Вспомнил, что Ганне нравилось!

— Когда же она вернется? — спросил я, когда мы сели за стол.

— Она не вернется, — спокойно ответил Дмитрий. — Уехала совсем!

Меня возмутил её поступок, я резко заговорил, что это бесчеловечно с её стороны, но Скоморохов остановил меня:

— Ты погоди, не кипятись. Она уехала с моего согласия... Я много думал, когда она выразила свое желание, и решил её отпустить. Она же еще совсем молодая, ей жить надо, а здесь она сделала всё, что могла. Вижу я, что руки у неё опустились, и решил отправить ее домой. Я проводил её по-хорошему. Продал корову, свиней, дал денег, отвез на вокзал, купил билет с плацкартой и посадил в вагон. Держался стойко, благородно, как положено красному командиру, но когда поезд ушел, моя грудь, простреленная под селом Адамань на подступах к Перекопу, разом сдала, я еле добрел до больницы и пролежал в ней целый месяц. Так что, ты её не суди, она правильная женщина, но что же ей оставалось дальше делать, если мое здоровье не налаживается, а всё тает и тает. Я вот думал, что с этим половодьем, — вздохнул Дмитрий, — совсем убе-
русь, но сейчас мне кажется, что переживу. Какие бы мы с ней были счастливые, если бы мне полную силу. —

Дмитрий хмуро помолчал, потом решительно махнул рукой и отрезал:

— Ну, ладно, хватит об этом. Расскажи лучше, что нового на свете. Я из-за половодья давно в избе-читальне не бывал, газет не видел. Еще по зиме ко мне председатель волостной партийной ячейки заезжал и газетку мне оставил; так я раз пять, наверно, всю её от слова до слова прочитал.

Проговорили мы с ним до полуночи.

На другой день, провожая меня, он вызвал со двора двух молодых собак и сделал широкий красивый жест в сторону их.

— Вот вырастил брата и сестру — Баяна и Песню. Гончие чистой породы «арлекин». У них обязательно должна быть светло-серая шерсть, а по ней — мелкие черные пятна. Признаком чистой породы у «арлекинов» еще считается разноглазье. Вот гляди: один карий, почти красный, а другой темно-серый. Песню я себе оставлю, а Баяна бери. Снимай ремень, захлестывай за ошейник. Дарю!

**

Я посеял яровые, вывез в поле навоз со двора, окупил картошку и после сенокоса пустился «путешествовать».

Когда человек привязан к земле и передвигается пешком, то ему даже не особенно отдаленные окрестности кажутся далекими и малодоступными.

Когда через нашу деревню проходили высокие, худощавые, рыжие и белокурые люди, то старики, глянув на них, сразу определяли:

«Шохна идет!»

И мы смотрели на них, как на людей из другой страны, а ведь эта «страна» находилась всего в пятнадцать километров. Из нашей деревни немногие бывали там, да и то один-два раза в жизни по какому-нибудь случаю. Иногда оттуда к нам заезжали сваты, но выходить замуж за шохонских парней ни одна девица не соглашалась. Шохна, отдаленная от вичугских фабрик, считалась стороной темной и скучной.

Кроме того, девушки из нашей деревни говорили, что «шохонские парни не форсисты и малоразвиты».

«Страна» высоких светловолосых людей, о которых в нашей деревне говорили «шошна идет», составляла всего одну волость.

Я вышел из дома рано утром и вскоре после полудня был уже в центре небольшой округи, казавшейся моим односельчанам какой-то особенной.

Село стоит на ровном месте, лес от него далеко, посреди села церковь и несколько полукаменных домов «под железом»; остальные строения — небольшие крестьянские избы под соломенными крышами.

К одному из полукаменных домов спешили женщины.

— Куда торопитесь? — спросил я. — Случилось что-нибудь?

— Сейчас дьячкова сына будут судить, — ответили они.

В зал сельского судебного участка то и дело входили люди и присаживались слушать. На скамье подсудимых сидел тонкий, бледный, с длинной головой и золотистыми волосами молодой человек лет двадцати пяти. Он сидел прямо, чуть склонив голову, и глядел в пол.

— Стесняется, — тихо проговорила одна из женщин, поглядев на подсудимого. — Неужто его засудят?

— Вам жалко его? — спросил я.

— Знамо жалко, — призналась женщина. — Сиротка. Один-одинешенек живет. Засудят — и проводить его некому.

Началась судебная процедура. Старый, согбенный крестьянин Ершов говорил:

— Аграфена моя сердцем беспокойная... И вот вышла она беспокойная за водой... Тащит из колодца полное ведро, и вдруг у неё за спиной ка-ак затрещит, как запыхывает... Она так и села от страху, а ведро, бух, обратно в колодец. Оглянулась она в страхе и видит: по улице мчится на своей машинке Аркаха Зайковский; лошади из оглобель вон, курицы — кто куда... Аграфена с того разу захворала, и ведро пропало, ничем его не могу со дна колодца достать.

— Может, она заболела не от этого? — спросил судья.

— Говорит, что от этого.

— У врача была?

— Была.

— Что он сказал?

— Известно что... Как и всем: сердце изношено, нервы подорваны...

— Нервы,— поправил судья.

— Это всё одно,— горестно сказал Ершов и, махнув рукой, побрел на свое место.

Медлительный, задумчивый крестьянин Ловков неторопливо начал:

— Гуляют мои курицы всей стаей... Гуляют дружно... Их у меня осьнадцать штук... Гуляют посреди улицы и чего-то клюют...— Ловков подумал, помолчал и философически заговорил вновь:— Курица — птица со своим характером... Она не любит шум, она уважает покой...

Судья. Гражданин Ловков, давайте без философии!

Ловков. Тут не философия, а горе одно.

Судья. Вот и выкладывайте свое горе.

Ловков. Выложить его недолго, но я хотел обоснование подвести.

Судья. Основание мы подведем, говорите о деле.

Ловков. О деле так о деле. Гуляют, стало быть, мои курицы. И на ихнюю стаю бурей летит на своей машине Аркадий Евсеич и сразу двух сминает в лепешку. Вгорячах я хотел ему взащей накласть, но побоялся повредить и удержал себя. Такое соображение по машинам, думаю, не всякому дано. Тут у нас в товариществе по совместной обработке земли жнейка изломалась. Ладили, ладили — так и не наладили, а Зайковский пришел, помудрил над ней с полчаса — готово. Жнейка пошла, как миленькая.

Один из заседателей. Тогда зачем же вы на него в суд подали?

Ловков. Для порядку. В тюрьму его отправлять нельзя, а пострадать надо, чтобы катался поосторожнее.

Зайковский вину свою признал.

— Самодвижущая машина в наших глухих селах — явление необычное, она пугает местных жителей, но им надо привыкать к технике, её скоро много будет...

Судья. Но почему же вы не приучали их в своем селе Межи, а приехали сюда?

Зайковский. Я приучал, но у нас село маленькое, обошлось всё благополучно, но здесь получились осложнения...

Судья. Для чего вы приобрели мотоцикл?

Зайковский. Имею пристрастие к технике.

Судья. На какие средства вы купили столь дорогую машину?

Зайковский. Оставшись после смерти отца в одиночестве, я продал сарай, овин и костер бревен.

Судья. На какие средства вы живете?

Зайковский. Умею сапожничать, лудить самовары, класть печки... Мечтаю попасть на курсы трактористов.

Суд постановил взыскать с Зайковского стоимость двух куриц и одного ведра.

Из суда я прошел в избу-читальню и познакомился там с избачом Дубовым — рослым, плечистым, круглоголовым и расторопным парнем. На вопрос, где тут можно переночевать, он твердо ответил:

— У меня. Я живу только с отцом, сам стряпаю, сам избу убираю...

— Матери нет?

— Прошлый год убило грозой. Сидела вечером с соседками на завалинке; разговорились они до того, что не заметили, как гроза началась. Загромыхало, за сверкало. Все по домам, мать вошла в крыльцо, а дверь за собой не закрыла. Следом за ней вкатилась шаровая молния и... насмерть. Знаешь что: мы сегодня литературный вечер устроим. У нас живо соберутся. Одним мигом. Я буду декламировать стихи Некрасова, ты считаешь рассказы, а Повалишников свои стихи... Это наш поэт. В отпуск приехал. Он в армии служит. В кавалерии. Два кубика. Взводом командует. Ми-и-ровой парень!

На вечере Повалишников с особенным чувством прочитал длинное стихотворение под заглавием «Письмо покойному деду моему Архипу Повалишникову». Вот небольшой отрывок из этого стихотворения:

...Не ходим мы стенка на стенку,
Дружней, веселее живем,
Под хмель — разноцветную венку
Мы песни иные поем.

Гулянка на том же припеке
За речкой, у старых берёз.
Хожу, как и ты, к черноокой
Туда, за ромашковый плес.
Все так же цветут у нас девки,
Все так же любовь горяча...
Но прежние горе-припевки
Давно по селу не звучат.
Неволей измаявши душу,
Заснул ты в могиле своей.
Эх, если бы встал да послушал
Ты песни советских полей!

Повалишников мне понравился. После литературного вечера мы с ним прошлись по селу, поговорили о литературе. С улицы незаметно прошли к сараям.

— Куда вы меня ведете? — спохватился я.

— Интересного парня хочу показать, — сказал Повалишников. — В сарае живет...

— Почему в сарае?

— С отцом не ладит. Угрюмый. Замкнутый. Гипнотизмом занимается.

— Что это ему вздумалось?

— В селе шутят, что невесту себе хочет загипнотизировать. Девчата, как только на улице он покажется, кричат: «Капа, загипнотизируй меня!» Невеста ему с домом нужна. У отца растут три парня, кроме Капитона. Если разделить полоски на четыре части, так только по два шага в ширину каждому достанется. Тут поломаешь голову, как четырех парней устроить. Земли здесь мало.

Летний вечер медленно опускался на село и поля. На небе угасали последние отблески зари. С улицы изредка доносился девичий смех. Село засыпало.

На рундуке одного из сараев сидел парень и смотрел на загорающиеся одна за другой звезды.

— Мой двоюродный брат Капитон, — отрекомендовал мне его Повалишников, присаживаясь к парню. — Человек большого упрямства и неизвестных способностей. Ну, рассказывай, как освоение гипнотизма у тебя подвигается?

— Никак, — буркнул двоюродный брат.

— Что — трудно?

— Знамо, трудно.

— Давай сюда книжку! — повелительно проговорил Повалишников.

— Зачем тебе? — насторожился двоюродный брат. — Я её обратно отнес.

— Давай, говорю тебе, — еще настоятельнее прозвучал голос Повалишникова. — Вот человек из города... Он понимает в этом деле и тебя натолкнет на понимание. Может даже, если хочешь, загипнотизировать тебя.

Двоюродный брат с испугом глянул на меня, ушел в сарай и вынес растрепанную книжку. Это была скверно изданная книжонка: «Черная и белая магия. Полный курс. Варшава. 1910 г.»

Мы полистали её, пробовали кое-что прочесть, но преуспели в этом мало, так как становилось все темнее и темнее.

— Брось эту ерунду! — сухо молвил Повалишников. — Говорю тебе: вступай в комсомол.

— Слышал уж я это от тебя сто раз, — угрюмо произнес двоюродный брат и глянул в мою сторону. — А гипнотизировать-то не будете?

— Уснешь и не загипнотизированный, — ответил за меня Повалишников.

— Глуповат он, что ли? — спросил я его, когда мы отошли от сарая.

— Нет, нормальный. Только молод. Ему всего только семнадцать. Но парень кремневый. Из него бы вышел толк, если бы его направить на хорошее дело. — Повалишников помолчал и тихо добавил. — Книг хороших в деревню побольше бы надо. А то вот сколько еще в таких глухих углах ходит по рукам сонников и черных магий.

Утром он вызвал меня на улицу и, протягивая тетрадь, признался:

— Я ведь и прозу пишу. Может, посмотришь?

Это был маленький рассказ, написанный почти ритмической прозой. Назывался он: «Любовь в огне».

«Был я тогда конармеец молодой и воевал в буденовских рядах. В тот раз, когда загорелась эта любовь, мы перешли реку, и наш эскадрон рассыпался в кустах. Отсюда мы могли стрелять по врагу и прикрывать огнем наступающих. Когда же наступила ночь, мы стали продвигаться дальше, и вдруг, откуда ни

возьмись, передо мной стоит белогвардеец. Он выстрелил в меня, я бросился вперед и зарубил его на месте, не чувствуя, что тяжело ранен, а кровь уже лилась из моего плеча. Я был один: во тьме мой взгляд не находил своих. Но опыт мне помог: я шпоры дал коню, помчался наугад во весь опор, пока не изнемог и не упал с коня. Однако вскоре я услышал голоса, и различить могли мои глаза какой-то свет вдали. Остаток сил собрав, побрел я на огонь. Он падал из окна избышки. Я крикнул «отворите» и вновь упал без сил. Когда я очнулся, лежал в тепле, постель была мягка. Передо мной стояла девушка. На вид ей было девятнадцать лет. Прелестна и мила — это красная сестра была. Ах, если б вы могли видеть её прекрасный взор! Капризная волна, волна застывшая кудрей, на плечи ей легла.

Был слаб я от потери крови, но опьянен счастьем, и эти дни промчались, как во сне. Порой сидела она, на мне остановив свой взор, взор темно-золотых глаз. Как у орлицы он был чист и горделив.

Вдруг в один несчастный миг я слышу выстрелы. Хозяин дома вбежал: «Белые! Сейчас окружат нас». Я был так слаб еще, но мешкать не хотел. Когда я сел с трудом на верного коня, она ухватилась за стремя и посмотрела на меня. Я склонился к ней и жаркий поцелуй на лице её запечатлел. Она отпрянула внезапно, точно ей обиду нанесли, и гневом заблестал её орлиный взор: «Вы забываетесь!» С коня поспешно соскочив, я извиненья попросил.

«И если,— говорю,— решат случайности войны — я возвращусь и буду умолять у вас залог любви».

«Пусть будет так,— промолвила она,— прощайте, мой герой!»

С улыбкою затем подняться на коня она мне помогла и ручкою своей, пославши поцелуй, добавила:

«Я буду ждать!»

И с тем уехал я».

— Очень выпренне, надуманно,— сказал я, прочитав рассказ.— В жизни, наверно, все было проще, искреннее, душевнее...

— В жизни ничего этого не было,— ответил Павлишников.— На гражданскую войну мой год не призывался. Здесь изложена моя мечта. Рассказ родился из

моей мечты быть на гражданской войне и пережить такую любовь.

После обеда Повалишников пригласил меня в соседнюю деревню.

— Юрку Хранилова надо проводить к вечернему пароходу,— сказал он.— Голос у него хороший. В Кострому едет. Дядя у него там хором заправляет. Обещает племянника подрепетировать и продвинуть.

Хранилов быстро собрался в дорогу. Он ехал к дяде, а потому весь его багаж уместился в небольшой фанерный баул.

Мать Хранилова, учительница начальной школы, женщина еще не старая, смелая и подвижная, то и дело взглядывая на своего красивого сына, многозначительно говорила ему:

— Юра, не увлекайся!

— Мама, я уже это слышал от тебя множество раз,— отвечал сын.

— Слышал и еще не раз услышишь.— Она проводила сына до переходов на речке Шохне и опять сказала:— Юра, не увлекайся! Помни, отчего сгорел твой отец.

— Ладно, ладно, мама! — нетерпеливо и вместе с тем успокоительно проговорил сын.

— Обещай мне! — обнимая сына, потребовала мать и прослезилась.

— Обещаю! — растроганно прошептал он.

До пристани «Семигорье» насчитывалось четыре километра. Мы шли не торопясь по берегу Шохны и говорили о будущем Юры Хранилова.

— Будешь знаменитым певцом, где бы я ни был,— приеду тебя слушать,— сказал Повалишников.

— А если нет? — небрежно бросил через плечо Юра.

— На нет и суда нет,— резко ответил Повалишников.— Иди по линии наибольшего сопротивления и помни наказ матери.

— И ты еще меня будешь учить,— с неудовольствием, прикрытым усмешливой снисходительностью, молвил Юрий.

— Способных людей все имеют право хвалить и осуждать, так как то, что им дано, является как бы государственной собственностью,— с отеческой серьезностью ответил Повалишников.

— Где это ты вычитал?

— Не суть важно, где я вычитал, важно то, что это подходит к тебе.

Юрий, начиная сердиться, еще что-то хотел сказать, но Повалишников властно оборвал его:

— Ладно, поговорили и... хватит! Если бы к твоему голосу да хорошую закалку характера, тогда бы за тебя и беспокоиться нечего.

Речка Шохна вливалась в более значительную реку Сунжу недалеко до её впадения в Волгу.

Около устья Сунжи, там, где кончалась её пойма и начинался высокий берег Волги, шумно дышала паром и запахами красок отделочная фабрика, а за ней виднелся рабочий поселок.

— Здесь я просидел счетоводом четыре года,— тяжело вздохнул Юрий, кивнув на фабрику.

— Жаловаться тебе на фабрику не надо бы,— поморщился Повалишников.— У тебя же здесь в рабочем клубе голос выявили.

Юрий промолчал. Белокурый, хорошо сложенный, статный, он шел впереди нас с высоко поднятой головой. Я полюбовался им и подумал: «Не польется ли когда-нибудь его голос со сцены Большого театра? Ведь это для истинного таланта так достижимо в наше время!»

— Идет! — вскрикнул вдруг Юрий.

— Беги! — приказал Повалишников.— Выправляй билет, а мы тем временем подойдем.

Я взгляделся в даль синеватой ленты Волги и заметил косу дыма. Пароход шел быстро. Вскоре я разглядел пламенный трепет лучей вечернего солнца на широких окнах салона первого класса. Мы прибавили шагу, а с горы пустились бегом, но увидели Юрия, уныло бредущего с пристани нам навстречу, и приостановились.

— Скорый! — сообщил нам Юрий.— В Семигорье приставать не будет.

— А следующий? — спросил Повалишников.

— Будет ночью... И тоже едва ли привалит,— с досадой говорил Юрий.— Из нашей дыры не скоро выберешься.

Повалишников хмуро глянул на него и ничего не сказал.

Мимо пристани полным ходом плыл красавец-пароход «Роза Люксембург». Плищи его дробили воду с такой силой и резвостью, что она, казалось, кипела, хлопотала и сверкала мириадами брызг, а потом, искрошенная, взбаламученная, торопилась успокоиться, волнами убегала от парохода и, как бы жалуясь, недовольно плескалась о берег. На капитанском мостике картинно стоял молодой помощник капитана, смотрел в нашу сторону и, казалось, смеялся над нами.

— Придется домой идти и поступать обратно в сче-товоды,— жалобно начал Юрий, нервно повернулся и побрел к пристани.— Пойду распушу водников и плюну на всё.

— Вот он уже растерялся и занял,— покачал головой Повалишников.

Я спросил, кто у него отец, и узнал, что он был регентом церковного хора, «крепко закладывал» и умер в сорок лет.

Юрий постоял на мостках, переброшенных с берега на пристань, подумал и спустился обратно на берег: желание «распушить» водников у него, очевидно, уже пропало. Недалеко от пристани стоял небольшой буксир «Кержак», грузился дровами и густо дымил.

— Пары разводит,— приглядываясь ко всему, что происходит на буксире, говорил Повалишников.— Старинный! На дровах еще ходит. Надо узнать, куда ползет.

Он подошел к пароходу как можно ближе и смело, четко поприветствовал тепло одетого, сурового на вид человека с широкой, седеющей бородой, который стоял облокотившись на поручни капитанского мостика и следил за погрузкой.

— Здравствуйте, товарищ капитан!

— Здорово, если не шутишь,— оглядывая нас, суховато отозвался старый волгарь.

— Куда идете, если не секрет?

— А тебе куда надо?

— В Кострому.

— На утреннем уедешь. Он в Семигорье привалит...

— Долго ждать... Надо скорее ехать.

— К месту службы, что ли, торопишься?

— Да... Но не я... Товарищ едет...

Капитан кивнул на меня:

— Этот?

— Нет, вот тот.— Повалишников оглянулся, махнул Юрию рукой и крикнул: — Иди сюда! Хватит расстраиваться...

— А он куда спешит?

— Петь?

— Пе-е-еть? — басовито протянул старый капитан.— Что — голос у него? Где он поет?

— Пока нигде, едет еще только учиться. Поднимете его до Костромы?

— Поднять мы можем, но стоит ли подымать, может, лучше здесь оставить? — усмехнулся в бороду капитан.

— Стоит! — заверил Повалишников.— Голос у него есть!

— А нельзя попробовать? — осторожно спросил капитан.— Я несколько, можно сказать, любитель...

— Попробовать можно, — великодушно отозвался Повалишников.— Почему ж не попробовать.— Он огляделся, взял Юрия за плечи, поставил его на видное место, отобрал у него баул и повелительно сказал: — Пой!

Мы с Повалишниковым отошли в сторону. Юрий поблуждал взглядом по вечеряющим заволжским дальям, сосредоточился и с чувством запел арию Ионтека из польской оперы «Галька».

В беспредельной тишине прохладной Волги молодой гибкий голос, легко справляясь с самыми высокими нотами, так и хватал за душу пламенным признанием:

«Ой, Галина, ой дивчина, ты — любовь моя...»

Капитан слушал, пригнув голову. Потом, как бы приходя в себя, медленно разогнулся и приглушенно бросил Юрию:

— Ну, заходи! Сейчас отвалим.

Повалишников хотел что-то спросить, но капитан повернулся и шагнул к рулевому.

Юрий взял из рук Повалишникова баул, кивнул ему на прощанье и вбежал по шатким мосткам на буксир.

Мне показалось заманчивым прокатиться по вечерней Волге на «Кержаке», я торопливо пожал Повалишникову руку и пустился вслед за Юрием.

«Кержак» тихо отвалил, прошел возле берега к устью Сунжи, взял там на буксир тяжело груженную барку и повел вверх по Волге.

Я посмотрел на еле видную теперь пристань «Семигорье». Над ней, на самом высоком угоре стоял, провожая нас взглядом, Федор Повалишников — крестьянин, воин, поэт, суровый и прекрасный товарищ.

Старый «Кержак» исправно молотил воду плечами, хрипавато гудел встречным пароходам и с уверенной силой тянул неповоротливую барку. Я похвалил его — старого работягу.

— Сормовичи сработали, — живо откликнулся капитан. — А они делают навек. «Кержак» хозяина пережил и меня еще переживет.

Я спросил, кому он принадлежал до революции. Капитан назвал фамилию судовладельца из староверов с реки Керженец. Мне вспомнились герои романа «В лесах» Мельникова-Печерского, и я представил себе бывшего хозяина «Кержака» потомком одного из героев этого романа.

На Волгу медленно спускались неторопливые северные сумерки. Сначала погрузнело небо, потом подернулись серой дымкой леса, от воды повеяло довольно чувствительной прохладой. Солнце, скрываясь за прибрежными угорами, окрасило их верхушки багровыми отсветами. Вдоль берегов Волги поднимались гребешки тумана. Река, такая приветливая и жизнерадостная днем, становилась хмурой и таинственной.

Между Семигорьем и Плесом русло Волги чистое, прямое; здесь нет ни перекатов, ни крупных изгибов, а поэтому рулевой, вглядываясь в какую-то одному ему нужную и приметную точку на берегу, только изредка шевелил рулевое колесо.

Капитан сидел с нами и медлительно рассказывал о своей долгой и любопытной жизни на Волге.

Километрах в двух от Плеса он показал на продолговатое здание, окрашенное коричневой краской, и с ударением произнес:

— Дача Шаляпина!

После того, как мы вдоволь нагладелись на это мрачноватое и ничем не примечательное творение не шибко гениального архитектора, он продолжал:

— Вот пел! Ума помрачение! — И капитан, как бы что-то припоминая, приложил к виску ладонь.

— Вам приходилось слушать его? — замирая в почтительном трепете, тихо спросил Юра.

— Не-ет,— сожалительно выдохнул капитан.— Всяко стремился— не удалось, но о пении его наслышан много и все пластинки с его голосом имею. Вот сейчас в Плесе будем. В Плесе он почти целое лето провел и пел в разных местах. У Шулепникова пел. Кто это такой? Жил тут за Плесом небогатый, но бойкий барин и считался понимающим искусство. У крестьян в соседней с Плесом деревне пел. И один раз удивил всех до крайности на пристани. Вот как это произошло.

Вечером, когда уже зажгли огни, провожал он знакомых. Пароход отвалил, развернулся, вышел на стрежень. Тут знакомые Шаляпина в последний раз замахали ему с верхней палубы платками, шляпами, а он ка-а-ак гро-охнет во весь голос «про-ощайте», так на пристани все лампы и потухли. Такое в воздухе произошло от его голоса колебание.

Я попросил высадить меня в Плесе. Отсюда по полям, лугам и лесам до нашей деревни насчитывалось километров тридцать, и я решил добраться домой пешком. «Кержак» сбавил ход, и молодой матрос живой минутой доставил меня в лодке на берег. Я зашел на пристань и поискал глазами те легендарные лампы, которые потухли от колебания воздуха, вызванного прощальным возгласом Шаляпина, но вместо их увидел электрические лампочки. Ко мне подошел дежурный по пристани и придиричиво спросил:

— Чего тут выглядываете?

Я пересказал ему легенду, сообщенную капитаном «Кержака», и спросил: было ли это в действительности?

— Не слышал,— озадаченно ответил он.— А раз не слышал— врать не буду.

— Когда здесь введено электрическое освещение?

— Не могу сказать. До революции я здесь не работал.

— У кого же бы узнать?

— Стариков надо спрашивать. А вам для чего это нужно?

— Для истории,— важно ответил я.

Он проникся уважением и устроил мне ночлег на койке в пустой санитарной комнате.

Утром я в молитвенном настроении постоял на горе Левитана, на том самом месте, где, по указанию местных жителей, любил работать великий художник.

За городом посмотрел дом Шулепникова. Здесь невольно пришли на память слова капитана «Кержака»: «небогатый, но бойкий баринок». Да, он был, очевидно, не особенно богат и построил невысокий, узкий, продолговатый дом комнат на восемь с небольшими окнами, с низкими потолками. Такие дома называют полукаменными: верхний этаж у них бревенчатый, нижний — кирпичный. Теперь одну часть дома занимала контора совхоза «Утес», в другой жили работники его. Я представил себе, как здесь однажды летним вечером пел Шаляпин, а потом через светлую березовую рощу и широкий луг прошел в деревню Горшково. Здесь мне сообщили, что у них жив еще крестьянин, который «пел с Шаляпиным». Его разыскали, он пришел и привычно, может быть, в сотый раз начал:

— Убирали мы сено на том лугу, что березняк огибает, и пели песни. Заслышал Шаляпин, выходит к нам в красной шелковой рубаше, собирает всех вокруг себя и говорит: «Давайте петь!» И вот мы поем, и он поет, а потом, как возьмется, как возьмется, так все наши голоса своим голосом, как шубой, и накроет.

Историю с погасшими на пристани лампами старый крестьянин не подтвердил.

— Чего не знаем — того не знаем, — почему-то с раздражением отрезал он. — Мы бы знали, ежели бы это происшествие произошло, пристань-то от нас не больно далеко.

Поздно вечером я притащился домой — голодный, усталый, запыленный. Отец неприветливо встретил меня:

— И без того все хозяйствишко у нас развалилось, а ты еще шляешься невесть где, — недовольно заворчал он. — Скоро совсем на нет сойдет.

— В чем дело-то?

— Да ржишки бы намолотить надо. Сеять-то ведь нечем.

Он смотрел на свое ничтожное хозяйство с каким-то презрением и говорил — «овсишко», «огородишко», «сараишко», «плужишко».

Свидетелься с Повалишниковым мне больше не пришлось. Осенью 1941 года он прислал в редакцию област-

ной газеты стихотворение с припиской, что находится на фронте, командует эскадрон. Его глубоко прочувствованное, ярко патриотическое стихотворение понравилось в редакции всем. После многих лет творческого роста и мучительных поисков в нем проявился на этот раз настоящий поэт. Номер газеты с этим стихотворением я послал автору и просил еще стихов, но Повалишников больше ничего не прислал. В начале весны 1942 года стало известно, что он погиб где-то за Дорогобужем во время рейда конного корпуса генерала Белова по тылам противника.

Избача Дубова я видел после войны. Он работал тогда уже на посту председателя облисполкома, произносил горячие речи, не забывая каждый раз вставить отрывки из любимых стихов Некрасова.

Приехав по заданию редакции в то село, где прошли детство и юность Дубова, я однажды утром услышал в правлении колхоза разговор:

— Говорят, опять прибежал?— спросил председатель одного из бригадиров.

— Прибежал.— подтвердил бригадир.

— Да-а, трудно старику,— сочувственно и озабоченно протянул председатель.— Этому человеку постоянно нужно дело, а дела там, у сына, ему нет. Он всю жизнь провел на земле, и земля его к себе тянет, без земли ему жизнь не в жизнь.

Я спросил, о ком идет речь.

Об отце Дубова,— ответил председатель.— Сын увез его к себе, обеспечил всем, только сиди и отдыхай, но старику не сидится, он тоскует по своей деревне и вот уже который раз прибегает домой. Пешком! За семьдесят километров.— Председатель повздыхал, подумал и добавил:— Да, это трагедия человека, всю жизнь отдавшего земле и теперь оторванного от неё. Земля как бы не отпускает его от себя. Всё это может понять только тот, кто родился, вырос и живет в деревне. Я, например, хорошо понимаю его.

Дубов вскоре опять увез отца к себе, так как беспомощный старик не мог жить один. Но через несколько месяцев полевой труженик вновь сбежал. После прихода домой умер на холодной печке. Дубов-младший вскоре уехал в Москву учиться.

Зайковский долго работал в своих родных местах

трактористом, потом механиком МТС и погиб командиром самоходной пушки при взятии Кенигсберга.

Юра Хранилов несколько лет пел в театрах музыкальной комедии областных городов, но потом след его потерялся, сейчас о нем, как говорится, ни слуху ни духу. Что с ним? Неужели он, несмотря на строгие предупреждения матери, «увлекся» и повторил судьбу отца?

**
*

В противоположной от Шохны стороне, в двадцати километрах от нашей деревни находилось село Филисово, а рядом с ним совхоз «Батыево» — бывшая усадьба князя Волинского. Прочитав роман Лажечникова «Ледяной дом», одним из героев которого является Артемий Волинский, и узнав, что его имение находилось в наших краях, я еще в городе собрал исторические сведения об этом государственном деятеле времени Петра Первого и Анны Ивановны.

Кроме того, около Филисова же стоял когда-то хутор «Ореховка» писателя Потехина.

Нельзя не заглянуть в эти знаменитые места!

Дорога от нашей деревни в Филисово проходила через большие фабричные села — Гольчиху, Бонячки и Тезино, вплотную примыкающие друг к другу.

Один из героев романа «В лесах» Мельникова-Печерского говорил: «Да вот к примеру хоть Вичугу взять. До французского года (1812) ни одного ткача в той стороне не бывало, а теперь там у мужиков только и дела, что скатерти да салфетки ткать. А как зачалось? Выискался смышленный человек с достатком, нашего согласия был, по древнему благочестию, Коноваловым прозывался, завел небольшое ткацкое заведение, с легкой его руки дело и пошло да пошло».

Разбогатец, этот крестьянин в 1825 году откупился на волю за две тысячи четыреста рублей, а впоследствии купил у разорившегося помещика все имение, но в барском доме жить не стал, а приспособил его под сушилку.

У Коновалова нашлись последователи — Кокоревы, Разореновы, Миндовские, Морокины.

Среди малоземельного крестьянства вичугской стороны было много дешевых рабочих рук. Смекалистый русский человек живо научился прядильному, ткацкому,

отделочному мастерству, быстро освоил все машины и станки. Вичугские фабриканты платили рабочим мало, на удовлетворение их социально-бытовых нужд ничего не тратили, получали большие доходы и сказочно богатели. Во второй половине девятнадцатого столетия на пятнадцативерстном расстоянии от Бонячек до Волги насчитывалось четырнадцать фабрик. На самых больших из них — Кокоревской и Коноваловской — было занято по десяти тысяч рабочих.

«Селение Бонячки,— писал в 1884 году Алексей Потехин,— в котором расположена фабрика Коновалова, представляет собою обширный фабричный поселок, по восточной стороне которого протекает речка Пезуха, впадающая через посредство других речек в Волгу. Селение представляет довольно узкую сорную улицу, в начале которой расположено до двух десятков крестьянских дворов, а затем с левой стороны три дома местных фабрикантов, с лежащими за ними фабриками, а по правой сады владельцев фабрик».

В 1925 году сёла Бонячки, Тезино и Гольчиха, сомкнувшиеся в одно огромное селение, были преобразованы в город Вичугу. Теперь это большой город с тремястами улиц, площадью в семь квадратных километров.

Я пришел в Вичугу под вечер, переночевал у знакомого рабкора — пожилого подвозчика утка Варзина и утром отправился в Филисово. Варзин подарил мне на память фотокарточку. На снимке он держал в одной руке газету, в другой ручку. На столике, около которого он сидел, лежала книжка и полбуханки хлеба. На оборотной стороне карточки Варзин написал: «Моей личности требуется только кусок хлеба, а народу нужна светлая жизнь, за которую я до гроба буду бороться пером».

**
*

Филисово я представлял себе большим и богатым селом, таким, например, как Старая Вичуга, с каменными особняками, с длинными торговыми рядами, с мощными улицами, а оно оказалось небольшим и небогатым. В нем не было ни одного каменного здания, и оно тянулось вдоль дороги одним порядком домов. Окна их смотрели на кочковатую луговину, которая медленно понижалась и обрамлялась дугообразной болотиной. На краю

села белела старинная церковь с тонкой, высокой колокольней. От задворок села начинались поля, окаймленные в далекой дали зубчатой кромкой хвойного леса. То ли от усталости, то ли от созерцания бедного села и скудных полевых просторов с полосками низкорослого овса и картошки с тощей ботвой (озимые были уже убраны) я почувствовал себя здесь каким-то слабым и затерянным. Раздражающе равнодушная тишина давила, превращала меня в затерянную на этом просторе точку. Я решил отдохнуть и пообедать в кооперативной чайной.

— Закрыта, — послышался голос за моей спиной. Я оглянулся и увидел женщину, убирающую лук с огорода.

— Почему рано? — спросил я.

— За весь-то день и пяти, надо быть, человек не заходило. Василий стоял-стоял за буфетом да затосковал. Я дала ему корзинку, поди, говорю, хоть по грибы сходи.

Я понял, что Василий — муж этой женщины, и спросил её — далеко ли до Ореховки.

— Рукой подать. Только вот за село немного пройти.

— А до Батыева?

— До Батыева подальше, но тоже недалеко. Оно в этой стороне. — Женщина махнула рукой в ту сторону, где виднелась гребенка леса.

Я недовольно посмотрел на запертую чайную, невольно вспомнил усмешливую поговорку: «Человек, не поевши, стоит много дешевле» — и пошел в Ореховку, припоминая по дороге путь писателя-земляка, которого никогда не видел, но глубоко уважал, а пьесы его, повести, романы, записки и дневники читал с особенным вниманием.

Алексей Антипович Потехин (1829—1908) родился в Кинешме, учился в Ярославском Демидовском лицее. Отец его, бедный дворянин, служил незначительным чиновником в уездном суде и оставил в наследство сыну хутор Ореховку в тридцати верстах от Кинешмы.

Окончив Демидовский лицей, Потехин жил некоторое время в Ореховке. Написал здесь пьесу и отправился в Петербург. Эта пьеса, в которой рисовалась крестьянская община и крепкие моральные устои крестьянского быта, была принята и поставлена в театре, но большого успеха не имела.

Прогрессивная часть общества того времени мало верила в эту крепость моральных устоев крестьянства.

Вспомнилась другая пьеса Потехина, действие кото-

рой развертывалось в течение одного дня на сельской гулянке. Основное внимание в ней уделялось хороводам, песням, она была этнографична и декоративна. Гораздо больший успех имели пьесы Потехина из городской жизни. В них он едко высмеивал чиновников-карьеристов, взяточников и консервативных дворян. Лучшие из этих пьес были запрещены цензурой. Добролюбов отмечал замечательное драматургическое мастерство Потехина и писал: «Потехин представляет нашу комедию, имеющую серьезное значение».

Интересны его очерки о старой Волге, когда еще не было паровых судов, когда барки с грузом водили бурлаки, а пассажиры ездили на лодках с гребцами («От Ярославля до Кинешмы», «Уездный городок Кинешма» и т. д.).

В 1856 году он вместе с Писемским и Островским участвовал в этнографической литературной экспедиции, которая дала ему много ценных материалов для будущих произведений.

Лучшими произведениями Потехина критика его времени считала романы «Крушинский», «Бедные дворяне» и повесть «Около денег».

Между прочим, примечателен излюбленный женский образ нескольких произведений Потехина — крестьянская девушка, побеждающая всех своих недоброжелателей умом, терпением и добротой. О крестьянах Потехин писал с большим уважением и сочувствием.

Задумавшись, я незаметно дошел до аллеи, по которой под прямым углом от дороги шла торная тропа к небольшому двухэтажному зданию, видневшемуся в конце аллеи.

Это была школа, построенная Потехиным для крестьянских детей.

У входа в здание старик с подростком починали и красили парты — через полторы недели начинался учебный год.

Заведующая показала мне школу — уютную, удобно, продуманно построенную — и портрет её основателя на стене. Спокойный вдумчивый взгляд, сухое, продолговатое лицо, узкая редкая борода. В наших местах я часто встречал людей такого типа: широких в кости, худощавых, с коротким туловищем и длинными ногами, очень выносливых и легких в ходьбе.

Заведующая сказала, что здесь недалеко живет крестьянин, который много раз встречался с Потехиным, и послала за ним сторожиху.

Вскоре явился крестьянин средних лет и впопыхах выпалил, смущенно улыбаясь:

— Чего я помню? Да ничего я не помню. Только помню, что это был высокий старик, ходил с толстой палкой, курил длинные папиросы и только до половины, а мы — парнишки — подбирали и докуривали.

— А как это понимать — парнишки? — спросил я.

— Ну годов пятнадцати-шестнадцати ребята. И не мальчишки уже и не парни еще.

— Вы, Григорий Васильевич, больше рассказывали мне, — заметила заведующая. — Говорили, например, как Потехин следил за строительством школы.

— Да, да, — подтвердил крестьянин, — постоянно наблюдал. Сам-то все ходит, все глядит, да еще стариков из деревни приведет, а те каждую планку, каждый вбитый гвоздь обследуют. Эта школа крепко построена. Да, умственный человек был.

День клонился к вечеру. Я спросил дорогу на Батыево и отправился туда.

**

Артемий Волынский вел свой род от Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка, который выехал из Воыни в Москву и женился на сестре Дмитрия Донского Анне. В Куликовской битве Дмитрий Донской доверил своему зятю командование засадным полком, скрытым в лесу, и поручил ему напасть на полчища Мамаю в тот час, когда битва войдет в зенит и судьба её начнет клониться к своему исходу. Военачальник засадного полка, проявив должную выдержку, уловил этот напряженный момент и ударил на врага так умело и стремительно, что в битве сразу наступил перелом в пользу русских воинов. Эта умело проведенная операция обессмертила имя предка Артемия Петровича — Дмитрия Волынского-Боброка.

Один из его потомков — молодой Артемий Волынский был замечен Петром Первым и отправлен в Персию «в характере посланника». В 1718 году он заметно отличился, заключив торговый договор с персидским правитель-

ством, затем был губернатором Казани, потом Астрахани. В 1738 году, будучи уже кабинет-министром, возглавил борьбу с бироновщиной. Обсуждая со своими единомышленниками проекты социально-политических реформ в пользу широких кругов русского дворянства, он допустил неосторожность, был обвинен в стремлении к перевороту и захвату власти. Бирон сказал: «Либо мне быть, либо ему». Царица Анна Ивановна встала на сторону своего любовника, и судьба Волынского была решена. 12 апреля 1740 года его подвергнули допдосу под пытками, а 27 июня предали мучительной казни.

Так трагически погиб Артемий Волынский от руки своих политических врагов на пятьдесят первом году своей жизни. Его современники свидетельствовали, что во время пыток и казни держался он мужественно. Дети Волынского были отправлены в ссылку.

Образ яркого идеолога оппозиции бироновщине долго привлекал внимание историков, биографов, романистов, вызывал глубокую симпатию в пламенной душе поэта-декабриста Рылеева.

...В конторе мне сказали, что Батыево — совхоз небольшой и бесперспективный: земли немного, почва — суглинистая и глинисто-иловатая, требует много удобрений и усиленной обработки. Расширить земельную площадь совхоза возможности нет: с одной стороны она ограничена малоземельем смежных деревень, с другой — лесами госфонда и огромным торфяным болотом.

Вечером я поужинал в маленькой столовой совхоза вместе с молодыми рабочими и отправился к ним ночевать.

Деревянный барак. Перед ним на утоптанной площадке — запыленные машины: жатка, косилка, веялка. На другом конце широкого двора старинное приземистое каменное здание с толстыми стенами. Сколько веков ему?

В бараке маленькая прихожая, а за ней длинная комната. У задней стены большие нары — сплошной настил из досок. Посреди комнаты — длинный, изрезанный ножом и ничем не покрытый стол. На трех подоконниках — кислые яблоки и недозрелые помидоры. В простенке, на полочке, — стопка растрепанных и частью изорванных на сигарки брошюр. У стены широкая

печь, побеленная известкой. Кто-то из ребят написал на ней убористо, углем:

«Приказываю не дурить, вату с огнем к носу не подносить и друг друга любить, потому что с любовью везде простор, а со злом везде теснота. Не будь зимой Кузьмой, а летом Филаретом, старайся быть хорошим человеком, а хороший человек один не живет, к нему всегда люди пристанут.

Нравоучитель Фома Евсеич Буканов.

Примечание: смеяться и песни петь разрешается, потому как серьезностью душу томить все время нельзя».

В этом бараке жили холостые парни-рабочие совхоза. Все они выросли без отцов, погибших в первую мировую и гражданскую войны. Вместе с ними живет старик Фома, работающий в совхозе пастухом. Он по-отечески их журит и наставляет. Ребята хоть временами и усмеваются над ним, но слушаются и уважают его. Я сел к окну, раскрыл томик сочинений Потехина, взятый в дорогу, и прочитал:

«Я живу в местности, где природа не особенно щедра к человеку: земля холодная, тяжелая, неродимая, зимы студёные, лета короткие, хороших лугов, заливных мало; где поля не родят без сильного удобрения и двойной обработки, а скота в долгую зиму прокормить нечем, и где поэтому две коровушки на крестьянский двор считаются уже роскошью, признаком большого довольства и благосостояния; где рядом с крестьянской нуждой пристроилось, нашло рабочие руки и развилось фабричное производство...»

— В точности про нас,— отозвались ребята. Земля, верно, трудная, да и её мало.

— У нас по окладному листу на продналог числилось меньше десятины,— проговорил тихий, вдумчивый паренек Саша Крапивин.— Полоски такие узенькие, что пополам делить нельзя. Я все оставил старшему брату и ушел в совхоз.

О писателе Потехине ребята слыхали, некоторые учились в школе, построенной им, но ничего из его произведений не держали в руках.

— Мы бы прочитали все от корки до корки, да книжек-то его здесь нет,— сожалели они.— Скажите там, чтобы напечатали.

В сумерках в общежитие неторопливо вошел корена-

стый плотный старик. В нем все было широкое: грудь, плечи, лоб; на густо загорелом лице резко выделялась широкая седая борода. Это и был, оказывается, «нравочитель» Фома Евсеич Буканов.

— Барствуете?— привычно спросил он.

— Барствуем,— привычно ответили ему ребята.

Саша Крапивин пояснил мне, что отдых старик называет барством. Когда перед зимой скот переходит на стойловое содержание и работа пастуха кончается, Фома говорит: «Теперь можно побарствовать», и ложится отдыхать спиной к теплой стороне печки. После долгого молчания Фома заговорил:

— Сегодня свернул с дороги ко мне в стадо Ванька Филосовский, которого летом из совхоза уволили за лентяйство. Ходил в город на фабрику проситься. Не взяли. Хотел я ему сказать: «Когда в деревне не нужен, и в город не по што ходить», да смолчал, потому как сказано: «че пихай то под гору, что само катится». Признался он мне, что любит нашу коровницу Дарью. Девка, верно, и хороша и работяща, за двух на любой работе выстоит, язык, говорю, у тебя не лопатка, знает, что горько, что сладко, но она — лебедь-птица, выведет детей вереницу, что с ними делать будешь при своем лентяйстве?

В общежитие ворвался высокий красивый парень, щелкнул пальцами, прошелся в пляске вдоль стола.

— Что это тебя, Андрюха, так разбирает?— придиричливо оглядев его, спросил Фома.

— Учиться еду. Место дали. На рабфак. Комсомол посылает. Завтра еду!

— Чего ж не ехать,— сказал татарин Айсин, черно-головый парнишка лет семнадцати. —Хлеб дают, сахар дают, чай дают, работы не дают — гуляй.

— Там, дитё ты неразумное, учиться надо, а не гулять,— снисходительно глянув на Айсина, сурово проговорил Андрей.

— Учиться хорошо!— мечтательно вздохнул Айсин.— Книжка взял, мало-мало читал и хорошо-хорошо спал.— И он изобразил, как у читающего вываливается книжка из рук, и он сладко засыпает.

— Там не больно разоспишься,— сказал Крапивин.— Столько занятий будет, что голова затрещит.

— Ничего — выдержим, — беспечно проговорил Андрей.

— Правильно! — поддержал его Фома. — Теперь доведется, видать, и тебе свою песенку спеть. Помни Андрияха: быть сильным хорошо, а быть ученым еще лучше. В твои годы я таким же молодцом был, как и ты сейчас, хотел ехать дале, да кони стали: в ту пору дороги нашему брату к ученью не было. Но вот, я думаю, на кого ты Дашу свою оставишь?

— Она тоже учиться поедет.

— Куда?

— Куда-нибудь.

— Андрей, а еще места там есть? — спросил счастливого парня Саша Крапивин. — Мне тоже учиться охота.

— Может, есть, а может и нет, — небрежно ответил Андрей. Ответ не понравился его товарищам.

— Ты по правде говори! — сухо и властно произнес Фома. — Сам знаешь, что без правды не житье, а нытье.

— Есть или нет, по правде сказать, — не знаю, — виновато произнес Андрей. — Я так обрадовался, когда мне место дали, что ни о чем не спросил.

— Так бы с самого начала и надо сказать, что не знаешь, — мягче заговорил Фома и обернулся в сторону Крапивина. — Ты сам завтра в волость сходи и узнай! — Он помолчал, сладко позевывая, почесал себе плечо и неожиданно объявил: — Ну, а теперь спать пора, потому как деды завещали нам: с курами ложись, с петухами вставай.

Проснулся я поздно. Дедушка Фома уже ушел за стадом. На белой стенке печки рядом с его поучениями виднелась новая запись, сделанная тем же убористым почерком.

Прощайте «бары»,
Прощайте нары,
Фома добреющий,
Сашок славнеющий.
А вы — молокососы —
Не вешайте носы.
Стану помнить вас до гроба.
Да здравствует учеба!

Андрей Крыгин

Сейчас Андрей сидел посреди пола и держал перед глазами сапог, разглядывая отставшую в одном месте подошву.

Ребята стояли, окружив его.

— Попросить бы надо тебе вчера Фому, говорил Саша Крапивин.— Он бы ночь не уснул, а починил бы. Собираешься в дорогу, а о себе не заботишься.

— Я только сейчас заметил, что оторвалась,— оправдывался Андрей.

Айсин порылся в своем мешке и подал ему свои чуни.

— Новые,— сказал он.— Деньга стоят — не жалко. Учись хорошо — книжку много гляди, спи мало-мало...

Крыгин отвел подарок рукой.

— Не надо. Увидят меня в них — обратно прогонят.

— Не прогонят,— заверил Айсин.— Увидят чуни — сапог дадут.

Крапивин взял худой сапог, отошел и вернулся с крепким:

— Обувай мой, а твой мне здесь Фома починит. У нас с тобой сапоги одинакового размера.

Через несколько минут ребята гурьбой вышли из общежития и на дворе простились с уезжающим.

Саша Крапивин поглядел на сапоги и посоветовал:

— Выйдешь за село — разуйся, а перед городом обуйся. До вокзала ведь двадцать верст, истреплешь их по дороге, а на рабфак приедешь — они развалятся.

Ребята пошли на работу, Андрей на дорогу к селу.

Уходя вскоре из Батыева, я видел, как Андрей стоял на дороге, кого-то дожидаясь, а к нему от усадьбы плыла «лебедь-птица» — коровница Даша, о которой страдал Венька Филисовский (да и один ли он), а она отдала свое сердце Андрею Крыгину. Я не видел её близко, не говорил с ней, но по разговорам в общежитии в моем представлении сложился образ девушки скромной северной красоты, спокойного ума и неистощимой энергии. Не таких ли девушек любил описывать в своих романах Алексей Потехин?

Андрей положил руку на её литые плечи, и они тихо побрели августовскими полями в ту сторону, где проходила железная дорога.

Года через полтора совхоз Батыево был ликвидирован, а его земли переданы местным колхозам.

Лет через пятнадцать, находясь в командировке в од-

ном из отдаленных районов области, я зашел в райком. Там ко мне подошел заведующий отделом агитации и пропаганды и подал руку:

— Мы с вами, кажется, немного знакомы... Встречались когда-то...

Я пригляделся и узнал в нем Андрея. Прошли к нему в кабинет, разговорились. Я представил себе картину пятнадцатилетней давности: августовское поле, пустынная утренняя дорога, девушка, провожающая парня на рабфак, и спросил, где теперь она.

— Даша, которую покойный Фома Евсеич называл лебедь-птицей, прошла подготовительные курсы в педтехникум, потом окончила его, а затем заочно осилила институт и работает директором средней школы,— охотно сообщил Андрей.

Я осторожно спросил:

— Не жена вам?

— Не-ет,— стараясь не выдать своего сожаления, тихо и намеренно спокойно ответил Андрей.— Говорят, что только немногим удалось жениться на своей первой любви. Я не сумел увеличить это число: помешали время, расстояние, самолюбие и беззаботность молодости.

**
*

Однажды, когда я работал в холодной половине избы, называемой у нас горницей, к столу подошел отец — дряхлый, седой, однорукий (правую руку у него «оторвало чесальной машиной» на фабрике братьев Разореновых в Старой Вичуге), — взял листок, торопливо исписанный мной, посмотрел и назидательно проговорил:

— Пиши, как волостной писарь! Вот писал! Любо поглядеть. Он теперь на почте работает. Надо бы его попросить, чтобы тебя поучил.

Я постарался несколько строк написать четко, красиво и показал отцу. Он долго глядел и, наконец, недовольно проговорил:

— Малость получше, но немного. На такое писанье, какое у писаря, у тебя, видно, руки нет.

Отец любил красивый почерк. Сам он выучился грамоте, умел читать «псалтырь» и подписывать свою фамилию, что по простоте её начертания было нетрудно: три палочки, кружок, а потом еще семь палочек. Его

подпись была похожа на изгородь с дверцей с левой стороны, и он всю жизнь мечтал научиться писать красиво.

Он вернул мне листок, легонько махнув рукой: ничего, дескать, не поделаешь, если не дано, и заговорил о другом медленно и деловито:

— Вот что! Мужики сегодня приходили. О тебе забоятся. Бегаешь туда-сюда, работы ищешь, но ничего, видно, у тебя не выходит. Вот они глядели-глядели, как ты мучаешься, и сжалились — на работу тебя выпросили. Поди завтра на фабрику — там тебе они место охлопотали. В конторе!

Я был тронут такой заботой односельчан, просил поблагодарить и добавил, что их услугой не могу воспользоваться. Потом рассказал о том деле, которым занят, и объяснил, зачем ходил в Шохну и в Филисово.

Деревня наша малоземельная; в полутора часа ходьбы от нее располагались четыре фабрики, все здоровые мужчины, девушки и женщины работали там. В докладах и газетах их называли тогда «текстильщики из деревни». Наши мужики имели на фабриках родственников, близких знакомых и поэтому вполне могли «охлопотать» мне место в конторе.

— В Филисове я был один раз, — сказал отец, выслушав мои объяснения. — Лошадь ходил покупать. Грязное селишко. После нашей Старой Вичуги глядеть на него неохота. И в Шохне единожды пришлось побывать. Ох, уж эта Шохна. Я бы в ней дня не прожил. Самоваров нет, время по солнышку определяют. Я тогда остановился в одной деревне узнать время, а часов-то, оказывается, ни у кого нет.

— Они теперь лучше живут, — заметил я.

— Едва ли, — усомнился отец. — Барских имений у них не было, так что земли им не прибавилось.

— Ту, что есть, стали лучше обрабатывать.

— Ну это может быть, — согласился отец.

Опираясь левой рукой о стол, он поднялся и, вздыхая, поплелся в теплую половину избы.

Поля опустели, дни стали короче, недели две уже лили дожди, на дорогах и на улице деревни холодела непролазная грязь. Я решил завтра идти к поезду, уехать в город и поступить в редакцию, но вечером узнал, что сегодня умер Дмитрий Скоморохов, пролежав в сельской больнице всего две недели.

На другой день утром я был уже там и беседовал с врачом.

— К тяжелому ранению примешался туберкулез,— объяснил он причину смерти.— Скоморохова давно бы не было в живых, если бы не лес и не заботы жены.

— Её не извещали? — спросил я.

— Спрашивали за день до кончины — не вызвать ли, дескать, жену, а он ответил: «Не беспокойте её, пусть живет без тревоги, я и без того отнял у неё пять лет жизни».

За гробом Дмитрия шли члены волостной парторганизации, группа крестьян из самой ближней к сторожке лесника деревни, несколько охотников и древняя старушка — родственница покойного. Играл духовой оркестр рабочего клуба.

Дмитрий лежал в гробу строгий, красивый, со страдальческими складками в углах губ. Казалось, вот-вот он сейчас переможет какую-то несносную боль и откроет глаза.

Когда мы проходили по улице, к процессии присоединялись сельские женщины и девушки. Привставая на носки и вытягивая шеи, они взглядывали на покойника и говорили:

— Красивый! И как живой.

День был серый, сырой. Сквозь многослойную громаду облаков изредка проглядывало солнце, и тогда лужи, сплошь покрытые опавшей листвой, начинали отливать золотом.

Спустились по съезду к длинному мосту через реку Вичугу, поднялись в гору. Река под селом текла в крутых берегах. Мелководная в сухое время, она сейчас с осенних дождей разыгралась и как бы вскачь несла свои мутные воды к Волге.

Кладбище находилось на приподнятой равнине за рекой. Отсюда виднелись деревни — Яшино, Демидово, Артюшино с мокрыми крышами домов, сараев, овинов, с прибитыми дождями ометами соломы. Дальше, над лесами тащилась в сторону Шохны огромная серая туча и тянула за собой пышный хвост дождя. Кладбищенские березы осыпали на могилы последние, самые мелкие листочки.

Секретарь волостной парторганизации сказал несколько слов о коротком жизненном пути коммуниста

Дмитрия Скоморохова, его боевых заслугах на фронтах гражданской войны; группа милиционеров, только сейчас прибывших на кладбище, вместе с охотниками дали три выстрела, заиграл оркестр, гроб стали опускать в могилу...

На другой день я уходил из деревни.

— Пошел? — окликнул меня от своего двора один из односельчан, когда я проходил по улице.

— Пошел, — ответил я.

— Ну, счастливо. Напиши там про нас чего-нибудь поинтереснее.

Восемь километров от деревни до станции я шел больше трех часов. Всю дорогу моросил бесконечный дождь, ноги скользили, вязли в грязи по голенища.

На вокзале было безлюдно. Огоньки на стрелках еле-еле виднелись в темно-серой завесе мелкого дождя и сумерек.

Подшел поезд. Он показался мне с молоточка новеньким. Стенки вагонов, омытые дождем, сверкали, будто только что отлакированные, окна светились яркими огнями.

Я вошел в вагон, опустился на скамейку в свете яркой лампочки, увидел оживленных людей в сухой одежде, и в душе у меня потеплело, сердце нашло правильный ритм, глаза стали блаженно закрываться.

— Что с вами? — слышался встревоженный женский голос. — Вам плохо?

— Нет, — ответил я, — мне очень хорошо.

...И вот уже я работаю в редакции. Первые творческие радости и первые маленькие удачи в большой газете.

Прибежать утром в редакцию, увидеть свежий номер со своим очерком, побродить по комнатам и вдруг натолкнуться на группу опытных журналистов, рассматривающих твоё творение и неожиданно услышать скупую, но окрыляющую оценку:

— Ну, что ж? Ничего-о-о!

— Да, ему, кажется, что-то дано...

Во второй половине зимы я получил из деревни коротенькое письмо, написанное по просьбе отца кем-то из учеников сельской школы. В нем сообщалось, что Баян сбежал с неизвестным охотником, проходившим по улице нашей деревни. Под письмом кривилась изгородь с воротцами в левой стороне — подпись отца.

Д. Семеновский

ЗАВОЛЖЬЕ

В. Г. Семеновской

В
✓
ничего

Все бы шли мы с тобою да шли
По раздольям заволжской земли,
Где когда-то Островский ходил,
Где он дружбу с народом водил.
И не зря полюбил он навек
Прелесть этих оврагов и рек.
Хорошо на просторе дорог
Услышать костромской говорок,
По обычаю дальних времен
Отдавать незнакомым поклон.
Отдыхать под кустом в холодке,
На обросшем грибами пеньке.
Опаленные летней жарой,
Мы идем по тропе луговой,
А в зеленой тени ивняка
Косу синюю моет река.
Будто башенных стен яруса,
Над лесами синеют леса,
В их глуши — кукованье и мгла.
Там Снегурочка, верно, жила.
Вон, коров собирая под ель,
Сел с жалейкой пастушеской Лель.
Соснам видится сам Берендей,
Вяжет сказки туман-чародей.
Овекает лицо ветерок,

Манят пыльные свитки дорог.
Мы проходим то бродом реки,
То среди нив, где цветут васильки.
В старом парке густые кусты
Раздвигаясь взволнованно ты.
Ищешь в них, на земле, у воды
Легконового детства следы.
Тени прошлого в сердце плывут.
А дороги зовут, все зовут.

УТРОМ

Стекло с узорами мороза
Холодным вспыхнуло огнем.
Заиндевелая береза
Зарозовела за окном.

Вставай, смывай водой студеной
Туманы снов, дремоты лень
И с пылом силы возрожденной
Встречай работой новый день.

ИНЕЙ

Сменив туман, волшебник-иней
Одел бульвары и сады:
Не пожалел ни пены синей,
Ни искр алмазных, ни слюды.

Он в пух серебряный оправил
Воздушных струн живую сеть,
Парчовым поясом заставил
Антенну в воздухе висеть.

И проводов седые струны
На зимнем небе, вдалеке,
За мглой, — как грифельный рисунок
На черной аспидной доске.

Белый

СУМЕРКИ

За окнами сумерки снежные.
Как сини, как мягки они!
В снегах зачернели прохожие,
В домах зажелтели огни.

Мы смотрим в вечерние сумерки,
Туда мы пошли бы с тобой,—
В задумчивый вечер сиреневый,
В пленительный мир голубой.

Но вспыхнула в комнате лампочка —
И меркнет, темнеет окно.
Вечерним сиреневым сумеркам
Цвести как недолго дано!

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Тихо на пригреве, хорошо!
Снег блестит, как борный порошок.
Ледяные искорки на нем
Разноцветным теплятся огнем.
Но в картавом карканье ворон,
В посветлевшем небе над двором,
В бахrome сосулк — всюду есть
Обновленья радостная весть!

ЖУРАВЛИ

Полный доверху сладкого сока,
Лес в дремотном стоит забытьи.
Журавли затрубили высоко:
Знать, почуяли гнезда свои!
Мчится к северу клин журавлиный —
И сочувственно слушаю я,
Как курлыкает он над равниной,
Возвращаясь в родные края.

ПОЛЫНЬ

Мой стол украшен не цветком,—
На нем стоит полынь сухая,
Полями, солнцем, ветерком
Как будто все благоухает.

Я за рекой нашел ее,
Бродя по взрытой луговине,
И в этот день принес в жильё
Седую веточку полыни.

Вдохни полынный аромат,
Хоть горький, но такой приятный,—
И, житель городских громад,
Ты зов полей услышишь внятней!

ЗЕМЛЯ

Ты любишь слушать за селом
И крики пастухов,
И лай собак, хранящих дом,
И пеньё петухов.

С тем морем звуков ширь земли
Теплее и родней:
Она звенит вблизи, вдали,—
То жизнь звенит над ней.

И не страшит тебя ничуть
Зеленый бугорок,
Который встанет где-нибудь,
Когда настанет срок.

Как будто лежа, там в земле,
Весной по ветерку
Ты вдруг услышишь, как в селе
Звенит кукареку.

А. Благов

МОИ МЕЧТЫ

Окраина молчит
Под белым покрывалом,
И скромный домик мой
В сугробах утонул.
Пройдет немало дней,
Пока с рассветом алым
В окошко прилетит
Весенний первый гул.

Хочу, чтобы угроз
Холодных не заметить,
С друзьями не порвать
Свиданий и бесед,
На голос дружеский
Сердечный дать ответ
И новую весну
Хорошей песней встретить.

МАЙ

Еще много от жизни
Мне надобно взять:
Не хочу о беспечном
Покое мечтать.

Пусть три четверти века
Лежат на плечах —
Не остыли желанья,
И кровь горяча!

Вот раскрыл я окно
В расцветающий сад,
В сердце звуки весенние
Сладко стучат.

Хорошо старику
У весны погостить,
О минувших годах
Не жалеть, не грустить.

Я СЧАСТЛИВ НАРАВНЕ С ТОБОЙ

Володе Смирнову

Закралась грусть в мою строку,
Сказались годы трудной ношей.
Вставай на смену старику,
Мой юный друг, мой друг хороший.
Я был ткачом, поэтом был,
Как жизнь свою, любил я слово:
В душе глубоко я носил
Стихи любимого Кольцова.
Прекрасна молодость твоя,
Такой не видел и во сне я:
И звезды алые Кремля
И небо чистое над нею.
За жар сердечного огня,
За робкие мои творенья
Начальство строгое меня
Карало, как за преступленье.
Тебя взрастил свободный край,
Тебе преград в дороге нету:
Смелее, милый друг, вставай
На смену старому поэту.

Я счастлив наравне с тобой.
И сердцем рад я безгранично,
Что по цехам у нас фабричным
Бушует ситцевый прибор.

ПЕНСИОНЕРЫ

Июньский денек
Загляделся в оконце;
Идем на прогулку,
На воздух, на солнце!

Нас город встречает
Приветливым взглядом,
Дворцов и бульваров
Чудесным нарядом.

Мы в корпус фабричный
Заходим охотно,
Где многие годы
Мы ткали полотна.

Послушаем песни
Любимого цеха,
Друзьям дорогим
Пожелаем успеха.

СКРЫЛОСЬ ВРЕМЯ ЗЛОЕ

В слободе рабочей —
Домик над рекою,
Под окном берёзки
Шелестят листвою.

Скромен ты, мой домик,
Невелик, не тесен,

Но давно не знаю
Я печальных песен.

Пел я их когда-то,
Запевал невольно
В те часы, как сердцу
Было слишком больно.

Скрылось время злое,
Унеслось бесследно.
Обновил всю землю
Наш Октябрь победный.

Не найдет дороги
К нам бывшее горе,
Как не может Волга
Повернуть от моря.

М. Бритов

В ИЗБЕ НА ЗАДВОРКАХ¹

От автора

В этих рассказах нет придуманных фактов и вымышленных героев.

Я рассказываю о виденном и пережитом в далекие детские годы, памятные горькими обидами, непрерывными унижениями, голоданием и незабываемыми жестокостями.

О безвозвратно ушедших в прошлое тех временах наша молодежь, к ее великому счастью, узнает только из книг да по изустным рассказам.

И пусть наша молодежь, узнавая о тяжелой жизни своих отцов и дедов, еще сильнее научится любить и ценить светлое, безгорестное настоящее, открывающее ей широкие пути в беспредельно-счастливое будущее.

КТО ЭТОТ МУЖИК?

Сквозь захлестанные пылью мутные стекла окон пробиваются скупы лучи предосеннего солнца и тусклыми ломаными линиями лежат на полу избы. А когда на солнце наплывает облачко, зыбкая полоска тени медленно застилает солнечную дорожку, и она меркнет, исчезает. Но вот облачко проплыло, и дорожка тянется

¹ Главы из повести

опять от окна к двери, а над ней клубится серо-желтый слой пыли.

Брат Егор, сестренка Таня и я позавтракали, но сидим за столом. Мы не сыты и выжидательно поглядываем на мать: а не даст ли еще поесть.

Мать ополаскивает посуду у залавка.

— Чего расселись, словно гости? — развеивает она наши надежды. — Егорка, собирайся! Пойдем в лес сучки и валежник собирать.

Недовольные, нехотя вылезаем из-за стола, вспугивая густой рой мух, облепивших картофельные очистки.

Достав из укромного местечка под лавкой лучшую игрушку — скатанный из коровьей шерсти мячик — я хочу бежать на улицу к ребятам играть в лапту. Мой мяч вызывает их общую зависть. Еще бы! Если мячом ударить со всего размаху о землю, то он подскакивает высоко-высоко, не хуже настоящего резинового. А наподдашь палкой — летит мяч далеко-далеко.

— Максимка, и я с тобой, — просится Таня.

— А этого не хочешь? — и сунув ей к носу кукиш, я направился к двери и остановился: в сенцах послышались чьи-то шаги, закрипела и растворилась скобоченная дверь, и в избу вошел незнакомый мужик с мешком за спиной и небольшим, перекрещенным веревками сундучком в руках.

Увидев вошедшего, мать перестала мыть посуду и, всплеснув руками, удивленно ахнула:

— Ой, господи! Яким, батюшка! Вот радость-то нежданная, негаданная! Недаром вчерась мне сон приснился, будто я серпом руку до кости рассадил. Кровь-то так ручьем и защурила. А кровь-то всегда к родному, кровному снится, Якимушка.

По впалым щекам матери поползли крупные слезы.

— Давай снимай котомку-то. Поди, она совсем плечи тебе оттянула, — и подойдя к мужику, стала снимать лямки с его плеч.

— Подожди, Наталья, подожди, я сам, — отстранил ее мужик и неловким движением сбросил мешок на пол. — Ох, устал!.. Да ты не плачь, не плачь, — успокаивал он мать.

— Это от радости... Не горькие слезы...

— Кто этот мужик? — шелотом спросил я Егора.

— Аль забыл? Батя наш, — тихо ответил Егор.

Я не узнал отца. Последний раз он приезжал домой лет пять назад. Шел мне тогда четвертый год.

Я внимательно рассматриваю отца: среднего роста, коренастый, с окладистой, аккуратно подстриженной темной бородкой, заметно тронутый сединой, он мне нравится. Однако больше, чем он сам, мое внимание привлекают его смазные сапоги и картуз с блестящим, лаковым козырьком.

Отец наскоро перекрестился в передний угол, поздоровался с матерью за руку, обнял и поцеловал ее. Затем по очереди поцеловал всех нас.

— Заморился... Хотя и говорят — свой узел не грузен, да нет... Пока шагал с полустанка, эти хунды-мунды, — отец кивком бороды показал на мешок и сундук, — здорово хребет натерли.

Вытерев потный лоб рукавом пиджака, он сел на скамейку.

— Что же ты не написал и ни с кем не наказал, что домой собрался? Кабы знали — встретили бы. Надолго ли приехал-то?

— Домой, мать, приехал я насовсем. В Питер больше не поеду, отработался. Прихварывать стал частенько. Может, дома поправлюсь...

— Слава тебе, царица небесная! — обрадовалась мать. — Полегче и мне станет, — и, спохватившись, засуетилась: — Да что это я... Садись за стол, перекуси с дороги, верно, проголодался...

— Закусывать не хочется, а попить бы не вредно.

— Сейчас, Якимушка, сейчас. Я точно в воду глядела, что гостя ждать. Топила печку — целый чугуны воды вскипятила. Чайку-то у нас нет, да ничего, яблочных листочков заварю. Еще в прошлом году в барском саду у самых сладких яблонь их насобирала. Навар с яблочных листьев полезительный, от боли в груди помогает да и пахнет духмяно.

Вытащив из печки чугуны, она положила в маленький чайник сухих листьев и ополовней налила в него кипятку.

— Садись, Яким, пей! — ласково пригласила она отца, наливая в кружку слегка пожелтого напитка. — А может, перекусишь? В печке картошка жарится, вкусная, молочком залитая. А не то грибков принесу. Хорошие нынче грибы, ни одного червивого. Максимка

с Егоркой набрали. Мне самой-то ни разу в лес не пришлось сходить. Некогда.

— Не хочу ничего, мать.

Опираясь руками на колени, он с трудом встал, придвинул ногой к себе сундук, распутал на нем веревки, достал из кармана жилетки ключик и отпер личинку. Вынув из сундучка сверток, он развернул его и дал каждому из нас по сухому розовому прянику-рыбке и по длинной конфетке в золотистой, разлохмаченной обертке.

Получив подарки, мы отошли в сторону и принялись сравнивать — у кого пряник или конфета больше. Мне хочется вцепиться зубами в пряник, но я воздерживаюсь от искушения. Нет, пряник надо показать ребятам.

Пряник и конфету я прячу за пазуху.

Весть о приезде отца быстро разнеслась по селу, и к нам в избу поглядеть на «питерянца», узнать о своих родственниках, работающих в Питере, сошлось немало народа, особенно женщин.

Первой пришла тетка Марфа, нестарая, седоватая женщина, изнуренная нуждой и многолюдной семьей. Муж ее работал в Питере на фабрике чернорабочим.

— Здравствуй, Яким Иванович! — низко поклонилась она отцу. — Ладно ли добрался?

— Добрался, слава богу.

— Не видел ли там моего мужика?

— Заходил перед отъездом к нему. Спрашивал, что наказывать домой будет. Велел сказать, зимой на побыву домой приедет.

— А деньжонок, али еще чего, не прислал он с тобой?

— Нет, тетя Марфа, ничего не прислал, — смущенно, не смотря на нее, ответил отец.

— Как же мне жить? Что делать? — В ее голосе слышались сдерживаемые слезы.

— Думаешь, сладко ему там живется? На восемь рублей в месяц не распрыгаешься. За угол — плати, пить-есть надо, святым духом сыт не будешь. И выкраивай каждую копейку домой послать.

— Так он там один, а у меня пять душ ребят. Старшему десятый год пошел. Мать-старуха колодой лежит.

За столом от едоков тесно, а работа вся на одну шею. Обо всех заботься, всех обхаживай...

В робких вопросах женщин, чьи мужья и сыновья работают в Питере, слышится затаенная надежда на помощь. Но немногословные ответы отца — «нет, ничего не прислал», «нет, ничего не наказывал» — ложатся на их сердца горечью обманутого ожидания. Понурые, опечаленные уходят женщины: дома и в поле ждет неотложная работа.

В избе осталось несколько мужиков. Они сами жили в Питере и расспрашивают отца о городской жизни, о заработках, о прежних знакомых. Поговорив с отцом, ушли и мужики. Остался только один Егор Чирков, любимец всей сельской детворы.

Дяде Егору лет тридцать пять, но худощавый, подвижный, он выглядит моложе. Живет он весело, напористо протискиваясь сквозь повседневные рогатки нужды, умными советами, а когда в силах, и делами, помогая и другим мужикам не падать духом.

Дядя Егор грамотный мужик. Он дружит с учителем, берет у него читать книги и газету. В селе его почтительно называют «книжником». В свободную минуту он не прочь участвовать в любой ребячьей затее. Летом он ходил с нами ловить в прудах жирных пучеглазых карасей, залезал на самые высокие деревья, доставая из грачиных гнезд яйца, разжигал в ночном костры, мастерил нам пружинистые луки. Зимой он помогал нам устраивать снежные горки и заливать их водой, сооружал самодельные лыжи, с носками из ободьев старых решет.

В огороде дяди Егора, обсаженном по изгороди молодыми яблоньками и вишенками, стояло пять колод с пчелами.

И повелось так, что ежегодно, когда он вынимал из ульев первый мёд, к его огороду сбегалась орава босоногих, в чумазом солнечном загаре мальчишек и девчонок, ожидая лакомого подарка.

Вынув мёд, дядя Егор выходил к нам с огромной старинной ендовой, наполненной заранее нарезанными кусочками мёда. И каждому из нас — в черепок, в листок лопуха, а кому и прямо в ладошки, клал кусочек невыразимо вкусного, душистого сотового мёда, радуясь нашей радости.

...Оставшись вдвоем, отец и дядя Егор, покуривая, беседовали.

— Тяжеленько, говоришь, живется в городе-то, Яким Иваныч?

— Да, нечем похвастать. — Отец встал и медленно заходил по избе. Работаешь — концы с концами сводишь, а остался без заработка — хоть в петлю полезай. На заводе ценят только здорового человека. Занемог — за ворота вылетай. На своей шкуре испытал. Начал прихварывать, живо турнули с завода, а я на нем больше двадцати лет отработал. Хорошим мастеровым считался.

— А ты бы попросил начальство не прогонять, — внимательно слушая отца, проговорил дядя Егор.

— Упрашивал-упрашивал, и слушать никто не хотел, уволили. А без работы на какие достатки жить? Принялся искать работу. Сунусь на один завод — не нужен, на другой — от ворот поворот. Может где и взяли бы, да у меня на подмазку ни копейки нет. Известно, сухая ложка рот дерет. Вещишки, какие были, продавал, проел. Хозяйка с квартиры прогнала. Походил на ночевки к землякам, да вижу — дело несподручное. Смотрят косо, чужой человек, мешаю. Сядут за стол, и меня позвать нужно, а у них и так каждый кусок хлеба на счету. Побился-побился, а потом стало не в мочь — решил домой ехать. Здесь хоть угол свой...

— И под своей крышей, Яким Иваныч, без хлеба не проживешь. Земелька наша на три аршина мужичьим потом да бабьими слезами просолилась и плохо родит. А выпадет дождливое лето — совсем беда — всё вымокнет, прямо караул кричи! С чего думаешь начинать хозяйствовать-то?

— Лошаденку нужно заводить.

— Верно, без того тебе не опериться. Сдавать землю обрабатывать и дорого и толку мало. Обрабатывают не по совести, лишь бы деньги сорвать. Смотрю я на мужиков наших и уразуметь не могу — почему они готовы с бедняка последнюю рубаху снять. Возьмем к примеру Мишуху Шибалу. Мужик не плохой, умный, а как обрабатывал тете Наталье полоски? Стыдил его сколько раз. Соглашается, плохо, мол, обработал, а потом делал так же. Приступишь к хозяйству, коль трудненько будет, покличь — чем в силах помогу.

— Спасибо, Егор Дмитрич,— в пояс поклонилась ему мать.— Я и так не знаю, чем отслужить тебе за добрые дела.

— Засиделся я у тебя, Яким Иваныч, пора домой брести, а не то от хозяйки взбучку получишь,— и дядя Егор поднялся с лавки.

— Твоя Катерина и ругаться-то не умеет,— улыбнулась Егору мать.

— Она и, не ругаясь, может сковородником попотчевать.

— Подожди-ка, Егор Дмитрич,— обратился к нему отец.— Пройду с тобой и я, посмотрю на село,— и надев на голову картуз, вместе с дядей Егором отец вышел из избы. Вслед за ними выскочил и я.

В нашем селе около двухсот домов. Расположено оно на большой дороге из одного уездного города в другой. Один длинный посад села вытянулся вдоль дороги версты на три, а второй упирался в старое кладбище, украшенное белыми и черными мраморными памятниками бывших владык села, испещренное холмиками крестьянских могил с убогими, одряхлевшими крестами. Рядом, за высокой кирпичной оградой, с железными воротами, стояла церковь. Немного в стороне от церкви — недавно построенная земская школа, в которой учится детвора и из ближайших деревень. Дальше, в обширном саду, обнесенном двухсаженным забором, под вековыми елями, березами и ветлами, по берегу пруда — помещичий дом и различные хозяйственные строения. В воде и на берегу пруда догнивают остатки разрушенных временем беседок, купален и мостиков для причала лодок. Днем и ночью довольство и покой помещицы охраняют откормленные свирепые собаки.

Близко, почти соприкасаясь почернелыми соломенными крышами, стоят крестьянские избы. Большинство изб асиновые. На постройку сосновых или еловых домов не хватало средств.

Бедно жили крестьяне села, задыхаясь в последствиях «освобождения» от крепостной зависимости. Лучшие земли и леса отошли помещикам Рыхлинским, Дубасовым, Орловым, Новиковым. Помещики опутали крестьян новыми видами самой наглой барщины — различными отработками. Особенно широко применяла си-

стему отработок помещица нашего села генеральша Рыхлинская.

Вплоть до Октябрьской революции цепко держала эта старая, полуслепая женщина в тенетах отработок село, заставляя расплачиваться трудом и за покос травы в ее лесах, и за воду из колодца на ее земле, за прогон крестьянского стада по дорогам, проходившим по ее владениям, за отгул ее племенного быка в мирском стаде, за полоскание белья в ее прудах. Надо заготовить дрова для отопления — шли к барыне и поклонами выпрашивали разрешения собрать в лесу валежник или срубить сухостойные деревья.

Денег помещица ни за что не требовала. Она разрешала всё делать «даром», ставя условие, чтобы летом пришли к ней поработать — убрать десятинку-две ее посевов или сделать еще что-нибудь.

Почесывая затылки, про себя награждая крепкими словами «благодетельницу», мужики соглашались и принимали ее благодеяния.

Между крестьянами и помещиками шла затаенная непримиримая борьба. Силе и власти помещицы мужики противопоставляли неостывающую ненависть, которая иногда прорывалась актом справедливой мужицкой расплаты. Так, еще перед 1905 годом кто-то поджег скотный двор помещицы. В огне погибло около пятидесяти коров. Все знали, что это поджог, но, несмотря на тщательное следствие, виновных не нашли.

Нужда, голод толкали изголодавшихся односельчан и на воровство. И так повелось, что каждую кражу в округе приписывали нашим мужикам: обворовали они, большедорожники! Доля правды крылась в этих словах.

Да, бедно жили в нашем селе. Около трети всех хозяйств не имело лошадей. Их полоски наспех обрабатывали лошадики. Кой-кому верой и правдой служила унаследованная от дедов соха-матушка. Хлеб на гумнах обмолачивали цепами. Обмолоченную рожь, овес, ячмень, провеивали, подбрасывая широкой деревянной лопатой в воздух. Свежий ветерок подхватывал, относил в сторону ости, пелеву, мякину. На разостланные дерюги падало тощее зерно, выпестованное многодневным заботливым уходом. Но хлеба не хватало и до половины зимы. И с Нового года брели старики и стару-

хи и дети в соседние деревни выпрашивать «христовым именем» милостыню.

Многие мужики, оставив хозяйевать дома жен, пытались искать облегчение в заработках на стороне и уезжали в Петербург с затаенной надеждой поддержать нищающее хозяйство. Но надежды обманывали, расчеты не оправдывались. Разорение надвигалось неумолимо, неотвратимо. И тогда, сдав в аренду богатым наделные земли, распродав домашний скарб, рушили свое хозяйство и уезжали с семьями в города. И немало покинутых изб смотрело на улицу села наглухо заколоченными окнами.

...Не спеша, разговаривая, шагали отец и дядя Егор по улице села. Отец сначала с интересом, а потом как-то озабоченно оглядывал избы обоих посадов. Под окнами одной заколоченной избы он остановился:

— Вот никогда бы не подумал, что Федор Урхов бросит хозяйство. Такой, кажись, был настоящий крестьянин. Давно ли заколотил он избу?

— Давно ли? — дядя Егор подумал и ответил: — Пожалуй, года три... Сдохла у него лошадь, он и подался в Питер. Сперва один, а потом и жену с ребятишками выписал...

— Смотрю я, Егор Дмитрич, на село и удивляюсь: что-то сильно оно изменилось. Все как-то постарело. Избенки посерели, кособочатся, в землю врастают...

— Чему ты удивляешься? В нашей жизни, Яким Иваныч, все раньше срока стареет. Стареют дома, стареют люди. Погляди позорче — и у молодых мужиков на висках раннюю сединку отыщешь...

— Неужели так все живут?

— Нет. Есть и такие, кто о завтрашнем дне не думает. Вот, взгляни, — и дядя Егор показал на новый пятистенный дом под железной крышей, ярко окрашенной зеленой краской. — Видишь, какую домину отгрохал себе наш Мощей.

Мощеем звали в селе лавочника Андрея Печенкина — древнего, но еще крепкого старика. Торговал Мощей лежалым и порченым товаром, по завышенным ценам, охотно отпуская его в долг. Неграмотный старик надежно помнил, кто за что и сколько должен ему. Он не только продавал товары, но и скупал лён, сено, скот, принимал за гроши в заклад одежду, льняные холсты,

предметы домашнего обихода. В селе не любили Мошца и боялись его. Только один дядя Егор открыто высказывал ему в глаза нелюбимую стариком правду, злил его своими остроумными насмешками. Люто ненавидел Мошца дядю Егора и всячески старался не сталкиваться с ним.

— И на кой черт ему такой дом! — удивился отец. — Одной ногой над могилой висит, а домину отхлопал подстать барыниному.

— Не скажи. Если его черт копытом не пришибет, — еще полсотни лет небо коптить будет.

Я верчусь около отца. Мне хочется, чтобы ребята увидели его смазные сапоги и картуз с лаковым козырьком.

— Батя, — вмешался я в разговор, — а недавно Мошца дядю Егора хотел запором в лавке огреть.

— Да ну! — Расскажи, Егор Дмитрич, как дело-то было? — обратился к нему отец.

— Максимка тут приукрасил немножко, — в глазах дяди Егора блеснули озорные, веселые огоньки. — Захотелось нам посолониться. И послала меня жена купить селедочку. Пошел я к Мошцею. Лежат селедки в бочке жилистые, словно снегом, со всех сторон запорошенные солью. Вытащил я одну такую диковину, кручу за хвост перед лицом старика и спрашиваю: «По годам-то она не ровесница тебе, дедушка Андрей?» — «Положи селедку, — говорит, — все равно не купишь!» — «Купил бы, — отвечаю, — да за пятак с такой диковинной рыбкой не расстанешься.» — «Не нужен мне твой пятак!» — вырвал у меня селедку и швырнул в бочонок. — «Ой, дедушка Андрей, — говорю, — зачем душой кривишь? Когда было видано, что бы ты от пятака отказался? Такое во сне приснится — не поверишь. Ты ведь и богу-то молишься — не святым кланяешься, а серебрянным ризам на иконах». Эх и взъерепенился тут старик! Забегал за прилавком, руками машет: «Уйди, богохул! — визжит. — Уряднику, старшине скажу!» — «На это, — говорю, — ты гораздый. Не раз по твоим поклепам таскали мужиков в кутузку». «Врешь, врешь! — обозлился Мошца. — Назови, кого таскали, назови! У меня совесть есть, я в бога верю...» — У тебя, вместо совести, борода осталась, да и та непутевая, от жидоморства вся вылезла. А ты о совести толкуешь». А тут народ

в лавку поднабрался. Слушают нашу беседу, смеются. Не выдержал старик, схватил дверной запор и на меня, да одумался...

— Чем же все это кончилось?

— Выгнал всех нас Мощей и лавку закрыл.

— Ты так и не купил селедочки?

— Да, пришлось домой ни с чем уйти. Вот и моя хибарка,— остановился дядя Егор у крылечка своей избы, выделявшейся из других новой соломенной крышей.— Зайдем, Яким Иваныч, ко мне. Угощу ядреным квасом. Катерина у меня мастерица квас ставить.

— В другой раз, Егор Дмитрич. А сейчас поплетусь домой. Надо с дороги отдохнуть.

Предосенние сумерки прохладной темнотой заполняют избу. Не слышно надоедливого жужжания мух. Поужинав, мы все сумерничаем. Спит только Таня. Егор заканчивает чистку картошки. Отец и мать сидят у стола, я в стороне у окна.

— Прямо святой человек Егор Чирков,— говорит мать.— Для каждого сыщется у него обогревное слово. Многим помогает и ни с кого гроша ломаного не возьмет. И диво — сам бы жил не в нужде. Все время с редьки на воду перебивается. Дай бог ему здоровья.

— Верно, хороший мужик,— подтвердил отец.— И мне подмогнуть обещался, а доброе слово, ой, как дорого.

— Говорят он всю библию прочитал и не зачитался.

— Дурак с поминальника зачитается, а толковый человек и от библии умнеет.— Помолчав, отец продолжал: — Вот огоревать бы нам лошаденку. Без лошади не оправиться и в люди не выбиться. Теперь и тебе, мать, полегче станет. В доме мужичья голова...

Слова отца обидели мать:

— А разве я бабьей головой не в дом, а из дома гоношила?

— Ты эти намеки брось! — отмахнулся отец и, подтянув меня к себе, посадил на колени.

— Отчего нос-то у тебя так облупился? Э, да ты, приятель, весь в цыпках.

Действительно, от несмываемой грязи кожа на моих руках и ногах огрубела и на ней образовались цыпки. Мать пыталась лечить их, смазывая руки и ноги коровьим и лампадным маслом, но лечение не помогало.

Помытые вечером теплой водой и смазанные маслом ноги и руки утром месили грязь, вздымали тучи пыли на дорогах.

— Расскажи-ка, архаровец, здорово цыпки запевают по ночам? — трунит отец надо мной.

Подсмеивание отца сердит меня и, набычившись, я пытаюсь вырваться и убежать.

— Ишь непоседливый какой! Посиди, поговори.

— Да отпусти ты его, — заступилась за меня мать, но отец держит крепко, не отпускает.

Помолчав, мать робко спрашивает его:

— Яким, а денег-то хоть немножко привез?

Отец нахмурился, уставясь глазами в пол.

Выждав, мать снова спросила:

— Денег-то, скажи, привез?

— Нет. Хворал я. На билет зимнюю тужурку продал...

— Как же будем жить-то? Ничем-то ничего нет у нас. Керосина, соли купить не на что. Мощею рубль с копейками задолжали. Ребятишки голопузые ходят. Теперь одна надежда на Кольку. Придет после Покрова из пастухов, может рублей пять принесет. Недоимки два года не платили. Того и гляди корову со двора уведут! — изливала мать в укорах скипевшуюся на сердце боль.

Отец закусывал то верхнюю, то нижнюю губу. Глаза его стали холодными, теплые искорки в них погасли. Его пальцы больно стискивали мои бока.

— Давай, мать, не станем сегодня считаться. Времени впереди много, потолкуем еще обо всем...

К ЧЕМУ ПРИВЕЛО МАЛЕВАНЬЕ

Не замечая, отец нарушил, перевернул привычный уклад жизни в нашей семье.

В будничную повседневность вместе с ним вошла непривычная настороженность, замкнутость, робость. Мы жили прислушиваясь и присматриваясь, тише говорили, меньше резвились, стараясь находиться больше не дома, а на улице.

Иначе, чем обычно, вела себя и мать. Она внутренне подобралась, замкнулась, ступала по избе неслыш-

но, говорила, приглушенным голосом, чаще награждала нас незаслуженными шлепками.

Мы, дети, не понимали, да и не могли понять происходящего, но чувствовали острую напряженность отношений между отцом и матерью. И сторонясь отца, прижимались к матери.

К нам отец относился по-разному. Старшего сына Николая он словно не замечал: живет, ну ладно, пусть живет — беда не велика и радости мало. Егора он ненавидел угрюмой ненавистью. Без всяких оснований он возомнил, что Егор не родной ему сын, а приبلудыш, дитя непροщаемого прегрешения матери перед супружеской верностью в ее одинокой сельской жизни. Над Егором он жестоко глумился, беспричинно и часто бил его. За столом Егору он давал меньший, чем другим детям, кусок хлеба, провожая насупленным взглядом каждую, подносимую им ко рту ложку похлебки.

Обидными прозвищами: «приблудыш», «подометник», «головастик», «большемордый» крестил он Егора.

Запуганный, забитый Егор, старался не попадаться на глаза отцу, прятался от него, где мог, опасаясь оплеухи, таски за уши и волосы.

И когда я и сестренка Таня играли в незамысловатые игры, Егор боялся подойти к нам, лежал на печке или на полатах, с опаской поглядывая на отца.

О сестренке Тане отец с нескрываемым недовольством говорил:

— И зачем она на свет божий появилась? Земли на нее не дадут, а хлеб жевать и без нее ртов хватает...

Из всех своих детей отец благоволил открыто только ко мне. Мое затейливое озорство, хитрые выдумки, сочинение небылиц он принимал и слушал благожелательно. Особенно нравилась ему моя цепкая память и умение передавать услышанное и увиденное. Услышав какую-либо сельскую историю, новую частушку, я запоминал их и торопился домой пересказать отцу.

— Вот, чертенок, все помнит. Память у него лучше, чем у нашего мастера на заводе или у меня в молодые годы, — гордясь, хвастался отец. — Этот весь в меня пошел! — говорил он, искоса язвительно взглядывая на мать.

Обижаемая его несправедливыми обвинениями и по-

дозрениями, мать вначале пыталась отражать его выпады, но убедаясь, что ее слова вызывают новые насмешки и ругань, обиженно вздыхала, молчала.

**
*

Я рано пристрастился к рисованию.

Не имея бумаги и карандашей, углями, мелом, осколками кирпича я малевал на чем попало: на столе, на полу, на печной заслонке, на драночных дощечках.

Особенно удачными получались рисунки мелом, когда я старательно расписывал железную печную заслонку.

Отец поощрял мой «талант».

— Молодец, Максимка, старайся, рисуй. Подрастешь, в Питер отправлю. Будешь на заводе работать, пригодится твоё малеванье.

— А ты, батя, в Питер поедешь со мной?

— Я-то? — отец нахмурился и грузно заходил по избе. — Нет, в Питер ехать мне не придется. На заводе нужны здоровые люди, молодые, а я состарился, хвораю. Да, высосали здоровье и погнали к чертовой матери. А раньше ценили. Хвалили — золотые руки у Якима. И верно, любое дело не отбивалось. Мастера за руку здоровались. Без штрафов работал, щедрую копеечку зашибал. А теперь? До смерти в навозе ковыряться придется и подохнуть в нем, — высказывал вслух отец затаенные мысли. — А если бы как раньше-то, взял бы я тебя в Питер, определил в школу к хорошим людям. Выучился бы ты. А потом... — И не закончив, на полуслове обрывал речь и, безнадежно махнув рукой, замолкал.

— В Питере-то наблошнил бы у отца пьяничать, питерянцем бы стал и про мать родную позабыл бы, — не поднимая глаз от починаемой рубашки, замечала мать.

— Лучше походить на зимогора отца, чем на мать дуру, толку больше, — кривя губы в усмешке, резко отвечал отец.

**
*

Хмурый осенний день. За стеной гудит сильный, порывистый ветер. Надоедливо льется мелкий нескончае-

мый дождь. По стеклам ползут слезливые струйки. В маленькие оконца избы скупно пробивается хилый, серый свет. Я сижу дома. Выйти на улицу в лаптях — сыро, а другой обуви нет.

Поставив посредине избы две скамейки, я и Таня сооружаем шалаш, место игры.

Положив на скамейки все печное оборудование матери — ухваты, сковородник, помело, мы покрываем их сверху разным тряпьем и сами залезаем под них. Разложив на полу наши игрушки — подобранные на улице осколки разноцветных чашек и блюдец, баночки из-под мази, пуговицы, сосновые и еловые шишки, мы играем в «праздник». Мы ходим в гости друг к другу, угощаемся выпивкой, вкусными кушаньями — лапшой с грибами, кашей с маслом, сладким киселем.

Увлеченная игрой, Таня неосторожно подняла голову и сдвинула ухват. Возведенное с таким старанием сооружение обрушилось, прикрыв обоих ворохом тряпья.

Рассерженный, я выполз из-под развалин и, ударив кулаком Таню по спине, заругался:

— Смотри, что наделала, коза безхвостая!

Таня не любит, когда ее называют «козой» и залилась звонким ревом:

— Мама, Максимка дразнится!

— Чего ты опять девчонку обижаешь? — напустилась на меня мать. — Вот я тебе наподдаю сейчас.

Во избежание взбучки я подбежал к отцу и укрылся между его коленями, показав сестренке два растопыренных пальца над лбом.

— Что, озорь, боишься потасовки?

— Я, батя, ничего. Это она, коза, шалаш порушила.

Услышав «козу», Таня принялась кричать еще громче, размазывая по щекам слезы.

— Эх, чудак! — укорил меня отец. — И охота тебе связываться? Плюнь на плаксу и дело с концом.

Недолго думая, я подбежал к Тане, плюнул ей в лицо и опять прижался к отцу.

— Что ты, чертова голова? Очумел что ли? — озадаченно посмотрел отец на меня. Оттолкнув меня, он подошел к Тане, вытер ей ладонью лицо.

— Сам сказал — плюнь на нее, а потом ругаешься! — обиженно бурчу я, собираясь залезть на печку.

— Сказал, сказал, — передразнивает он меня. — Ведь

это так, к слову пришлось. Верно, заставь дурня богу молиться — он и лоб расшибет.

Упоминание о дурне мне определенно не нравится, и я принимаюсь потихоньку хныкать.

— Не хрюкай! Смотри, что я тебе принес,— и он достал из кармана штанов огрызок карандаша и лист помятой бумаги.— На, малюй!

Схватив карандаш и бумагу, я устроился за столом и во весь лист рисую несуразное чудище, похожее и на овцу и на собаку, с невероятно закрученными рогами и бородой, какая, наверное, не украшала ни одну козу с первых дней появления ее на свет божий.

Тане хочется увидеть, что я малюю. Она подошла ко мне и со стороны рассматривает рисунок.

Узнав по рогам неоднократно изображаемое мною животное, она снова принимается пронзительно реветь.

— Чего вы там опять не поделили? — спросил отец и, взглянув на мое художество, захохотал:— Ну и архаровец! Ничем его не проймешь. Характер у тебя, Максимка, еще упрямей, чем мой! — не то похвалил, не то осудил меня отец.

— И все этому постреленку с рук сходит,— укоризненно вставила мать.— Небось Егорку за такие штуки избил бы незнамо как...

— То Егорка, а то Максимка, сама знаешь!

...Рисование мое к добру не привело.

Накануне Покрова мать старательно, с песком, вымыла пол в избе и ушла полоскать белье на пруд. Отца еще утром зачем-то позвали к Мощею. Егор не пришел из школы.

Чистый, отливающий желтизной пол показался мне очень подходящим для воспроизведения на нем различных, таившихся в душе художника, чудесных картин. И я решил: если разукрасить пол рисунками, он будет еще лучше. Подумано-сделано: я достал из жаратка несколько жирных, мяпких углей и прилежно принялся расписывать пол.

«Смелыми» мазками рисовал я лес, зверей, стаи пролетных птиц. Работа шла успешно. Быстро вырастали остромакушечные ели, раскидистые сосны, коряжистые и стройные берёзы, частый, непролазный кустарник. Вот построена лесная сторожка, из трубы ее волнистой линией раскинулся дым.

Сестренка Таня лежит на полу около меня, рассматривает рисунки и надоедливо спрашивает:

— А это что, Максимка, а это что?

Многое хотелось еще изобразить художнику, но полет его творческой фантазии неожиданно оборвался: хлопнула дверь, и в избу вошел отец.

Я поднял к нему измазанное углями лицо и, гордясь своими произведениями, спросил:

— Батя, хорошо я нарисовал?

Расставив ноги и упершись руками в бока, отец рассматривал мои картины.

— Хорошо-то-хорошо, а только держись, дружок. Получишь ты от матери выволочку с потасовкой. И поделом! Нагадил ты здесь хуже и нельзя.

Я смотрю на отца не понимая, а за что же будет ругать или бить меня мать, ведь я так старался.

А отец, рассматривая размалеванный пол, вдруг расхохотался. Таким смеющимся я его еще никогда не видел. Смеялся его рот, смеялись, сузившись, блестя веселыми искорками, глаза, смеялся, раздуваясь, его широкий нос и, озорно вскидываясь, смеялась борода.

...С корзиной мокрого белья и вальком в руках порог переступила мать. Осторожно ступая, она прошла к залавку. Поставив корзину, она обернулась к нам и обомлела.

— Распроклятая твоя душа! Что ты наделал! Я полдня спины не разгибала, а он...— разгневанная мать бросилась ко мне.

— Подожди!— встал перед ней отец, широко расставив руки.— Битьем пола не вымоешь. Ты не сердись, а глянь-ка, чего он тебе натворил. Хвалить парня нужно, а ты— бить,— пытался он шуткой смягчить справедливое возмущение матери.

— Пусти!— порывалась она ко мне.— Я ему покажу, как пол пачкать. Пресвятая богородица! Сколько трудов я положила...

— Ладно, мать, не кипятись. Помоешь еще разок— и все в порядке будет. Уголь не краска, легко отмоется.

— Залил где-то винищем зенки-то и потекаешь ему. И в кого он, аспид такой, уродился?

— В кого уродился? В меня уродился!— хвастливо ответил отец.

— Сразу видно, что в тебя. С малых лет по отцовской дорожке идет. Вырастет пьяницей.

Задетый словами матери, отец, нервничая, теребил бородку.

— Кто пьян да умен, два угодя в нем.

— А что прибытку от твоих угодий? Живем хуже нищих. Пьяничал бы поменьше, не пришлось бы по миру ходить.

— Не твоего куриного ума дело меня учить. Жил не хуже тебя. Вспомни, как ты жила без меня и дружков приваживала.

— Нечего мне вспоминать! Добрые люди знают — моя жизнь у всех на виду, не таилась я. И перед богом и перед тобой не виновата.

— Разве бог до бабьих грехов доберется? До них и сам черт рогами не докопается.

Я глядел то на отца, то на мать, понимая, что они говорят не обо мне, а о чем-то другом.

— Обо мне кого хочешь спроси, — продолжала мать, — никто худого слова не промолвит. А как ты в Питере жил да путался — всему селу известно.

— Замолчи! — тихо, не проговорил, а выдохнул отец.

— А что мне молчать? Разве я не правду сказала? — и мать села на лавку, вытирая кончиком головного платка слезы. — Все ребята — как ребята, а этот, словно чирий в горле, дохнуть не дает.

— А ты хочешь, чтоб он тихоней, юбочником стал, как твой разлюбезный Егорка.

— Не попрекай меня Егоркой, не чужой он тебе.

— Ты одна знаешь — чужой он или нет! — злобясь, крикнул отец.

— Эх, Яким, Яким! И за что только ты меня тиранишь? — с горьким упреком прошептала мать.

— А-а-а! Я тираню тебя? — тоненько взвизгнул отец и, подскочив к матери, размахнулся и ударил ее по лицу. Схватив мать за волосы, он наносил ей удары, а затем, сбросив с лавки на пол, принялся бить носками сапог в спину, в грудь, в живот.

Мать, вскрикнув несколько раз, стонала и, поджав колени к груди, закрывала ладонями лицо, а локтями грудь. Между ее пальцами потекла кровь.

Увидев впервые такое избиение матери, я оцепенел.

Я не кричал, не плакал, а только широко раскрывал рот, пытаясь дышать, но воздуха не хватало. И, задыхаясь, я упал на пол, завизжал, забился головой, руками, ногами, всем телом.

...Утром отец сам вымыл пол. Безрадостно проходил праздник.

Мать, истопив печку и накормив всех, легла на постель. Мы все жались к разным углам, сумрачные, притихшие, не шли на улицу, откуда неслись звонкие песни и переливы захмелевших гармошек.

Отец угрюмо сосал трубку, выходил во двор, опять возвращался в избу.

Подойдя к постели и не глядя на мать, тихо проговорил:

— Ты не сердись, Наталья. Вижу сам — нескладно получилось. А все он, чертенок Максимка, виноват.

Мать поглядела на него заплывшими опухольями глазами и ничего не ответила.

За обедом отец ласково заговаривал с нами, даже не обижал Егора. А мы, тесней прижимаясь друг к другу, отодвигались от него.

С этого памятного дня я рисовал только на печной заслонке и сам чистил ее.

Рисунков отцу я больше не показывал.

ТАК ШЛА ЖИЗНЬ

Сидеть дома и играть с сестренкой Таней мне не хочется. Она никогда ничего занятного не придумает. Даже играя в ухоронки, прячется так, что ее сразу найдешь. И ябеда она: обо всем; что я ни сделаю, сразу же расскажет матери, да не просто расскажет, а еще и присочинит такое, чего я и не делал.

Я присел к окошку, пытаюсь разглядеть, что делается на улице. Но в маленькое, подернутое тонкой морозной росписью окно, плохо видно.

И куда запропастились все ребята? Почему никто не прибежал ко мне? Наверно, собрались в барском саду или на пруде.

Побродив по избе, я стал одеваться. Таня, часто мигая белыми ресницами, молча наблюдает за мной.

Незамеченным я хочу проскочить на улицу мимо матери. Она у раскрытой калитки треплет лён. Прижимаясь к стене, я наблюдаю за работой. Размеренно и плавно взмахивает мать трепалом. Под ударами из волокна летит пыль, сыплется перемятая костра и бургом растёт вокруг ее лаптей.

Лён в нашей округе — основная статья доходов каждой крестьянской семьи. Еще с весны, с посева льна, все живут надеждой: уродится лён — поправятся дела, можно будет рассчитаться с долгами, купить самое необходимое. Но на вымотанных, истощенных трехполкой, скудно удабриваемых полях лён родился плохой, короткий, рыжий. А случилось и так: исхлещут, сомнут, прибьют к земле голубые разливы цветущего льна, проползая над полями, грозовые тучи. И не отступит в тот год цепкая нужда от мозольного мужицкого сердца. Нечем будет уплатить налоги и подати, расплатиться с долгами. Негде будет взять денег на повседневные, неотложные нужды.

Не закружатся в такой год на поседках в ловких девичьих пальцах веретена, превращая старательно прочесанные кудели в бесконечные тонкие нити. Не встанут великим постом в избах кросна, не замелькает в основах юркий деревянный челнок, превращая паутинную пряжу в прочные холсты. Не расстелются на весенних росистых лугах длинные полотна новины.

Ныне лён уродился хороший. И теперь по всему селу, покончив с полевыми работами, завершают обработку поднятого со стлищ льна, подсушивают его в ригах, а затем, в порядке взаимной помощи, объединясь, две-три семьи, общими силами мнут тресту. Завершение обработки — трепка льна — женское дело. Мужики льна не треплют.

Радостно, точно не зная устали, треплет мать волокнистый, отливающий серебром лён.

— Ты чего тут? — увидев меня, прервала она работу. — Убирайся отсюда! Нечего зря пыль глотать...

Слова матери я принимаю за разрешение уйти из дома и выбегаю на улицу. Пасмурная стужа сразу проникла сквозь пониток и охватила все тело. Захотелось вернуться домой, но пересилив себя, я побежал искать ребят.

Скоро зима.

Плотным морозным инеем, будто снегом, пропорошена земля. Редкие, еще не сорванные ветром, листья на берёзах прозябли, почернели и сухо шелестели на обледенелых, ломких ветвях. Взвешенная колесами вязкая грязь на дорогах застыла, затвердела и превратилась в каменные гребни. Над избами нависло остое небо. На улице безлюдно. Лишь стайки торопливых воробьев, озабоченно попрыгав под окнами изб в поисках пищи, вспорхнув озябшими крылышками, надолго прячутся под застрехами крыш и на дворах.

Ребят на улице не видно. Я побежал в барский сад, они, наверное, там.

Засаженный стройными рядами яблонь, раскидистыми кустами смородины и крыжовника, с непролазными зарослями малины барский сад все лето привлекал к себе наши неутоленные, голодные желания. Но забраться в сад, огражденный высоким тесовым забором, трудно. Пугал нас сытый, озлобленный лай барских собак. И, в довершение всего,— сад охранял бессонный старик — сторож с дробовиком, заряженным крупной солью «бузуном».

И долго потом ежился, морщился, плакал, поглаживая спину тот, в чью спину впивались крупинки соли. Теперь, когда в саду нет ничего и в него можно пробраться по льду пруда, мы ходим в нем, почти не таясь.

— Максимка, иди сюда яблоки искать! — встретил меня Миша Казаков. — Где ты запропал?

Зорко осматриваем мы оголенные ветви деревьев, не притаилось ли где в укромном местечке яблоко. В надежде найти хоть падунец, мы ворошим ногами уплотненную дождями и холодом листву. Заиндевелые, отливающие снежной белизной листья, переворачиваясь, ложатся черными, коричневыми и ярко-зелеными пятнами на пожухлую, серую траву. Яркий перелив красок увлекает нас. Смеясь и толкая друг друга, перебегаем от дерева к дереву.

Вася Баташкин подскочил к стенке шалаша сторожа и с разбегу вскинул лаптем кучу листьев. В воздух взметнулась цветастая листва, а по земле покатилося что-то черное, круглое.

— Попалось!— завизжал Вася, хватая гнилое яблоко.

— Покажи, покажи!— подбежали мы к нему.

— Во, смотрите! С два кулака, большущее,— говорит Вася, вгрызаясь в мерзлое яблоко. Мы завистливо смотрим на Васю.

— Дай попробовать!— просит Ваня Монахов.

Откусывая маленькие кусочки, Вася дал каждому из нас попробовать яблока. Оно показалось нам вкусным, сладким-сладким.

Усиленно принялись мы обшаривать каждую кучку листвы, но ничего больше не нашли.

— Я не буду за зря искать,— махнув рукой, отошел в сторону Петя Башарин.

— Верно, тут все выискано,— согласился с ним Миша Казаков.— Айда, ребята, на пруд!

Обгоняя один другого, мы побежали из сада. Коньков у нас нет, и катаемся мы на подошвах лаптей и валенок.

Сцепившись рука за руку, Миша Казаков и я несемся по льду, выделывая ногами замысловатые, приводящие нас самих в восхищение фигуры. Не уступая нам первенства, пригнувшись, мчится Петя Башарин. Петя катается на деревянной колодке, сделанной ему отцом. На колодке закреплена железная полоска, напоминающая ребро конька. Петина колодка вызывает у нас нескрываемую зависть.

Старясь перещегольнуть всех, я разбежался, закрыл глаза и, присев на одной ноге, заскользил по льду. Неожиданно нога подвернулась, и я со всего размаху затылком шлепнулся на лёд. В голове зазвенело, перед глазами замелькали разноцветные круги. Потирая ушибленный затылок, я отполз в сторону и сел.

— Что, здорово швякнулся?— обступили меня ребята.

Скрывая от товарищей свое желание заголосить во все горло, я встал на колени и принялся рассматривать отраженные в зеркальном льду деревья сада, проплывающие облака, замутненные косыми лучами негреющего солнца. Вода подо льдом казалась густой и черной, а вмерзший желтый березовый листочек в нем мерцал слабым, тихим огоньком.

— Ты что тут смотришь?— наклонился ко мне Миша.

Я не хочу признаться, что сильно ушибся, и, хитря, подумав, сказал:

— Рыбу выглядываю.

— И я с тобой,— и он присел ко мне.

Увидев, что Миша и я сидим на одном месте, к нам присоединились и другие ребята.

— Вы что уселись?— громко спросил Вася Баташкин.

— Тише! — огрызнулся на него Миша.— Не ори, всю рыбу распугаешь.

— Какую рыбу?— недоумевая, спросил Ваня Монахов.

— Которая в пруде живет,— ответил я.

В пруде водится много крупных, жирных, золотистых карасей. В жаркие солнечные дни стаями плавали они около заросших густой осокой берегов. Вылавливать их помещица запрещала. Ловили карасей по ночам, тайком.

Застыв, не мигая, всматриваемся мы в непроницаемую темноту воды, надеясь увидеть карасей. Но вода черна. Лишь когда мы шевелимся, под нами похрустывает лед и из глубины, со дна пруда, подпрыгивают белые капельки маленьких пузырьков. От напряженного всматривания начинает рябить в глазах. Мне показалось, что промелькнула и мгновенно пропала рыбка. Долго смотрю, но ничего не вижу. Я зябну, но терпеливо сижу, отогревая дыханием руки.

— За зря сидим,— поднялся Петя Башарин.— Вся рыба на дне, в тину зарылась, спит.

— Как же, спит!— фыркает на него Ваня Монахов.— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Бате Павел Васильевич сказывал. Я сам слышал.

— Рыба, рыба!— закричал Миша Казаков.— Ей богу, рыба! Вот такая прощмыгнула!— и он размахнул руками.

И снова, почти касаясь носами льда, всматриваемся напряженно в застывшую водную мглу. Подо льдом, отражаясь в глубокой воде, шевелились, качались, переплетаясь, оголенные ветки прибрежных деревьев.

— Надоело. Пошли «подушку» мять,— зовет нас непоседливый Ваня Монахов.

— Айда!

Сцепившись руками, мы побежали к середине пруда. Тонкий лёд пружинисто прогибается под ногами. По озаренной солнцем ледяной поверхности разбегаются замысловатые, извилистые линии белых надломов. И чем больше обозначается таких линий, тем лучше мнется «подушка».

Приходящие за водой на пруд женщины не ценят нашего удалства и обеспокоенно предупреждают:

— Утонете, пострелята! Сейчас пойду матери скажу!

Но предупреждения и угрозы не действуют. Чувство опасности нам еще чуждо, а взбучка — дело обычное, к ней не привыкать. Получишь порцию «берёзовой каши» — похнычешь от злости и обиды и забудешь о ней.

Несколько раз мы пробежали от берега к берегу. С каждым разом «подушка» мнется лучше и лучше.

— Я не стану бегать, — отошел в сторону круглолицый увалень Петя Башарин. — Лёд-то зыблется, словно живой, еще провалится.

— Э, струсил, струсил! — задразнил его чернобровый, подвижной Ваня Монахов и, приплясывая, запел:

Труса, труса, трусота,
Словно кошка без хвоста...

— Ну и дразнись! — обиделся Петя. — Я с тобой водиться не буду.

— Ребята, побежали! — Ваня схватил за руку Мишу и потащил всех за собой. Ваня и я бежали по краям, а в середине Миша и Вася. Гулко, с пристуком, шлепали по льду промерзшие лапти. Ощутимо прогибался, потрескивал лёд, но это не пугало, а подзадоривало нас. Мы бежали и смеялись пели:

Мнись, подушка, мнись, подушка,
Будут крепче спать лягушки,
Будут дрыхнуть ночь и день,
Если дрыхнуть им не лень.

У меня опять зашумело в голове, и я бежал медленней товарищей.

— Максимка, не отставай! — крикнул мне Ваня.

И вдруг лёд под ногами не выровнялся, прогнулся, протяжно захрустел, провалился. Из образовавшейся полыньи шумно всплеснулась высокими струями светлая вода.

Не соображая, что случилось, я выпустил руку Васи, упал на лёд и покатился от полыньи к берегу.

— Ай!— звонко завизжал Ваня, отскакивая на крепкий лёд.

Вася и Миша трепыхались в полынье. Окунувшись с головой, они вынырнули и, цепляясь за кромки льда, пытались вылезти из воды. Измятый, испещренный трещинами лёд не держал, крошился.

Выбежав на берег я принялся кричать:

— Тонут! Тонут!

Кто-то проскочил мимо меня. Послышался плеск воды. Человек окунулся в полынью. Схватив Васю, он сильно швырнул его на неизмятый лёд, а затем, волоча за шиворот Мишу, и сам хотел выбраться из пруда.

В воде стоял мой отец.

— Держись, Яким Иваныч, держись!— на выручку к отцу торопились мужики с длинной, толстой жердью.

— Берите вперед этого огольца!— и отец подsunул им Мишу.

Вслед за Мишей из полыньи вытянули и отца.

Когда мы мяли «подушку», отец стоял недалеко от пруда, разговаривая с мужиками. Услышав крики и увидев барахтавшихся в воде ребят, он, на ходу скинув тужурку, бросился в полынью.

...Дома отец снял с себя мокрую одежду и белье, забрался на горячую печь и укутался ватным одеялом.

Встревоженная мать, охая, бродила по избе:

— Ведь вон что наделали, анчутки окаянные! Заставили мужика в студеную воду нырять. Долго ли так до беды. Сам мог подо льдом остаться.

— Ну, ты наговоришь с перепугу-то... Там совсем и неглубоко...

— Яким, может винца достать? От простуды-то оно шибко помогает, кровь горячит.

— Не надо, не хочу.

— Тогда я малинки сушеной заварю. Пропотеешь с нее, может и не простудишься.

— Иди ты к лешему со своей малинкой!— рассердился отец.— Пристала точно репей к собачьему хвосту, подремать не даешь. Максимка, забирайся на печку, греться вместе будем.

— Трепку надо бы дать шалапутному, а ты его при-вечаешь.

— Не за что давать трепку. В его годы я сам не раз в пруде купался. Здоровей расти будет. Верно, Максика?

**

Сразу выпало много снега. Он лег мягкий и рыхлый, еще не уплотненный оттепелями и вихревыми ветрами, не сглаженный колючими, дымными ночными метелями. Укутались пухлыми снежными кудельками оледенелые ветки берёз и ветел. Ухабистая, в рытвинах и колдобинах, дорога стала ровной и сквозь село ушла вдаль, сливаясь с неоглядными просторами застывших в безжизненном покое полей. Установилась тихая, равнодушная зима. Обезлюдела улица. Редко, с неотложными нуждами, проминая в чистом снегу от крыльца к крыльцу узкие тропки, выскочит к соседке соседка и, забыв о деле, заговорится надолго о накипевшем на сердце и о житейских мелочах.

Буднично проходят зимние короткие дни в повседневных неспешных заботах и неотвязных раздумьях о завтрашнем дне. Не сулят ничего утешного эти медленные раздумья.

Крепче запретов родителей держали ребят в избах холода. Хочется на улицу, а одежды и обуви нет.

**

— Ребята, ребята, вставайте!— тормошила нас мать.— Пожар! Горит изба тетки Василисы.

Слова матери пугают своим страшным содержанием, сразу отгоняя сон.

Коля, Егор и я быстро спрыгиваем с полатей.

Бам! Бам! Бам! Частым тревожным сполохом гудит самый большой колокол, сотрясая стены избы. Ночь. В избе полумрак. В переднем углу еле-еле мерцает затепленная лампадка, от ее фитилька к потолку тянется ленточка жирной дрожащей копоти.

— Одевайтесь живее!— торопит нас мать.— Может, все таскать из избы придется.— Достав из печки еще сырые лапти и онучи, она швыряет их нам.— Ой, господи, горе-то какое... Бедная Василиса... Только бы пожар не разгулялся...

А набатный звон гудит, гудит, не смолкая.

Встав на ступеньку голбца, мать принялась сбрасывать на пол с печки, полатей подушки, одеяла, одежду.

— Мама, а батя где?— спросил я мать.

— Давно там, на пожаре.

Я выскочил на улицу и остановился, охваченный страхом: на другой стороне улицы, наискосок от нас, горела изба Васи Баташкина. Буйно пылала соломенная крыша. Языки пламени, будто выплескиваемые невидимыми руками из-под застрех, расстилались ярко-желтыми полотнами по серым щелястым бревнам. Казалось, на огромном костре плавилась, отступая все дальше и дальше от избы, сгущенная огнем ночная темнота.

Со всех концов села бежали полуодетые Мужчины, женщины, ребята. Все, от мала до велика, боятся пожара, самого непоправимого бедствия в крестьянской жизни. Пожар — и вдруг всё, чем жили люди,— их кров, одежда, скудные запасы пищи, предметы немудрящего житейского обихода — всё что нужно и всё, что отжило, отслужило свой век и годами пылилось на чердаках (авось, еще сгодится!), в одночасье сжирал огонь. И когда яростное пламя раскидывало искры и гальки, то казалось — к багровому небу горячий вихрь вздымает и несет в гальках лохмотья застарелой бедности, а искрами вспыхивают обильные женские и нелюдимые слезы мужиков.

Расталкивая головой людей, я протискался сквозь плотную толпу поближе к горящей избе. И отпрянул: непереносимая жара охватила меня. Вся изба и крыша двора охвачены огнем. Впереди, то подбегая к горящей избе, то отскакивая назад, с топорами и лопатами в руках, метались мужики, и среди них мой отец, дядя Егор Чирков и Мишуха Шибала.

— Машину, машину сюда! — кричал отец парням, тащившим на дровнях пожарную машину. — Разматывай рукава, тяни к проруби!

— Рукавов до проруби не хватает! — слышится издали.

— Э, черт! И тут не слава богу! — сердито плюнул дядя Егор. — Ребята, подвозите воду бочками!

— Ведрами надо, ведрами пока заливать, — советует дедушка Тихон.

— Ведрами? Сейчас ведрами плескать — все равно, что плевками, — отмахнулся отец. — Мишуха, а ну с парнями живо на эту и на ту крышу, — показывает он на крыши домов по обе стороны горящей избы. — Смотрите в оба, чтобы гальки туда не залетели, а то пожар прибавит еще горя-горького.

С крыш торопливыми струйками льется тающий от жары снег. Просыхая, дымится солома, парни ловко, по углам, взобрались на крыши.

Из распахнутых настежь ворот, словно вытолкнутый упругим клубом серо-желтого дыма, выскочил Андрей Логинов, волоча корзину с рухлядью. Оттащив корзину в сторону, он опять хотел бежать во двор.

— Куда, чумовой! — схватил его за рукав Егор Чирков. — Живым сгореть хочешь? Не видишь, крыша вот — вот рухнет.

Андрей остановился. Захватив полную пригоршню почернелого снега, он принялся жадно глотать его.

Дядя Егор и отец руководили тушением пожара. Я любовался отцом. Я впервые увидел его таким ловким, собранным, быстрым. Он перебегал с места на место, указывал, распоряжался. Мне нравилось, что все его указания выполняются. Я радовался и гордился им, не чувствуя вначале охватившей меня и не проходившей дрожи.

Мне было жарко, но я дрожал, словно меня пронизывал студеный ветер. А набатный звон, то затихая, словно в передышке, то будто набрав новой силы, гудел, гудел, гудел над селом и уносился дымом и снопами искр в настороженные поля и там расплывался, таял в снежном, непроглядном предутрии.

— За неотмоленные прегрешения разгневался господь на нас, нераскаявшихся грешников, и покарал своей немилостью, — размашисто крестясь, проговорил дедушка Тихон.

— Не дело городишь, дедушка Тихон, — сердито обрывал его дядя Егор. — Скажи, за какие грехи покарал господь тетку Василису? Один грех у бабы — всю жизнь, зимой и летом, в праздники и в будни, с утра и до поздней ночи, в тяжелой работе да в слезной нищете спину гнет, а досыта, поди, и в пасху не наедалась. Взгляни, вон она, грешница-то! У несчастной бабы горе

в сердце камнем скипелось. И при такой беде не плачет, раньше все слезы выплакала...

В огороде, на опрокинутой изгороди, в старой кацавейке, в лаптях на босу ногу, около вытасченного из избы скарба сидела тетка Василиса. Из-под платка выбились растрепанные космы седых волос. Тупая безнадежность застыла на преждевременно постаревшем темном лице. Прижимаясь к ней, стояли ее дети — Вася и Аниська.

Бессильные в борьбе с огнем, мужики суетились, озабоченно перекидываясь короткими обрывками фраз.

— Ничего не поделаешь! — махнул безнадежно рукой дядя Егор. — Пусть догорает... Хорошо, что ветер не по селу, а на огороды дует.

— А, вот ты где! — ткнул меня кулаком в бок Миша Казаков. — Я прибежал сюда раньше всех ребят, — похвастался он. — Вместе с дядей Егором, сразу как в сполох ударили...

— Ну и врешь. Когда я прибежал, тебя здесь и не виделось, — возразил ему Ваня Монахов.

— Нет, был. А ты видел, как дядя Яким из избы всё вытаскивал?

— Видел. Он прямо в огонь лазал.

— Пойдемте к Ваське, — предложил Ваня Монахов.

Мы подошли к Васе и остановились. Вася взглянул на нас и еще крепче прижался к матери. На его щеках, измазанных копотью, четко виднелись светлые полосы, промытые слезами. Мы стояли и молча смотрели на Васю.

— А где ты теперь будешь жить, Васька? — спросил его Ваня Монахов. — Ваша изба-то сгорела?

Я тронул Васю за руку и сказал:

— Ты, Вася, приходи к нам греться. Печка у нас горячая-горячая. И батя не будет ругаться...

Вдруг послышался глухой треск. Столб огня, охваченный багрово-черным дымом, взметнулся к нависшему над пожарищем небу и, подхваченный порывом ветра, распластался, рассыпался, далеко разбрасывая крутящиеся искры и гальку. Это рухнул прогоревший потолок избы.

— Мужики, ребята, за багры! — закричал отец. — Раскатывай бревна!

Человек десять подтащили длинный пожарный багор

и, вскинув его, зацепились за верхние, точно облитые солнцем, горящие бревна.

— А ну, разом, взяли!— командовал отец.

Все дружно рванули багор. Рывок, еще рывок, но бревно, за много лет приросшее к другим, не сдвинулось с места.

— Дайте-ка я вам подмогну!— к багорщикам подошел измазанный сажей, высокий, широкоплечий Иван Башарин.

Скромный работяга, он обладал поистине богатырской силой. Случалось, в непролазной грязи увязали его нагруженные сеном или снопами дроги. Видя, что лошадь выбивается из сил, но вытянуть воз не может, он сам хватался за оглоблю и, понукая лошадь, выволакивал его на сухое место. Он один из немногих мужиков села почти не пил водки и не ругался матерной бранью. Каждое дело спорилось в его жилистых руках.

Иван умел плотничать, сложить печь, прочно и красиво покрыть соломой крышу, шил сбруи, вязал хомуты, мастерил и в кузнице. За ним посылали из имения помещицы чинить, налаживать сеялки, косилки, жнейки, молотилки.

— Умные руки у Ивана и на плечах не горшок с мякиной, а башка мозговитая,— говорили в селе.

Никому из односельчан Иван не отказывал в помощи. А когда ему предлагали плату, он отмахивался: «Ладно, в другой раз». И уходил, не взяв ничего.

Подойдя к багорщикам, Иван поправил на голове шапку-ушанку, вцепился в багор, широко расставил ноги и всем корпусом откинулся назад. Лицо его покраснело от напряжения, надвинулись на глаза темные с проседью брови. Бревно чуть-чуть качнулось, но не сдвинулось из пазов.

Вместе со всеми Иван рванул багор еще и еще. Стенка качнулась, посыпались искры, и сорванное бревно вздыбилось одним концом, упало и покатилося по измятому, грязному снегу.

— Тушите снегом!— буркнул в сторону Иван, забрасывая опять багор на стену.

И скоро там, где стояла изба тетки Василисы, валялись разметанные, обгорелые бревна и виднелась печь с прокопченным боровом. От пожарища через огороды

и усадьбу в поле обозначенная искрами и пучками гальки тянулась прямая черно-серая полоса.

Светало... Хмурые, усталые расходились по домам люди.

Отец подошел к тетке Василисе, сбиравшей в кучку пожитки.

— Пойдем, тетя Василиса, к нам. Не замерзать же здесь...

Взяв на руки Аниську, отец, пошатываясь, пошел домой.

НА ДВОРЕ ПОЯВИЛАСЬ ПЕГАШКА

Сумерничая, в благодушном настроении, отец рассуждал:

— Да, без лошаденки жизнь не устроишь, в люди не выбьешься. Нужно, хоть какую, а свою клячугу заводить. Как ты, мать, кумекаешь?

— И кумекать тут нечего. Своя лошадь — спасение. Каждое лето за обработку сколько денег бухаем, а почитай за зря. Наемщики полоски наши не по совести, а наспех кой-как ковыряют. Вот все плохо и родится. Им только денежки за работу подавай. А где деньжонок на покупку лошадки наскребем?

— Продам свою «тройку», сапоги смазные, они почти новые, мало надеванные. С овечками расстанемся. Рублей десяток под займу. Вот и наберется, пожалуй. Когда лучше покупать-то теперь, али весной?

— Осенью можно купить подешевле. По нужде продают, с зимнего корма долой.

— А у нас хватит кормов продержат зиму лошадь и корову?

— Вроде должно бы хватить, — и, подумав, утвердительно мать сказала: — Хватит, прокормим.

— Значит, так и порешим. Скоро Казанская ярмарка в Тесове. Пойду и отхвачу там себе помощницу, — улыбнулся довольный отец, взъерошивая мне волосы.

— На ярмарку-то, Яким, один не ходи. Обжулят тебя там барышники. Подсуропят лошадь с зарокон, наплачешься с ней. Позови Егора Чиркова, он дельное посоветует.

— Глаза-то у меня не на затылке. Увижу, что буду покупать.

— И с глазами людей между пальцами обводят. А Егора не надуют, он в лошадях толк понимает.

...Все мы живем радостным ожиданием появления на дворе лошади, гадая, какая она будет.

На дворе, там, где будет стоять лошадь, Егор старательно проконопатил мхом все щели между бревнами и вставил в маленькое окошечко осколок стекла.

— А зачем ты это делаешь? — спросил я его.

— Зимой в щели снег наметает и лошади будет холодно, — пояснил он. — А так-то теплей.

В канун Казанской отец договорился с Егором Чирковым съездить на его лошади на ярмарку. Боясь пропустить его отъезд, я проснулся рано и следил за каждым шагом отца.

— Яким, а деньги-то надежно ли припрятал? — беспокоилась мать. — Смотри, не оброни, али не вытащили бы. Без всего останемся.

— Отстань, маленький я, что ли! Деньги вот здесь, в кисете, на шее, — и он хлопнул себя ладонью по груди.

— Батя, ты приведешь лошадку? — спрашиваю я.

— Приведу. Самую наилучшую выберу, на четырех ногах, с рогами и лаять будет.

Я в недоумении смотрю на отца и, поняв, что он смеется надо мной, обиженно возражаю:

— Таких лошадей не бывает.

— Мало ты знаешь. Цыгане и рогатых лошадей продают.

Помолчав, я неожиданно для себя, прошу отца:

— Батя, возьми и меня на ярмарку!

— А зачем я тебя туда повезу? Продавать — такое добро не купят, — улыбнулся отец.

— Сквородником тебя, а не на ярмарку! — вмешалась мать.

— Батя, возьми, — точно не слыша слов матери, прошу я. — Я еще никогда не бывал на ярмарке.

— А что? — подумав, улыбнулся отец. — Поедем, собирайся живей!

Обрадованный я быстро надел кафтан, подпоясался веревкой, упрятал голову в шапку. Брат Егор с завистью смотрел на меня.

— И зачем ты надумал тащить его с собой, — серд-

лась мать.— Замерзнет дорогой. Путь-то неблизкий, почти пятнадцать верст...

— Такой молодец не замерзнет. Не замерзнешь, Максимка?

— Если зазябну, я рядом с лошадыю побегу и живо нагрееусь. В избу вошел дядя Егор и, поздоровавшись, обратился к отцу:

— Ну, как, Яким Иваныч, двигаемсся?

— Отправились.

Мать, проводив взглядом отца, схватила дядю Егора за рукав и встревоженно зашептала:

— Егор, батюшка, пригляни за моим-то... Не напилсся бы... Напьетсся — всё прахом пойдет. Вся надежда рушитсся...

— Не тревожьсся, тетя Наталья!— успокоил он мать.— Со мной не напьетсся. Все ладно будет.

— Максимка, иди сюда!— позвал меня отец и, усадив в передок телеги, стал заботливо обкладывать со всех сторон сеном.

— Подожди-ка, Яким,— подбежала к телеге мать.— Вот заверни его,— и она подала отцу ватное одеяло.

— Э, так еще лучше. В одеяле он словно на печке поедет.— Завернув меня в одеяло, он сел рядом со мной.

— Поехали!— вскочил в телегу дядя Егор и легонько хлестнул вожжами лошадыю.

— Дай вам бог с удачей вернуться!— напутствовала нас мать.

Взмахнув густым хвостом и игриво покрутив головой, бойко побежала сытая лошадыю, часто застучали колеса по мерзлым колдобинам дороги, вспугивая дымки холодной пыли. Мимо нас, мигая редкими огоньками окон, двинулись запележенные избы. В предутренних редующих сумерках поздней осени просыпалось село. Над крышами клубами вздымалсся дым и сливалсся с низким серым небом. Подувал бодрый ветерок и, казалсся, гасил редкие тусклые звезды. В воздухе кружились мохнатые, крупные снежинки. Дорога уходила в унылое, безлюдное поле.

...Оставив лошадыю у знакомых, мы пошли на торговую площадь. На ярмарке всё для меня необычно. Площадь переполнена народом. Мужчины и женщины, молодые, старики, дети движутсся в разные стороны, толкаясь, идут куда-то, застывают на месте. Крики, пья-

ные песни, визгливое пиликание гармошек сливаются в однотонный неумолкаемый гомон. Боясь затеряться в толпе, я вцепился в руку отца и не только глазами, но и раскрытым ртом впитываю впечатления.

Побродив по площади, мы пошли в конский ряд.

Лошади самых различных мастей — черные, рыжие, белые, пегие, серые, карие, гнедые, выпряженные и привязанные к телегам — ожидали покупателей. Лениво, нехотя пережевывали сено стертymi зубами безгодные клячи, отслужившие хозяину срок; залиристо, звонко ржали, перекликаясь между собой, стригунки; в степенной важности стояли лошади-работяги, готовые тянуть еще десяток лет трудовой крестьянской жизни. Около лошадей стояли неразговорчивые мужики.

— Продаешь? — спрашивал дядя Егор, высмотрев подходящую лошадь.

— Продаю, — отрывисто, хмуро отвечал хозяин.

— А цена какая?

Услышав доступную цену, он внимательно осматривал лошадь, проверял глаза, раскрывал рот, шарил пальцами по зубам, поднимал одну за другой ноги, щелкал по копытам пальцем, отыскивая в лошади изъяны.

А когда хозяин лошади пытался оспорить его замечания, дядя Егор укоризненно глядел ему в лицо и стыдил:

— Кого, братец мой, обмануть хочешь? Такую же бедноту, как ты сам. Негоже это, негоже. Ты от нужды продаешь — он по бедности покупает. Так-то вот...

Смущенный мужик замолкал.

С некоторыми лошадьми дядя Егор бегал по конскому ряду, чутко прислушиваясь к их бегу и дыханию.

— Запоена у тебя лошадка-то, мил-человек. Селезенка булькает в ней, будто собака лает...

Отец не вмешивался в разговоры дяди Егора, молча ходил за ним.

Пересмотрев десятка два лошадей, к вечеру дядя Егор облюбывал пегую кобылу. Продавал ее морщинистый, с взлохмаченной седенькой бородашкой, хромо́й мужик в поношенном армяке.

— Не Пегашку, — жизнь свою продаю, — жаловался он. — Летом градом весь хлеб взмеси́ло и семян не собрал. Картошка уродилась плохая. А пузастых ртов

семь душ... Жена хвора... Продаю Пегашку — петлю себе на шею надеваю...

Осмотрев лошадь, дядя Егор сказал отцу:

— Эта лошадь, Яким Иваныч, по нашим деньгам, подходящая.

Сторговавшись, отец отдал мужику деньги, а тот через полу своего армяка передал ему повод.

— Ну, Пегашка, послужи на счастье бедному человеку. Служи ему, как мне служила, — и погладив шею лошади, опустив голову, пошел прочь.

Вернулись домой мы вечером.

— Приехали! — радостно встретила нас мать, с опаской поглядывая на отца. — Максимка, беги скорей в избу. Поди простыл до косточки.

— Нет, мама ничего... — ответил я, не попадая зубом на зуб.

— Вот видишь, тетя Наталья, — подмигнул с хитрой матерью дядя Егор, — и лошадку купили и сами в исправности.

— Ой, спасибо тебе, Егор Дмитрич, спасибо. Вовек жизни не забуду. Пойдемте в избу. Я давно самовар поставила. Погреемся, закусите.

— Что нам самовар? — перебил отец мать. — У нас есть водичка потеплей кипяточка и, отвязав лошадь от телеги, он повел ее на двор.

В избе, дожидаясь возвращения отца с ярмарки, сидел его племянник Михайло Шибала, молодой, умный мужик. Исключительной памятью Шибала удивлял всю сельскую интеллигенцию — помещицу, учителя, священника. Услышанное или вычитанное из случайно попавшей в его руки газеты он уже не забывал. Давние события в его красочном пересказе вставляли с такой яркостью и такими подробностями, словно происходили они не десять, двадцать лет тому назад, а только вчера.

Любил Шибала говорить в глаза и за глаза неприкрашенную правду. И многие в селе не любили его за прямоту и смелость.

Заядлый любитель выпить, он будто особым чутьем унюхивал и всегда вовремя оказывался там, где пахло водкой, где можно было надеяться на то, что и на его долю перепадет рюмочка.

Из среды других мужиков выделялся Шибала не только памятью и умом, но и мастерским умением ру-

гаться. Самая забористая ругань без останова сыпалась с его языка. В селе шутили: даже лошади затыкают уши хвостами, чтобы не слышать, как «божится» Шибала.

...Мать поставила на стол кипящий самовар, чашки, блюда с огурцами и белой капустой, положила целую ковригу хлеба.

— Егор Дмитрич, отец, садитесь, закусите, погрейтесь чайком.

— Верно, погреться не мешает,— улыбнулся отец, ставя на стол бутылку с водкой,— Мишуха, придвигайся,— позвал он Шибалу.— Мать, а ты что же? Давай, давай за стол. Сегодня у нас настоящий четырехногий праздник. Начнем на Пегашке нужду со двора выпроваживать.

Чокнувшись со всеми, он выпил водку.

Мать взяла чашку с водкой, сделала один глоток и поставила ее обратно на стол.

— Э, нет, так не годится! За Пегашку, мать, пей до дна.

Морщась, мать выпила всю водку и опрокинула чашку вверх дном.

— Спасибо тебе, Егор Дмитрич, за советы и помощь! — отец встал и поклонился дяде Егору.— Всамделишный ты человек, не обманной.

Дядя Егор искоса взглянул на мать и, не отвечая отцу, весело улыбнулся.

Отец разлил остатки водки в три чашки и когда все выпили, с сожалением посмотрел на пустую бутылку:

— Маловато, добавить бы надо, а?

— Хватит, хватит. Хорошего понемногу,— и дядя Егор взял пустую бутылку и отставил ее на окно.— Налей-ка чайку, тетя Наталья.

— Примусь я теперь, Егор Дмитрич, выправлять свою Пегашку,— обратился к нему довольный отец.— К весне будет она у меня взлягивать, словно молодая.

— Лошадь корма стоит и уход за ней оправдывает,— согласился дядя Егор.

— А сможешь ты лошадь-то уходить? — спросил захмелевший Шибала.

— Это почему же не смогу?

— Отвык ты от мужичьей работы.

— У тебя уменя в долг просить не буду, своим обойдусь,— ответил, сердясь, отец.

— И чего вы зазя вздорите? — пытался сгладить начавшуюся размолвку дядя Егор.— Хитрость-то не велика — корми лошадь хорошим сеном да побольше в торбу овсеца подсыпай, она сама силы наберет.

— Нет, Егор, лошадь дело не простое. Она не только корма, а обхождения требует,— не унимался Шибала.

— Значит, по-твоему, ей в ноги кланяться?

— Нет, беречь надо, а не мытарить так, как ты мытаришь тегю.

Отец молча уставился на Шибалу, а потом резко встал, схватил его за руку и потащил из-за стола:

— Вон из моего дома! Мое добро жрешь и меня же коришь? Вон, чтобы и духом твоим здесь не пахло! — и он вытолкнул Шибалу за дверь.

**

На другой день, едва рассвело, всей семьей мы вышли на двор поглядеть на Пегашку. Задумчиво пережевывала она в торбе овес, довольно помахивая жиденьким хвостом.

— Мать, ребята, глядите как хрупает Пегашка,— улыбался отец.

Приходили на двор и соседи. Те, кто имел лошадей, радовались за отца, хвалили Пегашку, находя в ней разные достоинства.

— Пяток лет, а то и больше прослужит она тебе,— говорил сосед Михайло Монахов.— Лошадь справная, может, жеребая. Тогда, глядишь, весной и сосунок объявится. Прибыток в хозяйстве, молодую лошадку, Якимушка, выпестуешь.

Безлошадные соседи, посмотрев на Пегашку завистливо, уходили, ничего не сказав.

Довольный отец ходил вокруг лошади, гладил ей бока, расправлял гриву, встряхивал в яслях сено, набросал свежей соломы в подстилку.

— Да, вот у нас лошадка... Поправим ее, ладная помощница будет. Вывезем на ней нужду с двора вместе с навозом.

— Батя, а нас ты покатаешь на Пегашке?

— Покатаю, Максимушка, покатаю. В прощенное

воскресенье на санках с бубенками прокачу так, что всех завидки возьмут.

— Подожди бахвалиться-то! — охладила его мать. — Нужно, чтобы лошадь ко двору пришлась и ночной хозяин принял ее и заботился.

— Придумывай, что знаешь. В таких делах я не мастак.

Я подошел к Пегашке и палочкой, которую держал в руке, стал водить по ее ребрам, резко выступавшим из разлохмаченной шерсти. Я ожидал, что палочка запрыгает, застучит, будто по кольям изгороди. Палочка прыгала, но звуки получались неясные, глухие. Беспокойно переступала лошадь с ноги на ногу, недовольно махала хвостом, словно отгоняла назойливых оводов.

Отец, не понимая сначала, чего я хочу, смотрел спокойно на занятие, а потом, догадавшись, рассердился.

— Уходи, пащенок, отсюда! — и вытолкнул меня из хлева.

... Вечером, перед сном, мать зажгла фонарь, налила в чашку «священной» воды, отрезала толстый ломоть хлеба и обильно посыпала солью.

— Егорка, пойдем со мной! — позвала она брата.

Мне хотелось видеть, что будет делать мать, и я вслед за ними вышел во двор.

— Залезь-ка туда, Егорушка, — и мать указала на перевод, над яслями лошади.

По перекладинам хлева Егор вскарабкался на перевод.

— Вот поставь-ка там, — мать подала ему чашку с водой и ломоть хлеба.

Егор поставил чашку на перевод и прикрыл ее ломтем хлеба.

Увидев, что Егор сделал все, как нужно, мать повернулась лицом в угол, перекрестилась три раза и, поклонясь до земли, скороговоркой запричитала:

Батюшка домовой,
Батюшка дворовой,
Далеко ты или близко,
Кланяюсь тебе низко, низко.
Прими ты, батюшка, в свою приглядку
Приведенную на двор лошадку.
Береги ты ее и холь,

Отгоняй от нее недужную боль.
На доброе здравие, в угождение,
Прими Пегашкино угощение.

Так причитала мать и кланялась во все четыре угла двора, а затем достала из кармана горсть овса и разбросала его по двору:

— Это тоже тебе, батюшка-хозяин!

Подойдя к воротам, она углем начертила на нем три больших креста.

...Назавтра, когда мне очень захотелось поесть, я взобрался на перевод, выплеснул святую воду на Пегашку, а промерзлый хлеб съел.

Через несколько дней мать заставила Егора опять залезть на перевод и посмотреть, что стало с ее угощением.

— Мама, хлеба ни крошечки нет и в чашке сухо,— сообщил он.

— Слава тебе, господи! — перекрестилась мать.— Теперь все ладно будет, хозяин принял угощение.

А я стоял рядом с матерью и сердился на себя — зачем я съел хлеб и выплеснул воду. Я хотел сказать ей о своей проделке, но побоялся.

ЕГОРКА, ТЕБЕ БОЛЬНО?

Маленькая керосиновая лампа, подвешенная на ржавой проволоке к потолку, скупо освещает только передний угол избы тоскливым, серым полумраком, положив на середину стола черный круг тени. Пазы в углах избы промерзли и блестят пушистым налетом искристого снега. Окна, заложенные мхом, оттаяли и торчат в стенах слезящимися дырами. Из подполья, в щели между половицами, несет затхлой стужей.

— От несусветной жары в нашей избе,— невесело шутил отец,— мужицкое счастье — тараканы вспотели и убежали к соседям прохладиться.

Застыл, будто не движется, медленный зимний вечер. Задумчиво посасывая трубочку, ходит отец по избе. Вот он подошел к двери, поплотней притворил ее, постоял прислушиваясь, вернулся к столу, остановился, постукивая по его доскам.

Матери нет дома. Зимой она два раза в неделю ходит на станцию за письмами и газетами помещице. До станции пятнадцать верст. За каждое хождение помещица платит по десять копеек, а в непогожие дни пятиалтынный.

— Ишь, раздобрилась, косою черт! — ругался отец. — Отваливает по грошу с версты без стыда и совести. Плюнь ты, мать, на ее деньги, не сдохнем и без ее щедрости.

— Легко сказать — плюнь, — возражала мать. А на что соли, али керосина купишь? А тут гривенничек, ой, как пригодится. Опять же, кажинный раз в людской на дорогу полковриги хлеба дают. А сбегать мне нетрудно, я на ногу легкая...

— Ну, бегай, если тебе нравится, — отступался отец. — Тебя не переупрямишь.

И сегодня, истопив печку, мать ушла на станцию. Она обычно успевала сбегать на почту и вернуться домой за светом. А вот нынче уже давно настал вечер, а ее все нет и нет.

На улице морозно. За стенами надсадно воев вьюжный ветер, свистит в печной трубе, постукивает вьюшками.

— Где-то запропала наша мать, — с явным беспокойством, вслух, думает отец. — Не случилось ли что? — Он надел шапку, накрутил на шею шарф.

— Батя, а в Питере холодно бывает?

— Бывает, Максимка, да еще как! Особенно, когда ветер с моря дует. Торопишься, бывало, ночью на завод, мороз лицо крепче стальной щетки шабрит. Того и гляди обморозишься. Хорошо, что городовые на площадях костры жгли. Подбежишь — погреешься...

— Батя, а где теплей — на печке или в печке?

— А, что ты сказал?

— Говорю, где теплей — в печке или на печке?

— А почему это взбрело тебе в голову?

— Вчерась утром забежали мы в избу к Андрею Лукьянову. Смотрим, их никого не видать. Хотели уходить, а потом слышим — кричат: — Кто там? — и за слонка на пол грохнулась. Подошли мы к печке, заглянули в нее, они все там на соломе, под одеялом лежат. Петька Лукьянов сказывал, когда в избе студено, они там ночуют. Залезут в печку и очелок заслонкой закроют...

— Не знаю, где теплей. На печке спал, а в печке не доводилось... Вот запоминай, сынок, какова жизнь-то... За гривенник на тот свет отправят.

— А кого отправят, батя?

— Эх ты, несмышлёныш! Ничего-то еще ты не понимаешь... — и отстранив меня, не снимая шапки с головы, он заходил молча по избе. — А метель не унимается, проклятушая! — шепчет отец, прислушиваясь к завыванию ветра на улице.

...Стукнула калитка, распахнулась дверь, и в избу вошла захлестанная снегом мать.

— Ой, слава тебе, господи, добралась живой! — проговорила она, снимая с плеча и бросая на пол торбу с письмами и газетами.

Отряхнув с кацавейки снег, мать разделась и постукивая, точно каменными, мерзлыми лаптями, прошла в передний угол и изнеможенно опустилась на лавку.

— Где ты сегодня так запропастилась? — обратился к ней отец. — На улице непогодь, выйти боязно. Ребята совсем извелись, ожидая тебя...

— Задержалась на станции. Пришла на почту, а там ни писем, ни газет. Поезд где-то замело, пришлось дожидаться. Пришел он, когда начало смеркаться. Получила все, домой заторопилась. Когда шла туда, ветер дул в спину, а тут встречу, прямо с ног валит. Вышла в поле — крутит, метет, света белого не видно. Ветер дохнуть не дает, снегом глаза выхлестывает, с ног валит. Чуть не ползком добиралась. Еле-еле доковыляла до дома. Вот отдышусь немножко да пойду барыне почту отнесу.

— Я сам отнесу. А ты отдохнешь, ужин готовь. Ребята, словно волки, голодными зубами щелкают. И сама, поди, голодная?

— Я в дороге хлебца мерзлого погрызла. А ты что — дома и в шапке?

— Разве в шапке? — отец ощупал свою голову. — Верно, в шапке. Надел, хотел сходить, да и забыл снять...

Таня, спавшая на постели, услышав разговор, вылезла из-под одеяла, подбежала к матери и теребя ее за подол старенького, заплатанного платья, запищала:

— Дай хлебца, мама!

— Подожди немножко, вот натру редьки, ужинать будем.

Мать поднялась и, сгорбившись, не отрывая лаптей от

пола, придвинулась к залавку и принялась готовить ужин.

Таня некоторое время с интересом смотрела на пролежавшие сквозь дырочки терки пушистые червячки редьки, а потом принялась снова тереть мать за подол:

— Мама, поесть хочется...

— Да отвяжись ты, насада! Вот пристала, неотвязная. Уйди! — и шлепнув Таню, оттолкнула ее от себя.

Таня залезла под лавку и захныкала.

Нетерпеливо ожидая ужина, я слежу безотрывно за каждым движением матери. Натертую редьку она положила в большое глиняное блюдо, прибавила в нее пригоршню белой, замороженной капусты, покрошила луковицу и залила водой из ведра.

Я собирался прыгнуть с печи и поскорей забраться за стол, но в это время в избу вошел наш сельский староста Дмитрий Королев, исправный, старательный крестьянин. Напряженно работая всей семьей, опираясь на помощь двух сыновей, работавших в Питере, Дмитрий Королев укрепил свое хозяйство и считался в селе одним из зажиточных хозяев. Рассудительный, вдумчивый мужик, он умел ладить с односельчанами и с начальством, нередко отводя опасность продажи последней бедняцкой коровы за неплатеж налогов и недоимок.

Поздоровавшись, староста заговорил:

— Зашел я к тебе, Яким, по делу. Вызывал меня на днях старшина в волость и строго-настрого наказал собрать все недоимки. А за тобой близко к тридцати рублям накопилось.

Он вытащил из-за пазухи новой, черной дубленой шубы, расшитой по груди белыми узорами, истрепанную конторскую книгу, перелистал ее и, найдя нужную страницу, продолжал:

— Не платил ты налоги и недоимки почти три года. Вот, смотри, считай! — и указал пальцем на страницу.

Отец наклонился над книгой и стал рассматривать записи в ней.

— Откуда же столько набралось? Ведь она платила, — отец кивнул в сторону матери, встревоженно слушавшей разговор.

— Тут каждый гривенничек записан, ничего не забыто.

Староста закрыл книгу и засунул ее за пазуху.

Требование уплатить налоги и недоимки озадачило отца. Он обмяк, понурился.

— Дмитрий Афанасьич, повремени до осени. Продам лен, сам в работники пойду, а рассчитаюсь вчистую. А сейчас — хоть зарежь, платить нечем и взять негде, — приниженно, сиплым, тихим голосом просил отец.

— Я-то что? По мне хоть бы и совсем с нас ничего не брали. И мне бы полегче жилось.

— Твое хозяйство на крепких ногах давно стоит, а я только опериваться пробую. Себя раздел, клячу на двор привел. Без лошади, сам знаешь, мужик, что сухая трава на ветру, мотается попусту.

— Правильно говоришь, Яким, да помочь-то тебе я не в силах. Велел старшина собрать в срок деньги. За одним вашим селом, говорит, долгов больше, чем за всеми деревнями волости. Грозится — не соберешь, приеду с урядником и сам собирать буду. А мне кутузку обещает.

Мать перестала готовить ужин и расстроенная слушала слова старосты. Вытерев руки о подол платья, она подошла к нему и поклонилась:

— Дмитрий Афанасьич, батюшка, окажи божескую милость, повремени. Осенью все уплатим, а сейчас зарез нам. Ни гроша нет за душой.

— Ничего не могу поделать, тетка Наталья. Я человек обязанный, что велют, то и делаю.

— Да разве мы одни неплательщики? Таких бедняков в селе — считай не сосчитаешь.

— Велено со всех собрать. Может, перехватите где десятку, прикроете недоимки, а остальное по осени.

— Не у кого занять, Дмитрий Афанасьич, — ответил отец. — Кто дал бы — у тех у самих в кармане вошь на аркане, а у кого имеются деньжонки, у них в крещенье льда не выпросишь.

— Смотри, Яким, не обернулось бы все худом. Приедет старшина с урядником — скот продавать будут, имущество могут описать. Мое дело упредить. Надумаешь что, приди — скажи.

Попрощавшись, староста ушел. В избе наступила гнетущая тишина.

— Не знаю... Сама видишь — режут без ножа. Не дают трудовому мужику на ноги приподняться.

— Сбегаю я завтра к барыне. Может выпрошу что

под отработку. Ох, скачать бы прошлые недоимки, а то, боже упаси, Пегашку со двора уведут.

— Подумаем потом... Давайте ужинать...

Мать накрыла стол старым столешником, поставила полведерное блюдо с разведенной редькой, положила деревянные ложки, ковригу подового хлеба с толстыми, поджаристыми корками.

Я люблю эти корки. Если их долго жевать, то они становятся сладкими, точно свекла.

— Мальчишки, ужинать, — позвала нас мать. — Танька, где ты? Иди за стол.

Отрезав от ковриги толстый ломоть, отец разрезал его на четыре части и дал каждому из нас по куску. Другой ломоть, потоньше, он разделил между собой и матерью.

Взглянув на блюдо с хлебовом, он недовольно поморщился:

— Помасли немножко эту муру, а то ее и в горло не впятишь!

Мать принесла с залавка бутылку с льняным маслом и осторожно влила в блюдо несколько капель. На мутной воде тускло заблестели редкие маслянистые крапинки.

Проворно замелькали ложки. На зубах похрустывает еще не растаявший снежок промерзлой капусты. Стараясь наесться досыта, я глотаю пищу почти не пережевывая, но угнаться за братом Колей не могу. Его ложка от блюда ко рту движется с удивляющим меня проворством.

— Да ты что, Колька, на пожар что ли торопишься? — оговаривает его мать. — Ешь, как все...

Коля, будто не слыша слов матери, продолжает энергично действовать ложкой. Видя, как быстро уменьшается хлебово, он привстал и ест стоя, придвинув лицо к блюду.

— Еще-то дашь, что-нибудь? — спросил отец, показывая на опорожненное блюдо.

Мать достала из печки горшок с похлебкой и вылила ее в блюдо.

В загустевшей, чуть теплой похлебке, будто угли, плавают разопревшие черные грибы — «дикое мясо» зовем мы их. Хлебная похлебка, мы всегда стараемся побольше наловить грибов. Обсасывая каждый гриб, мы складываем их в кучки около себя. Горьковатые, пахнущие смолистой хвоей грибы, кажутся нам вкусными-вкусными.

После ужина, поддразнивая друг друга, мы с длительным наслаждением съедаем их.

Проглотив две-три ложки похлебки, отец положил ложку и, пощипывая бородку, задумался.

— Батя, хлеба! — просит Коля, раньше всех улавливший с своим куском. — Ты дал мне маленький кусочек, как Таньке...

— Доедай без хлеба! — не глядя на него, ответил отец.

Поглядывая голодными глазами на ковригу, Коля принялся за похлебку.

Ко мне на колени залез наш бесхвостый кот Огрызок. Хвост ему отрубили соседские ребята в наказание за его охоту на голубей и воробьев. Не брезговал Огрызок и маленькими цыплятами.

Изгибаясь ребристым боком, Огрызок подталкивал меня, мешая мне хлебать похлебку. Сердясь, я локтем отпихнул кота от себя. Стараясь удержаться и не упасть, Огрызок когтями вцепился в ногу отца.

— А, дьявол бесхвостый! — выругался отец и, схватив кота за шею, оторвал его от штанов и метнул через стол к порогу.

— Зачем ты его так? Он поест просит, — заступился я за Огрызка.

— Тебя не спрашивают! — отец исподлобья взглянул на меня. — А ты что, головастик, одни грибы вылавливаешь? — вскинулся он на Егора и сильно ложкой щелкнул его по лбу.

Егор, словно оглушенный неожиданным ударом, оторопел. Частые крупные слезы потекли по его щекам. Ложка с одним грибочком осталась в блюде. Приподняв плечи, он втянул в них голову и сложил руки на груди.

— Эх, Яким, Яким, не боишься ты бога! За что ударил парнишку? Погляди, каждый грудку грибов наловил. — Мать положила недоеденный кусок хлеба. Глаза ее набухли слезами.

— Молчи, не твое дело! — оборвал ее отец.

Мы все притихли и боимся поглядеть на него.

Егор рукавом рубашки вытирал слезы.

— Ешь! — заставил его отец.

Ложка Егора боязливо, робко и через силу потянулась к похлебке.

Отец вылез из-за стола, присел на вязанку хвороста

у печки, закурил и упершись глазами в пол, задумался.

Заслонив от него собой стол, мать схватила ковригу и нож. Отмахнув толстый ломоть хлеба, она сунула нам еще по куску.

Спрятав хлеб на коленях и откусывая, наклоняясь, мы принялись доедать выловленные грибы.

Егор придвинул свои грибы Коле. На его лбу краснело большое пятно. Выйдя из-за стола он, не раздеваясь, полез на полати.

Мать соболезнующим взглядом проводила его.

— А ты, Максимка, что же не ешь свои грибы? — спросил меня Коля.

— Не хочется...

— Давай я съем.

— Ишь ты, какой подьедало!

Окуная грибы в солонку с крупной солью, я без всякого удовольствия проглотил их.

Сунув сбереженный кусок хлеба за пузуху, я залез к Егору на полати и лег рядом с ним.

— Егорка, тебе больно?

Он не ответил, а только задышал часто-часто.

— На, хлебца. Я досыта наелся, вот ей богу досыта...

ВОТ ТАК БЫ ВСЕГДА

Посещение бабушки Лукерьи и ее неожиданная помощь нашей семье подействовали на отца. Он стал сдержанней, меньше ругался и с тех пор ни разу не ударил мать.

Повлияло на него и еще одно событие.

Однажды под вечер к нам в избу прибежала соседка тетка Вера, известная всему селу неутомимая, злоязычная сплетница. Эту плоскогрудую высокую женщину, с тонким носом, с красными глазами под рыжими бровями в селе не любили и боялись.

Измыслить и шепотком пустить извиваться среди народа дикий, нелепый слух, гнусную, подлую сплетню, ложившуюся грязным плевком на чью-нибудь душу, доставляло ей радость и наслаждение.

В селе заглазно все звали ее «пиявицей». Тетка Вера не выносила этой клички и, услышав ее, приходила в незнакомую удержу ярость.

Она подскочила к отцу и, не поздоровавшись, принялась жаловаться:

— Уйми ты его, окаянного, Яким. Проучи, как следует, пусть не вадится так делать. Если не отлупишь его, я к старосте пойду...

— Подожди, не стрекочи, словно сорока, без умолку и проку. Скажи толком, в чем дело? — оборвал ее отец, вставая с чурбачка, на котором сидел, чинил хомут.

— Егорка два пирога стащил у меня. Пироги лежали на залавке, под столешником. Пошла я за водой, а он, ворюга, — показала она пальцем на Егора, — у нас под окошком юлился. Возввернулась я с колодца, взглянула на залавок и обомлела — оба пирога пропали...

Егор сидел у окна, решая на грифельной доске задачки. Услышав слова тетки Веры, он встал и начал робко оправдываться:

— Я пирогов не брал. Вот, ей богу, тетя Вера, не брал.

— Врешь, врешь! Вижу по твоим бесстыжим буркалам, ты стащил. Сказывай, где пироги? Сожрал, али куда запрятал?

— Вот лопни мои глаза, не брал я пирогов...

— А может, пироги-то твои ребята съели, Вера? — вмешалась в разговор обеспокоенная мать.

— Не суйся, не в свое дело! — остановил ее отец. — А ты видела, когда Егорка брал пироги? — смотря исподлобья, спросил он тетку Веру.

— Если бы видела, я бы руки ему обломала «кусочнику»!

Слово «кусочник», намек на то, что Егор ходил с матерью нищенствовать по окрестным деревням, словно обожгло отца.

— Мои ребята не воры, и ты зря их не облыгай!

— Вот-вот, заступайся за него. Начал с залавка — потом по горницам пойдет, замки ломать. Осторожником будет...

— Вон, пиявица проклятая! — вскипел отец. — Чтобы духом твоим здесь не пахло, а не то длинный твой язык в брюхо тебе вколочу!

— А, ты так, ты так! — язвительно зачастила тетка Вера. — Думаешь, я вдова, так меня забижать можно? Нет, голубчик! Завтра же сбегая к уряднику, он на вас

управу наведет! — и сильно хлопнув дверью, она выбежала из избы.

— Иди хоть самому черту, жалуйся! — крикнул вдогонку ей отец.

Подумав, он подошел к Егору, взял его за шиворот, сдернул с лавки и поставил перед собой.

— Ты что же это, пашенок, делаешь? — растягивая слова, обратился он к Егору.

— Батенька, родненький, я и не видел пирогов. Я и в избу-то к ним не ходил, — уверял отца перепуганный Егор. — Я только с ее Митькой у них под окошком стоял.

— Острамил, стервеныш, на все село. Знали все — беднота мы, да не воры. А теперь на улицу глаз не покажешь! — и отец с размаху ударил Егора по затылку.

Сбитый с ног, Егор ткнулся лицом в стоящий на полу большой чугунок, обхватил голову руками, подобрал колени к подбородку и, съежившись, застыл.

Мать подошла к Егору, взяла его на руки, осторожно положила на лавку и с горьким вздохом села около него.

... На следующее утро, с лицом, искаженным сине-черной опухолью, почти закрывшей один глаз, Егор отправился в школу.

Увидев изуродованное лицо Егора, учитель Павел Васильевич спросил, с кем он подрался, кто его избил.

Егор ничего не сказал учителю.

— Егорка ни с кем не дерется, он смирный. Это его отец. Он часто дубасит Егорку, — сказал учителю наш сосед Леша Вагурин.

— Отец часто бьет? А за что, почему?

— Отец не любит его, говорит он «пригульный». Вот и лупит его завсегда, чем попало...

... Вечером к нам пришел учитель. В недоумении от его неожиданного прихода мать, суетливо вытирая фартуком лавку в переднем углу, кланяясь, приглашала:

— Сюда вот, сюда садись, Павел Васильевич.

— Не беспокойся, тетка Наталья, не беспокойся, занимайся своими делами. Я найду местечко, где присесть. — Сквозь стекла очков на мать смотрели с теплой добротой серые, прищуренные глаза учителя.

Распахнув поношенное, с вытершимся воротником пальто, он сел на лавку.

Отец, молча поклонившись учителю, отошел к голбцу

и, присев на ступеньку, принялся набивать махоркой трубочку.

Как только учитель вошел в избу, мы — Коля, Егор и я — залезли на полаты, через матицу смотрели на происходящее в избе и, наострив уши, слушали, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Ну, как живете-можете? — спросил учитель, обводя глазами избу. — К весне готовишься, Аким Иванович, инвентарь в порядок приводишь?

— Надо, Павел Васильевич, время подгоняет.

— Да, весна обещает нынче быть ранней. Почки на деревьях заметно набухают... Дай-ка и мне твоей махорочки, Аким Иванович.

Вынув из кармана газету, он оторвал от нее косую ленточку, привычно свернул «козью ножку» и закурил.

— Твоя махорка крепче моей полукрупки, посердтей, — проговорил учитель, пропуская струйку дыма сквозь густые, рыжеватые усы.

— Трудновато придется тебе, Аким Иванович, этот год. Хозяйство твое крепко порасшаталось, а работников, пока — ты да безответная труженица тетя Наталья. А от этой мелюзги, — Павел Васильевич улыбнулся нам, — помощь только за столом.

Отец, не зная зачем пришел учитель, заметно нервничал и выжидательно поглядывал на него.

В селе Павел Васильевич учительствовал лет пятнадцать, приехав к нам еще юношей, сразу же по окончании учительской семинарии. Жил он с матерью, старушкой попадией-вдовой. За близость к повседневным крестьянским нуждам, отзывчивость, готовность оказать посильную помощь в беде и горе все население села — мужчины и женщины, дети, взрослые и старики непритворно любили и уважали своего учителя. Советы и пожелания его почитались неоспоримыми.

Затянувшись несколько раз, Павел Васильевич заговорил:

— Зашел я к тебе, Аким Иванович, по делу. Сегодня твой сын Егор пришел в школу с разбитым лицом. Спрашиваю парня — кто его так избил, или где он расшибся — не отвечает, молчит. Другие ребята сказали — избил его отец. — Павел Васильевич снял очки и, пытливо смотря на отца близорукими глазами, спросил:

— Правда это, Аким Иванович?

Отец вздернул плечами, насупил брови, щипал бородку, не отвечал.

— Правда это, Аким Иванович? — вставая и подходя к отцу, повторил требовательно учитель.

— Егорка сам о чугунок ушибся, — вмешалась мать. — Вера «пиявица» на него напраслину по злости наклепала, будто он пироги у нее украл. А пироги-то ее девки съели, сами мне признались.

— Подожди, тетя Наталья. Я хочу услышать ответ от него, — Павел Васильевич кивнул на отца.

Отец молчал.

— Егор дома? — обратился к матери учитель.

— Дома... Вон на полатах... — сдавленным голосом ответила мать.

— Егор, поди сюда! — позвал его Павел Васильевич.

Егор нехотя спустился с полатей, встал у двери, с опаской поглядывая то на отца, то на учителя.

В изношенной рубашонке из домотканной новины, окрашенной в отваре ольховой коры, в таких же штанах, в расшлепанных лаптях, Егор производил гнетущее впечатление. Узенькая щелка глаза, заплывшего багровым синяком, сочилась испуганной слезой.

— Аким Иванович, погляди на своего ребенка! — резко подчеркнул учитель.

Павел Васильевич поспешно надел очки и опустил голову, а потом за веревочку, заменявшую Егору пояс, он привлек его к себе и поставил между коленами.

С нескрываемым страхом грызла кончик головного платка встревоженная мать, ожидая конца разговора.

— Да, Аким Иванович, своим молчанием ты ответил лучше, чем словами. Только вот не укладывается в моей голове, как мог ты, питерский рабочий, так зверски избить мальчонка. По простоте душевной думал я, что в городах люди умнеют, избавляются от диких привычек. Выходит — избавляются, да не все. Жаль, Аким Иваныч, ошибся, видно, я в тебе.

Павел Васильевич легонько отстранил от себя Егора. Вынув из кармана бутылочку с белой жидкостью, он подал ее матери.

— Тут примочка, лекарство. Полей ее на чистую тряпочку и прикладывай на больное место. Синяк скорей пропадет.

Учитель застегнул пальто, надел шапку.

— Пойдем-ка со мной, Аким Иванович, поговорить еще кой о чем с тобой необходимо,— предложил учитель.

Отец молча оделся и вышел с Павлом Васильевичем из избы.

... Домой он вернулся поздно вечером.

— Ты мать, не обижайся, что я немножко выпил. Угостил меня Павел Васильевич, отказываться было неудобно. Эх, какой он человек, Наташа.

С этого памятного дня жизнь в нашей семье пошла по-иному.

**
*

Готовясь к весенним полевым работам, из разных уголков двора, с чердака отец собрал в избу сбрую, плуг, борону, серпы, косы.

Сидя на низеньком чурбанчике и пересматривая инвентарь, он ругается:

— И черт его знает, какой все хлам. Плуг — изоржавел, в бороне — половины зубьев нет. А на сбрую взглянуть противно. Да, хозяйство — ни в пир, ни в мир, ни в добры люди!..

— Кого виноватишь-то? — не выдерживает его досады мать. — Сам знаешь, сколько лет все валялось, поджидая хозяина. Вот и ответшало.

— Ответшало, ответшало! — передразнивает ее отец. — Лучше бы берегла — тогда не обветшало бы.

— Берегла, как умела. Погляди, вон, мои-то «сон» и «отдых» — она показывает на исправные косу и серп, — в полной пригодности.

— Не сердись, мать. Выбьемся из нужды. Справили Пегашку — глядишь — годок-другой протянем. А там молодую лошадку огорюем. Овечек опять заведем. Овца в хозяйстве животно пользительная. От нее и шерстка на валенки и овчинка на шубу. Иногда и мясо перепадет. Не все ж тебе похлебку «лесной говядиной» и тараканами заправлять. Потом парни подрастут, добытчиками станут, помощь нам в старости.

— Батя, — вмешиваюсь в рассуждения отца я, — избу перевернуть надо.

— Как перевернуть? — отец удивленно смотрит на меня.

— А пусть она окошками на улицу глядит, а не на задворки.

— Избу, сынок, перевернуть нельзя. Чуть только тронь нашу избу, она рассыплется. У нас не изба, а гнилушки одни. Ткни в угол пальцем, он на улицу вылезет. Вот чуть-чуть оклемаемся, тогда новую избу построим и окна на улицу. Нечего нам стыдиться людей и по-волчьи в поле глядеть.

— Эво, сколько нашабалил! И то, и другое, и третье. Известно, язык без костей — гнется, — охлаждает отца мать.

— Ты, мать, не сомневайся. Справимся с нуждой, осилим ее, — убежденно говорит отец. — Вот только здоровье не подкачало бы... — и он умолк.

Поджимая обеими руками живот, отец долго сидит не двигаясь, закрыв глаза, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя.

— Яким, давай я тебя попарю, — встревожилась мать. — Может позвать бабушку Лукерью, травки какой целебной даст.

— Не надо, пройдет и без травки! — отмахивается отец.

Посидев некоторое время, отец распрямился, вытер вспотевший лоб, раскурил погасшую трубочку и опять принялся за хомут.

Работа не ладилась. Отец сердился, ругался, бросал начатое дело, принимался за другое.

Особенно много хлопот, беспокойства и огорчений доставил ему хомут. Распотрошив его, отец несколько дней заново перешивал оголовье, околачивал расколотые клещи, отмачивал в дегте гужи. Соединив все части хомута вместе, он недоуменно рассматривал его со всех сторон.

— Что это у нас с тобой, Максимка, получилось? — Делали хомут, а состряпали такую посудину, что домовою не угадает, на что она пригодна. Надень такой хомут на Пегашку, над ней все лошади смеяться будут, а ей самой от стыда глаза хвостом закрывать придется.

— Верно, — смеется мать. — Такую сряду, пожалуй, надо носить не лошади, а тому, что ее соорудил, в награду за старание.

— Ну тебя к лешему! Тебе только просмеивать! — отец метнул на мать сердитый взгляд, потом перевел его на хомут и громко захохотал.

— Да, выходит словно в песне: шила милому кисет, а вышла рукавица. Ну и дела!..

Действительно, хомут оказался необычным: скрепляя расколотые клещи, отец перекосил их, набитое новой соломой оголовье стало вдвое толще, а отверстие значительно сузилось, и голова Пегашки пролезти в него не могла. Размоченные и вытянутые гужи так удлинились, что на концах оглобель и дуги их пришлось бы наворачивать несколько раз.

Готовиться отцу к весенним работам помогал Егор Чирков. Каждый день он заходил к нам, советом и показом исправляя ошибки отца.

— Понимаешь, Егор Дмитрич, отбивается это дело из рук, — нехотя признавался отец. — И штука-то, кажись, не мудреная, не выходит. На руках — десять пальцев и все мешают.

— Бывает. Главное — обмозговать, с какой стороны надо приступить, а кончик найдешь — весь узелок распутаешь. Давай покумекаем вместе, авось выйдет.

«Кумекал» Егор один, а отец зорко наблюдал за тем, как в ловких руках его спорилось и ладилось любое дело.

Исправил Егор и злосчастный хомут.

Когда работа отбивалась, отец выходил на двор к лошади, а я выскакивал за ним.

Лошадь, отдохавшая всю зиму, поправилась, обросла длинной теплой шерстью, будто помолодела.

Отец гладил ее округлившиеся бока, расправлял спутанную гриву, ласково разговаривал с ней.

— Умница, Пегуха, не подвела. Ишь ты, даже брюхо подтянула.

Лошадь переставала жевать сено и, словно понимая, косилась на отца коричневыми, влажными глазами.

— А ты хрупай, хрупай. Сенцо-то хорошее, с клеверком. Набирайся сил. Скоро в поле.

Взяв пучок соломы и перекрутив его, отец словно щеткой принялся прихорашивать шерсть на боках лошади. Пегуха, переступая с ноги на ногу, застыла.

— Смотри-ка, Максимка, ей нравится это. Вот, чертяка! — улыбался довольный отец. — Хороша у нас лошадка-то?

— Лучше барских, батя! — радуюсь я вместе с отцом.

— Хоть и не лучше, а подходящая. — Отец подходит

к яслям и начинает старательно перетряхивать в них сено.

— А ты что тут делаешь? — вдруг насупился отец.

За яслями Пегашки, освещенный узкой полоской света, протолкнувшейся сквозь маленькое оконце двора, сидел брат Егор.

— Я, батя... Я так... Ничего... Вот зубья.. зачистил Егор.

— Что зубья? Где ты их взял?

— Я их из-под соломы вытаскал. Они там лежали. В бороне-то зубьев не хватает. Может, пригодятся. Только все они заржавелые шибко. Вот я их и чищу.

Около Егора, рядом с грудкой щebenки, лежало с десятков отчищенных до блеска боронильных зубьев.

— Кто тебя научил?

— Никто, я сам.

— Эх ты, глупыш, глупыш! — отец шутливо надвинул Егорке шапку на самый нос. — Не надо их чистить. Боронить будем — сами отполируются.

В нашей семье устанавливалась добрая слаженность отношений. Все реже и реже слышалась ругань отца. Прекратились побои матери. Отец видел и стал ценить ее незаметный, повседневный труд, ее помощь в трудной жизни.

Покойней чувствовали себя и мы, ребята. Таяла наша отчужденная настороженность к отцу. Мы старались помогать ему, чем могли, но чаще всего мешали.

Только Егор, научившийся держать в руках топор, сделался помощником отца.

Присматриваясь к его работе, отец говорил:

— Получается у тебя, Егорка, получается. Действуй...

Скупые похвалы отца радовали Егора. Растапливался ледок на его сердце. Он теперь меньше прятался от отца, доверчиво шел к нему.

— Вот так бы всегда, — не по-детски серьезно говорил он, отдыхая от издевок и побоев отца.

МАМА, МАМА, А БАТЯ-ТО...

Прошла пасхальная неделя. Стаял снег. Подсыхали залитые талой водой поля. Приближалось время пахоты и сева яровых хлебов.

Отец пересматривал починенную сбрую, инвентарь. Выхать в поле он хотел исправным хозяином, не хуже других.

Работая, отец порой сгибался, поджимая руками живот, закусывая от боли губы:

— Вот, черт, опять сгрипчило!

Отбросив работу, он залезал на горячую печку: и долго лежал там, не шевелясь.

Мать с беспокойным участием смотрела на отца.

— Пахать-то будет трудно тебе, отец.

— Ничего, до свадьбы заживет,— отшучивался он невесело.

К первому выезду в поле любовно и торжественно готовилась вся семья. Накануне отец вывел Пегашку из хлева на улицу и заботливо скребницей счищал с ее округлившихся боков длинную зимнюю шерсть.

— Ты, Максимка, шерстку собирай. Тебе мать из нее знатные варежки вывяжет. В самые лютые морозы в них лучше, чем в печурке руки будут греться.

И я старательно собирал в торбу ошметки рыже-белой и черной шерсти. Егор смазывал жидким дегтем сбрую, светлил бляхи на хомуте, шлее, обрати.

Вычистив Пегашку, отец расчесал и подрезал ей гриву, подравнял реденький хвост.

— Надо, чтобы волосок с волоском дружился.

В завершение, намочив керосином суконку, он тщательно протер Пегашку от ушей до копыт.

— Вот теперь дело. Блестит, точно молодая. Такую кобыляку можно Илье-пророку в колесницу впрягать. И по небу на ней не стыдно прокатиться.

— Опомнись,— сердится мать,— мелешь нивесть что.

Вечером мы все вымылись в печи.

— Вперво́й в поле выезжать, не попарившись, не годится, лен короткий и рыжий уродится,— поучает мать.

— Ну, у тебя все приметы да заметы,— трунит отец.— Получше обработай земельку да навозцу положи побольше и урожай получишь.

— Верно, на поле почаще пот вытирай, а советы старых людей не забывай. Они поумней нас,— не сдавалась мать.

Утром, в день выезда в поле, мне не спалось. Еще бы! Отец обещал взять меня с собой на пашню.

Позавтракав, отец запряг Пегашку в плуг. Я тенью ходил за отцом.

— Ну, герой, поехали!— и подхватив под мышки, он вскинул меня на спину лошади.— Вцепись репьем в гриву и держись,— добродушно смеется отец.

Я бахвалисто сижу на лошади — пусть позавидуют ребята, но они все куда-то запропастились и на улице их не видать.

— Пусть землячка будет мягка, а пашня Пегашке легка,— напутствует нас мать счастливой улыбкой.

Пашня у отца не ладилась. Плуг прыгал и то глубоко врезался в землю, то, царапая, скользил по верхнему слою. Борозда тянулась извилистой, бугристой, рваной. Отец сердился, беспричинно дергал лошадь, хлестал ее вожжами, еще больше сбивая с ритма работы. Утраченные навыки крестьянского труда не сразу восстанавливались.

В поле пришла мать, принесла нам обед.

— Ты, отец, перекуси, отдохни, а я гона два-три пройду. Привычно взялась она за ручки плуга, умело направила лошадь и ласково понукая ее, принялась пахать.

Лошадь зашагала спокойно, уверенно. Плуг не прыгал, упругие пласты вспахиваемой земли не дыбились, ложились ровно, одной толщины. Отец внимательно следил за работой матери, бросив обед, пошел рядом с ней.

— А у меня так не получается,— признался он.

— Ничего, и у тебя наладится.

После обеда пашня и у отца пошла лучше. Довольный, мурлыкая песенку, ходил он за плугом.

Я радовался солнечным просторам полей, чистому голубому небу, проплывающим бело-розовым облакам. Вдалеке, в синеватой дымке стоял лес. Поля застилала обмытая первыми теплыми дождями сочная зелень травы. В прозрачной, прохладной вышине звенели неумолкаемые жаворонки. На болотах яркими огнями желтели кувшинки, раздавалось яростное кваканье лягушек.

Я бегал по прошлогоднему жнивью, отыскивая «пестики», едва обозначившиеся на лугах тоненькие листочки щавеля, лазал в холодную болотную воду за цветками, собирал на вспаханной земле красноватых, жирных червей.

День наполнялся красочными, надолго памятными впечатлениями.

Черный хлеб с картошкой и луком казались необычно вкусными-вкусными.

Отдыхая, отец рассуждал:

— Не шутка, Максим, сами свою земельку пашем, забодай тебя лягушки. Поправлюсь я, разживемся, нужду осилим. Заживем лучше, чем у Христа за пазухой.

**
*

Теплый весенний вечер. Синие сумерки заполнили избу, окрасив причудливыми тонами и оттенками скудную обстановку. Темная тишина притаилась в углах избы.

Егор и я лежим на полу, возимся, шепчемся, фыркаем.

— Спите, пострелята неугомонные! — притворно строго прикрикивает на нас мать.

А нам не спится. Мы наблюдаем за сборами отца.

Надев тужурку, он подпоясался, взял топор и попробовал пальцем остер ли? — засунул его за кушак.

— Ну, я пошел, — обратился он к матери. — А вы, озори, спите!

— Иди с богом! — напутствовала его она.

Отец пошел в барский лес, тайком от сторожей срубить две заранее облюбленные березки на оглобли к телеге.

Обзаводясь самым необходимым в хозяйстве, отец сильно нуждался. Появление серебряной монеты в его кошельке становилось памятным событием. И ежедневно приходилось изворачиваться, искать выход из трудных положений.

Утром, когда мы проснулись, отец из леса еще не пришел.

Обеспокоенная мать часто выходила на улицу, смотрела в сторону леса.

«Господи, — вслух думала она, — неужели его сторожа схватили? Вот напасть-то будет! Оштрафуют; али отрабатывать заставят. Только не избили бы...».

В тревожном ожидании, будто застыло, не двигалось время.

— Мама, а что же батя не идет?— спрашиваю я мать.

— Отвяжись, не до тебя... Сама не знаю...

Сгорбившись, с усилием переступив порог, отец вошел в избу. Не раздеваясь, проковылял он в передний угол и, сбросив картуз, присел к столу и, положив на него руки, протяжно охнул.

— Где ты запропал?— подошла к нему мать.— Я глаза проглядела, поджидая тебя. Сторожа поймали, что ли?

— Ничего, мать, ничего... Занездоровилось шибко... Раздень-ка меня,— попросил отец. Полежу я...

Мать сняла с него тужурку и осторожно, поддерживая, подвела к постели и уложила его. Отец вытянулся, и закрыл глаза. Дышал он часто, приглушенно стонал.

— Батя, а тебя кто прибил?— подойдя к постели, спросил я отца.

— Меня никто не бил,— слабо улыбнулся отец.— Я никому не дамся... Иди на улицу, к ребятам...

Я неохотно уходил и, постояв под окошком, возвращался в избу, на цыпочках подбирался к отцу, заговаривал с ним.

— Надоел ты, Максимка! Дай отдышаться, подремать,— просил меня отец.

— И что ты пристал к отцу!— рассердилась мать и вытолкнула меня за дверь, сопроводив вразумительным подзатыльником.

..Вечером, за ужином, отец рассказал:

Пошел я в лес через Куликово болото. На островке, за ним, облюбовал зараньше две подходящие березки. Пробираюсь болотом по кочкам. Кругом осока, чуть не с меня ростом. Встану на кочку, а она будто живая, качается, шевелится подо мной. Вода жмыхается. Страшновато в лесу ночью-то. Добрался до березок. Покопал их и принялся корни подрубать. Тяпну разок другой — перестану, насторожусь, прислушиваюсь. Тихо, ни звука... Только ветер в осоке шуршит. А тут тучки поползли, дождичек закрапал. Гоже, думаю, на руку мне. Срубил одну березку, потом и другую. Отсек верхинки, очистил от сучков, связал их вместе и пошастал домой. А березки болотные кряжистые, грузные, еле еле волоку. И кочки проклятущие идти мешают. Пошел

прямо по воде. Ступишь, и выше колена в грязистой тине вязнешь. Ноги еле вытащишь. Добрался я так до середины болота, тут и случилось... И он умолк.

— А что случилось-то? — спросила мать, напряженно слушающая рассказ отца.

— Не скажу... В лес заботитесь ходить... А потом живот схватило. Полежал на кочке, промок весь... Бросил оглобли, в другой раз схожу, принесу. Побрел домой. Пройду пяток шагов — посижу. А когда рассвело — подбодрился. Так вот и доплелся...

Что случилось в лесу, отец не рассказал, повторяя:

— Скажу, в лес заботитесь ходить.

Пересиливая себя, он попытался еще работать, но вскоре слег. Жесточкие боли в животе доводили его до иступления. Не находя облегчающего положения, он днем и ночью метался на постели, ругался, скрипел зубами, плакал, злился на всех, а успокоившись, просил прощения:

— Не сердись, мать. Я сам не властен над собой. Боль, точно огнем палит и клещами нутро разворачивает.

— Что ты, Якимушка. Да разве мы сердимся? — успокаивала его мать. — Ты скорей только поправляйся и, бог даст, все обойдется.

— Не знаю, поправлюсь ли. Неужели я домой помирать приехал? — тоскливо спрашивал он. — Хочется пожить, поставить на ноги ребят...

— Бог с тобой, опомнись! Другие и тяжелей тебя хворали, да поправлялись. Выздоровеешь и ты, — разубеждала его мать. — Завтра истоплю печку пожарче, попарю и полегчает тебе. Бабушка Лукерья обещала травки, настоенной на святой воде, принести. Попьешь настоечки и боль утишится.

— Опять всю работу одной тебе тянуть приходится...

— И не одной, Егорка помогает.

— Верно. Присматриваюсь к нему, вижу — парень растет смышленный, домовитый. И руки у него толковые...

...Бабушка Лукерья и мать заботливо лечили отца: парили его в жарко натопленной печи, поили настоенными на крещенской воде травами, служили в церкви молебны о здравии раба божия Акима, пытались побо-

роть болезнь заговорами, но облегчения не наступало. Отец, изо дня в день, заметно слабел.

В погожие дни, в начале болезни, сам, а поздней поддерживаемый Егором, он выходил на улицу и часами сидел под окном на завалинке, обласкиваемый солнцем.

— Сенокос приближается, Егорушка, а я лядею. Походить бы по росной травке с косой, да видно не придется. Ты матери подмогай. Замоталась она со мной.

— Я, батя, большой. Я нынче косить пойду.

— Вот и ладно. А на меня надежды мало.

— Не горюнься, Якимушка, держи себя в руках покрепче, — проговорила, садясь рядом с ним, бабушка Лукерья. — На-ка, вот, я тебе гостинчик принесла, — и она передала отцу корзиночку, сплетенную из гибких корней молодой сосенки, полную крупной, зрелой земляники.

— Попробуй, Якимушка, первые ягодки — самые сладкие. В потайном местечке насобирала, — и она глянула ясными, добрыми глазами на обступивших ее ребятишек. — Понюхай, лесной благодатью пахнет от ягодок-то. Солнышком и росой смолистой напиталась каждая земляничинка. Поешь ягодок и на поправку пойдешь. Кровь они от хвори очищают.

— Спасибо, бабушка Лукерья, спасибо. Печешься ты обо мне, точно мать родная.

— О хорошем человеке заботиться и бог велел.

— Нет, плохой я человек. И сам жил взбалмошно и семье мешал...

— Уразумет человек — что хорошо, что плохо, у него с души короста спадает. Просветляется душа, Якимушка.

Навещая отца, бабушка Лукерья приносила ему ягоды, полевые цветы, веточки молодых елей, с красноватыми, клейкими шишечками.

— Сегодня, Якимушка, я тебе грибков наискала. Первые подберезовички-колоснички только-только из земли проклюнулись. Глянь, какие крепкие, ядреные, без единого червячка. А лето нынче, похоже, грибное быть обещается. На всех тропках в лесу от грибной плесени белым-бело. Поджарит тебе Натальюшка грибки и ты, в охотку, попробуешь, а то слышала я, у тебя душа ничего не принимает. А оголодаешь — хворь больше силы набирает...

В погожие дни на завалинке, а в пасмурные дни в избе сидела бабушка Лукерья у постели отца и рассказывала ему сельские новости, о своих хождениях по лесам и полям, обо всем услышанном и увиденном.

Я не отходил от нее, жадно слушал ее рассказы, узнавая всегда новое, мне неизвестное. И не припоминается ни одного случая, когда бабушка Лукерья кого-нибудь осуждала. Обогащенная житейским опытом, она видела и понимала причины безрадостной жизни односельчан.

— А вчерась жену Шибала прибил, глупый. А чем баба виновата? И что только не делает нужда? И никак от нее не избавишься. Висит с гайтаном на шее с детских лет и до смерти. С ней и в могилу провожают и кулаками от нее не отмахнешься...

Ласковый, певучий, неспешный голос бабушки Лукерьи успокаивал отца. За разговором он отвлекался от настороженного прислушивания к мучительным болям и засыпал чутким сном.

Заставая бабушку Лукерью у постели отца, мать сокрушалась:

— И чем я отплачу тебе, родимая, за доброту твою?

— Ну, ладно, ладно, — останавливала ее бабушка Лукерья. — Лишь бы Яким хворь осилил. А что я сижу, так надо. Плохо человеку один на один с болезнью оставаться. Мало ли чего надумается. В свободные минутки навещал отца дядя Егор.

— Как поживаешь, Яким Иваныч? — обычно спрашивал он, присаживаясь.

— Не спрашивай, — безнадежно махал рукой отец. — Привязала болезнь к постели, словно собаку на цепь, и не спускает. Лаять — мочи нет, а визжать по-щенячьи не научился. Скорей бы хозяйке руки развязать...

— Такие думки ты гони из головы к лешему! — сердился дядя Егор.

Его худое лицо, обрамленное редкой русой бородкой, становилось строгим.

На погост не в гости, никогда не опоздаешь. Там каждому из нас место отведут. Ты болезнь побарывай и в работу впрягайся.

— Пятая неделя пошла, — жаловался отец, — а мне с каждым днем все хуже и хуже. Теперь без Егоркиной помощи и с постели не сползу.

— Хм, пятая неделя? Ты спроси своего соседа Михаила Монахова, сколько он хворал. Десять недель вылежал пластом. Батя причащал его, саван мужику стачали, гроб хотели сколачивать, совсем в покойники приготовили, а он взял да и оклемался. Рано, говорит, мне на тот свет отправляться, ребята малые, кто их без меня поднимет? Посмотри, теперь будто встрепанный бегаёт.

Отец с надеждой слушал ободряющие слова дяди Егора.

— Что ж, может и я поваляюсь-поваляюсь да и поднимусь...

— Поправишься, не сомневайся. На днях я мед из улья вынимать буду. Принесу и тебе медку. Сотовый медок от сорока болезней помогает. Попьешь парного молочка с медком и хворь, будто рукой, снимет.

— Совесть грызет, Егор Дмитрич. Хозяйка моя из сил выбивается. Сенокос подходит...

— Да, луга делить собираются. Сегодня вечером буду косы свои отбивать, заодно отобью и тете Наталье.

— Смотрю я на тебя, Егор Дмитрич, и думаю, какой ты душевный.

— Мужик я самый обыкновенный, темный сельский мужик. А тебя, Яким Иваныч, нужно в больницу свозить. Пусть доктора боль обследуют. Может, святая вода кому и помогает, — улыбнулся дядя Егор, а доктор, все же, понадежней. Зайду я к Павлу Васильевичу, попрошу у него записочку к доктору.

Через несколько дней, бережно уложив отца в телегу, на свежую траву, дядя Егор повез его в больницу. В город он взял и меня.

— Посидишь на телеге, Пегашку посторожишь. В городе народ-то всякий. Мало ли что может случиться?

Все двадцать верст до уездной больницы лошадь шла шагом. Стараясь не беспокоить больного, дядя Егор объезжал все рытвины и колдобины.

Отец восхищенно глядел по обеим сторонам дороги.

— Как хорошо в поле-то! Солнышко греет, ветерок повевает... А жаворонок-то, слышишь, как заливается. Трава в это лето, видать укусистая... А рожь-то, рожь, гляди — желтеть начинает. Благодать... Без вина пьянешь...

В больнице, прочитав письмо учителя, доктор сразу велел отнести отца в приемную. Я остался в телеге.

В ожидании приема в больничном садике и на крыльце сидели и лежали мужчины и женщины, приехавшие и пришедшие за облегчением от застарелых болезней. В пестрой разноголосице слышались стоны, жалобы, оханья, плач.

Часа через два дядя Егор и больничный служащий на носилках вынесли отца и уложили в телегу.

— Ты побудь с отцом, Максимка, а я сбегаю в магазин, кой-что купить. Приду, закусим и отправимся домой.

Утомленный поездкой, укачиваемый мягким поскрипыванием колес всю обратную дорогу отец дремал.

Молчал и задумчивый дядя Егор.

Домой приехали на закате.

— Что доктор-то сказал?— встретила вопросом мать.

— Ничем не обнадежил... Дали, вот, порошки да пойло. Сказывал доктор, боль утишат, мучиться поменьше станет. Возьми и это,— и дядя Егор подал матери мешок с покупками.— Тут белая мука, сахар, крупа. Павел Васильевич денег дал, велел купить для больного.

Лето стояло сухое, жаркое, с редкими сильными грозами. В избе душно. Надоедливо жужжат мухи. Отцу трудно дышать. Он часто просит пить, но тепловатая вода жажды не утоляла. От невыносимых болей отец извивался на постели, стонал, плакал, грыз подушку. Лекарства давали облегчение на короткий срок.

Ухаживает за отцом брат Егор. Он кормит его, поит, поправляет ему постель, набивает и раскуривает угольком трубочку.

Затянувшись два-три раза, отец отдавал ему трубку обратно:

— Возьми, тошнит с нее... Ты не убегай, Егорушка, скучно мне одному, поговорить не с кем...

И Егор не отходил от отца, терпеливо перенося его сетования, упреки, жалобы, ругань.

Стараясь облегчить страдания отца, постель ему устроили в пристроенном к избе маленьком тесовом чуланчике. Прохладная тишина чуланчика успокаивала его.

Торопясь в поле, озабоченная мать наказывала:

— Не бросайте, ребята, отца одного. Приглядывайте за ним...

Когда я заглядывал в чуланчик, отец разговором пытался задержать меня.

— Не отправлю, знать, Максим, я тебя в Питер. Расклеился я, расхворался. Подрастешь — сам, один поедешь. На завод работать поступаешь. Там научишься мастерству. А мастерскому человеку всегда цена. Мастерской человек — нужный человек.

Хрипловатым, прерывистым голосом он рассказывал о заводах Путиловском, Семенниковском, Розенкранца.

— Людей хороших, понимающих на заводах много.

Рабочий человек в нужде поможет, в беде выручит. Только не лебези перед мастерами. Наушников, подлиз — рабочий человек не уважает. Любил я на станке работать. Пустишь его и смотришь, стружечка кудрявинкой вьется, играет, словно живая. Да отработался я. — И помолчав продолжал:

— А здесь что? Чертоломишь, гнешь спину, а дотянул до нового года — зубы на полку клади, жрать нечего. А оброк — плати, недоимки тянут, а жить на что? Эх, жизнь собачья! Поправиться бы!..

Я боюсь исхудавшего отца. Неуютен сумрак чуланчика. Мне не терпится поскорей убежать на улицу, на солнышко, к сверстникам. Мое сердце еще не знает жалости и сострадания.

Болеет отец третий месяц. Он неузнаваемо изменился — высох, ввалились, потускнели глаза, стала серо-желтой кожа.

Постарела и исхудала мать. Свежие морщины резко обозначились на лбу и щеках, придав ее лицу еще более страдальческое выражение. Напряженно работая от восхода и до захода солнца, она не могла отдохнуть и в короткие ночные часы.

Подготавливая мать к беде, дядя Егор передал ей слова доктора о неизлечимой болезни отца. И ожидая его смерти, она стала бояться ходить к нему ночью в чуланчик одна.

Чутко подремав, она вставала, брала горящую всю ночь лампочку-коптилку и, разбудив Егора, шла вместе с ним в чуланчик. Поправив постель, напоив отца, поговорив с ним, мать забывалась коротким, настороженным сном.

Отец заметно с каждым днем угасал. Нередко омрачалось его сознание, он бредил.

— Вот и ладно, что ты здесь. А то пришли пьяные

хулиганы и хотели бить меня, — жаловался он матери. — Так и лезут, так и лезут с кулаками.

— Опамятуйся, Якимушка, кроме меня и Егорки, никого здесь нет.

Отец обвел чуланчик ощупывающим взглядом и успокоился:

— Значит, померещилось, али поснилось мне... Побудь со мной немножко да ступай поспи. Скоро утро, брежжить начинается.

...Ночь. В раскрытые окна избы вливается облегчающая прохлада. В избе тишина. Не жужжат мухи. Примолкли, утомившись, голосистые сверчки.

— Вставайте, ребята, вставайте! — тормошит испуганная мать Егора и меня. — С отцом что-то случилось. Слышите, стучит!..

Когда мы вошли в чуланчик, отец лежал не на постели, а на полу, пытаясь подняться.

— Унесите в избу скорей! — стонал отец. — Я боюсь... Страшно.

— Что ты, Якимушка, успокойся, бог с тобой! — суетилась около него мать. — Сейчас, сейчас снесем...

Разостлав одеяло и положив на него отца, мать и Егор внесли его в избу и опустили на пол, на солому, где спали мы.

— Ох, теперь полегчало... — шепчет отец. — Измучил я всех... Потерпите немного... Знаю, скоро и сам отмаюсь и вам покой дам, — заплакал отец.

Мать молчала, лгать не могла, а слов утешения не находила. Крупные слезы неудержимо струились по ее впалым, коричневым от загара, щекам.

...Праздничное августовское утро.

Мать топит печку, стряпает, Егор помогает ей. Таня сидит у окошка и грызет морковку. Я лежу на постели рядом с отцом. Его вид навсегда остался в моей памяти: лицо обтянуто сухой кожей, седая, неровная, отросшая борода. Широкий нос заострился.

Отец лежит на спине. Его согнутые в коленях ноги напоминают составленные углом палки, прикрытые ватным одеялом. Он изредка шевелит головой, отгоняя мух.

В избу волнами вливается гудение церковных колоколов. Еще не растаяла одна волна, как, ее догоняя, наплывает вторая, третья.

Вдруг послышались какие-то всхлипывания.

Я приподнялся и смотрю на отца.

Широко раскрыв рот, он пытается глотать воздух. Пальцы, сжимаясь и разжимаясь, теребили ворот рубашки. В уголках глаз, у переносья тускнели мутные капельки слез.

Таня слезла со скамейки, подошла к отцу, посмотрела на него и кинулась к матери:

— Мама, мама, а батя-то...

Отец скосил глаза на нее, потом отвел в сторону, уставился в потолок, вытянул ноги и застыл.

Мать опустилась перед ним на колени:

Отец не дышал...

Сергей Макаров

СЕРДЦЕ ТВОЕ ОГНЕВОЕ

Поэма

Может, так же, как он,
Будем долго на койке лежать мы,
Не угаснет у нас беспокойное
Сердце пока...
Вспоминается детство ему —
Золотая Елатьма,
Лес и светлая пойма,
Сады и родная Ока.

Так же скажут бесстрастно врачи:
— Вам нельзя волноваться.
Ни газет и ни радио.
Рядом — один валидол.
А за окнами утро веселое,
Запах акаций,
Теплый дождь, что сторонкой,
Как путник, прошел.

Серебрятся усы,
Но глаза удивительно сини,
Словно юность не хочет
Покинуть тех ласковых глаз.
Сын Рязанщины песенной,
Сын горделивой России,
Он прощается с жизнью
В этот трагический час.

Сердце бьется неровно —
Ударит и долго не слышно,
Вдруг опять застучит и замолкнет.
Еще не конец!
На дворе распускаются облаком
Нежные вишни,
Торопливую песню
Над форточкой тянет скворец.

То скворец ли? То веретено
И поет и стрекочет
В материнской натруженной
Милой руке.
Где ты, где, беспечальное детство,
Рыбацкие ночи
И раздольные плёсы
На дремлющей синей реке!

Было — не было всё.
На рассвете холодном и хмурым
(Навсегда он запомнил)
Парнишкой совсем молодым
Уходил за жар-птицей
На дальний и сказочный Муром,
Убегал от мужицкого пота,
От горя-нужды.

Что потом?
«Ах, профессор,
Сегодня вы очень некстати:
Никуда он не денется,
Этот мерцающий пульс».
Вспоминается Талка,
Чернявая девушка Катя,
Злобный посвист
Казацких неистовых пуль.

Вспоминается фабрика.
Был тот невзрачен и сер цех,
Где пары, как исчадие ада,
Где сырость и мрак.
...Как болит голова,
На куски разрывается сердце.

— Что, профессор,
Внимательно смотрите так?

— Мне совсем хорошо.
Но профессора разве обманешь?
Снова шприц, валидол
И наказ — тишина и покой.
За окном молодая весна
В расписном сарафане
Постучалась в палату
Зеленою веткой-рукой.

Боль ушла далеко, далеко.
Задремать бы немного
(Третьи сутки бессонница
Четко несет караул).
Снова в дальнее прошлое
Память находит дорогу.
...И мелькают батаны,
И ширится, ширится гул.

И гремит над станками
Ораторский голос бедовый:
— Забастовка!
— На улицу!
— Скажем гарелиным: «Нет!»
Депутатом тебя
Выбирали тогда на Садовой
В майский тот исторический
Славный рабочий Совет.

Годы, годы летят,
И тебе уже семьдесят пятый.
Через сколько огней ты прошел,
Через сколько смертей!
Ты сидел в одиночке,
Ты мерзнул в окопах солдатом,
Под расстрелами был,
Знал удары казацких плетей.

Правду Ленина сеял ты
В гуще рабочих предместий,
Чтобы солнце свободы

Взошло над моей головой.
Ты на Зимний бросался
С лихими матросами вместе,
Пел в строю:
«Это есть наш последний
И решительный бой».

Уезжая на фронт под Уфу,
Легендарный Чапаев
Командиров равнял
На отвагу и смелость твою.
Так прошла твоя молодость,
Теплого крова не зная,
Вся в походах и битвах
За светлую юность мою.

Ну, а дальше, а дальше?
Припомни, Владимир Иваныч.
Появилась семья,
И детишек ты начал растить,
Но остался собой:
Уходил ты и на день и на ночь,
Чтоб народную фабрику
Сразу в работу пустить.

Говорил:
— Нам, ребята,
Теперь отставать не годится:
Мы — рабочая власть,
А рабочему всё по плечу.
И с душевным волнением
Возил ты советские ситцы,
По наказу ткачей,
К дорогому нам всем Ильичу.

Вот и Кремль, кабинет. Доложили.
— Конечно, просите.
И навстречу текстильщику
Ленин с улыбкою встал.
— Из Иванова? Значит, народный,
Наш собственный ситец?
Молодцы! Передайте
Рабочим спасибо,— сказал.

Вечереет. Заря
Разбросала бесшумно в палате
Из червонного золота
Тонкие блики-цветы.
У кровати она,
Незабвенная, милая Катя,
И слезу на подушку
Роняешь нечаянно ты.

Вся седая, в морщинах
Но так же нежна и сердечна,
Как далекой весной,
Что слила ваши судьбы навек.
Кто сказал, что любовь
Мимолетна и недолговечна?
Никогда не любил, видно,
Серенький тот человек!

И воркуют они,
Словно два голубка под карнизом:
— Приезжает сыночек,
Машинных наук кандидат,
Дочь теперь инженером,
Купили вчера телевизор,
Расцветает у речки
Тобою посаженный сад.

Жить бы жить нам с тобой,
Только скинуть бы годиков двадцать...
— Ничего, нам из жизни
Еще уходить не пора!
Снова голос знакомый:
— Больной,
Вам нельзя волноваться.
И видением легким
У койки застыла сестра.

Вот ушла и жена.
Одиноко и скучно в палате,
Полумрак синеватый
(Конечно, опять не до сна).
Где-то бродит луна
В голубом и серебряном платье.

Расплескала над городом
Звонкие песни весна.

Золотым челноком
Где-то спутник летит по орбите,
Нами взнузданный атом
Дает электрический свет.
— Сердце, сердце мое,
На тебя я сегодня в обиде,
Я хочу еще в строй,
Нет, не кончилась
Жизнь моя, нет!

Ну, а сердце в тревоге —
Ударит и долго не слышно,
Вдруг опять застучит и замолкнет:
Наверно, конец.
И за окнами замерли
Бледные, бледные вишни,
И прощальную песенку
Вытянул честно скворец.

Что-то давит в груди,
На нее, словно обруч, надели
И сжимают, сжимают,
И боль нестерпимо остра.
Ах, как холодно стало!
И губы твои посинели,
Подползает змеею
Тобой не изведанный страх,

И дышать уже нечем.
Бессильной своею рукою
Ты не можешь нащупать
Дежурную кнопку звонка.
Да и незачем, собственно:
Сердце твое огневое,
Как звезда, догорело,
Но будет светить на века.

Иван Ханаев

ЧЕХОВ

Эскиз

Он глядит на сады Кочук-Коя,
На весеннюю пчел суету.
А на сердце томление такое,
Что становится неумогу.
Есть цветенью и силам граница.
Только жизнь все волнует сильней.
Как поверить и как примириться
С тем, что завтра расстанешься с ней!
Жизнь!.. Как много в ней пошлого, злого,
Узких нор, комариной судьбы!
И не ты ли, правдивое слово,
Русь поможешь поднять на дыбы?
Прыгнуть в светлую даль от застоя,
Электричеством землю залить,
Дать великое и простое
Людям счастье в руки — творить...
Невеселое время. А все же
Нет прекраснее этой земли,
На печальную песню похожей,
С негасимой надеждой вдали.
Где-то рожь в колебанье упругом
Выпрямляется, клонится вниз...
Высоко над нескошенным лугом
Немигающий ястреб повис.
По кустам, по деревьям и травам
Всё трубят басовито шмели,

И степенно к бревенчатым лавам
Голубые плывут голавли...
Он грустит по Москве. Не по нраву
Жить «не дома», считается больным.
Но свою стародавнюю славу
Защищает с усердием Крым —
Жирный, точно сметаной облит,
А земля такова, что как раз
Из посаженной в землю оглобли
Может вырасти вдруг тарантас.
Он смеется над образом этим,
Придвигает чернила, привстав...
— Нет, покуда мы дышим на свете —
Нам
Не запечатать уста!
Пусть и те, за щеколдами комнат,
Мир в футляр уместившие весь,
Этот голос услышат — и вспомнят,
Что Россия за комнатой есть!
В этой к бою готовности вечной,
В мягком взгляде тебя узнаю,
Самый грустный и самый сердечный
Из борцов за отчизну мою.

РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Еще не прокололись травы,
Сад неприглядно гол и тих,
И ветки яблони корявы,
Как будто нет и жизни в них.
Но чаще солнце землю греет,
Ручьям везде пути открыв,
И все сильнее в природе зреет
Могучий творчества порыв.
Уж косача мне слышно пенье —
Бурлит, воркует, как родник.
А завтра — зелень в наступленье
Поднимет миллионы пик.
И не осилить силу эту,
Неудержим ее напор.

Николай Гришин

ДОЖДЬ

Люблю я дождь, когда, задев нас краем,
Он с шумом хлещет ледяной водой.
Земля напьется досыта, мы знаем,
И сделается сразу молодой.

Еще сильнее и ярче вспыхнут всходы,
Деревья вскинут свой зеленый цвет.
Заденет дождь крылом и наши годы —
Мы станем вдруг своих моложе лет.

ДЕРЕВЦЕ

Прошло пять лет. А кажется давно
Я деревце сажал.
Меня не выше.
Всего пять лет! И вот теперь оно —
Кудрявое, в цвету до самой крыши.

И легкое такое на подъем,
Оно тянулось к солнцу и стучало,
Спеша расти.
Вот так и мы живем:
По времени как быстро ни растем,
А кажется, судя по жизни, мало!

ИЮНЬ

О, месяц июнь,
Что делать с влюбленными, с нами,
Кто молод и юн
Не только одними годами!
Зеленых садов
Цветущие ветви, качаясь,
Вишневых плодов
Возносят добротную тяжесть.
Не сад над прудом
Меня поднимает так рано:
Шагающий гром
Стального подъемного крана.
Люблю корпуса
Кирпичного серого дома.
Пусть даже краса
Была ему век незнакома.
Люблю мостовой
Покрытую камнем сторонку.
Люблю город мой,
Веселый, уютный и звонкий.
Я взглядом ловлю
Совсем незнакомых прохожих,
Зачем-то люблю
Лицом на меня не похожих.
Люблю еще я
Влюбленные карие очи.
Подруга моя,
Не спишь ты в июньские ночи!
Июней не счесть —
Лишь, вишня, цветением брызни!
Вот это и есть
Любовь настоящая к жизни.
Чудесный июнь,
Всегда, даже осенью, с нами,
Кто молод и юн
Не только одними годами.

Алексей Захаров

НЕВЕСТА

Рассказ

В темноватом коридоре конторы МТС я разглядел стеклянную табличку с надписью «партбюро» и толкнул светло-желтую, еще непокрашенную дверь. Из-за стола, накрытого какой-то тяжелой тканью, на меня глянул невысокий плотный мужчина лет сорока пяти, одетый в синий, хорошо пошитый костюм. Серые, неглубоко сидящие под бровями глаза, изучали меня навскидку, как схватывает мишень опытный стрелок. Я тоже бегло окинул взглядом его полнеющее лицо с чуть намечающимся вторым подбородком и зачесанными в сторону редковатыми волосами.

«Наверно, хороший семьянин, спокойный и добродушный», — почему-то решил я и назвался — кто и откуда.

— Любавин, секретарь партбюро, — ответно представился он. Голос у Любавина был чистый, высокий, немного не подходящий к его комплекции.

Нужного мне тракториста, депутата райсовета и героя будущего очерка на месте не оказалось: он только сегодня закончил сборку отремонтированной машины и переехал в отдаленный колхоз.

— Помаленьку распродаем нашу технику, — рассказывал Любавин. — А с нею переходят в колхозы и наши кадры. — Он посмотрел на меня пристально, что-то заметил и продолжал: — Да вы не беспокойтесь, мы его вам завтра во всей красоте представим. Если хоти-

те, вместе съездим в колхоз. «Легковушка» у нас на ходу.

Я поблагодарил и взялся за шапку.

— В гостиницу? — понял Любавин. — Ну, зачем же. Вон снег-то как лепит. У нас общежитие не хуже, чем гостиница в райцентре. Располагайтесь во второй комнате, а завтра отправимся. Мне давно надо было с лекцией ехать, да вот собрание задержало. Материалы сессии изучаем.

Я поднялся со стула.

— Да, кстати! — спохватился Любавин. — Во второй комнате вы встретите интересного человека. Правда, он собирается уезжать и сидит буквально на чемоданах, но, думаю, скучать вам не придется.

Любавин доверительно моргнул глазом и добавил: — Знаю ваше журналистское любопытство!

Заинтригованный столь необычным поворотом беседы, я уже забыл свое намерение отказаться от гостеприимного крова механизаторов и пошел во вторую комнату. Она была в другом крыле здания, найти ее не представляло труда. Но, открыв дверь после предупредительного стука, я остановился в нерешительности. Сюда ли попал? Тюлевые занавески на двух окнах, однотумбовый стол под узорчатой скатертью, в большой кадке фикус чуть ли не до потолка, справа и слева — две койки с хромированными спинками. На левой висел книзу рукавами темносиний китель.

— Заходите, что же вы, — повернулся в мою сторону рослый, плечистый мужчина в нательной рубашке и галифе, заправленных в легкие сапожки. Говорил он мягко, басовито, но без рокота, свойственного низким голосам. Одной ногой он стоял на полу, коленом другой придавливал крышку чемодана, однако закрыть ее не мог.

— Фу, запарился, — присел обитатель комнаты на кровать слева. Освобожденная от «пресса» крышка чемодана приподнялась, обнажив аккуратно свернутое драповое демисезонное пальто. — Спичка есть?

Привычным жестом курящего человека он размял папиросу и покатал ее во рту из угла в угол. Я поднес к ней горящую спичку и подумал: «Неужели так и не спросит, кто я и зачем?» — И, не скрывая любопытства,

разглядывал его крупное костистое бронзово-серое лицо с прямым мясистым носом. Такой цвет лица встречается только у пьющих да подверженных бессоннице людей. Но этот, конечно, был не из пьяниц: глаза у него были чистые, умные, карие зрачки окружала голубоватая кайма белка. Остается одно — бессонные ночи, неумеренное курение, горечь раздумий. Седину русоволосого человека заметить нелегко, но у этого виски были явно посыпаны пеплом.

— На ночлег? — осведомился он. — Устраивайтесь напротив да помогите вот фибрового дьявола скрутить. Будем знакомы — механик Истрин. Вернее, бывший.

Рукопожатие у него было безболезненное, но железное: каждый палец — вдвое толще моего.

— Куда это вы, товарищ Истрин? Вроде бы, к вечеру ворона на гнездо летит, а вы...

— И я «на гнездо». Пятно стирать еду...

Я удивленно раскрыл глаза.

— Удивляетесь? Ничего нет необычного. Проза жизни. Жил вместе, потом разошелся... Долгая история, — пустил он дым изо рта, — слушать надоест.

Настаивать не было смысла: не захочет рассказывать — не заставишь. Я принялся «скручивать фибрового дьявола», Истрин пришел помогать. Улучив момент, он захлопнул замок, и крутобокий чемодан был укрощен.

— А все же, плата за плату, — улыбнулся я, и устроился под фикусом. — Расскажите, какое у вас «пятно». Вы не очень спешите?

Он успел уже бросить первую папиросу и потянулся к столу за другой. «Волнуешься, друг, — подумалось мне. — Комплекция атлетическая, а нервы сдают». Истрин опять попросил спичку и с удовольствием закурил, заскрипев сеткой кровати.

— Ладно, расскажу. Только, — чур, — блокнота не вынимать.

Я дал слово. И если нарушаю его теперь, то меняю фамилии.

— Возрастом мы с ней уже не яровые, а спелые, — начал он. — Ей за тридцать, мне под сорок. Рука об руку шли не один год, а все же разминулись. Бывает вот так — и характером схожи, и в супруги гожи, а жизнь напоподам разлетается, как чурбак от колуна.

По сути дела, вспыхнули, как порох в ружейном патроне, выстрелили обидные слова, а они нас же самих рекошетом.

Расписанным, живущим в законном браке — тем куда лучше. Взбредет им блажь, дойдет до разнопутья — народный судья помирит. Из кожи вылезет, а помирит! И верно, к чему дурачиться взрослым людям? Ведь когда сходились, не kota в мешке покупали, знали и видели друг друга со дна и до покрышки. Знали и мы с Настей друг друга, в гражданском браке состояли по чести, по совести, но когда ссора вышла, мирить нас было некому...

Жили мы с ней — прямо цельнометаллически. Простили проверку огнем и водой. На фронте были вместе. Оглянулись после друг на друга, улыбнулись, расцеловались и сказали: «Ну, все — теперь рука об руку до конца жизни. Никакая туча не омрачит наше небо!» Да вот поди ж ты, не уберегли свое счастье от бури.

Не скажу, чтобы всегда между нами была тишь да гладь, «Настенька» да «Гришенька». Говаривала и она мне: «Гришка, ты у меня смотри! По лбу дам за такую дурь!» Строго, без шуточек говорила. И я верил — повтори хоть раз эту «дурь» — даст, не задумается, аж во лбу зазвенит. Словом, умная была, рассудительная, перехвалить не боюсь.

Сроднились мы с ней на твердой почве — колхозной земле. Техникум окончили сельскохозяйственный, только Настя стала агрономом семеноводческого колхоза, а я — механиком МТС. Хорошо, в целом, жили. Сельчане по нам молодоженов наставляли. Гуляет свадьбу, бывало, молодая пара, кричат ей: «Горько!» Целуются молодые, краснея, как маков цвет, а отцы да матери им совет дают: «Живите, как Истрины». Им и невдомек, что Истрин-то один я, а она Капустина. Эталонем, значит, для окружающих были, узаконенной меркой.

И верно — как вспомню подробности нашего прошлого, так в горле аж застрянет. Бывало, в посевную, когда мне по двести верст за день приходилось чертомелить по проселкам в пыльной кабине «летучки», изламывался я, как конь после перепаханного гектара. Приедешь в бригаду, смотришь — трактор по самые фары в землю зарылся. Спросишь у тракториста: «Что стряслось?» — «Что-то в нутре у него хрустнуло, — отве-

чает,— вот диагностирую». В это время из района в МТС телефон молнии мечет, из МТС радиоволна бригаду запрашивает: «Почему прироста в гектарах нет? Спите там, а не пашете». Обидно слышать такой разгон, когда от недосыпу глаза сами слипаются и маковой росинки во рту с утра не было. Не до жратвы, когда трактор в борозде на одно колено припал, а выходит, что мы, механизаторы,— не советские люди, что нам наплевать с высокой колокольни на посевные эти и на будущий хлеб. Нет, душа у нас не чужая, она тоже кипит и тревожится, когда «прироста в гектарах нет». Да не в нас загвоздка. Не надо было трактор на вязкое поле пускать, не готово оно, не просохло до нормы. Кабы техника эта золотая принадлежала колхозу, вряд ли бы нам пришлось биться, как рыба об лед: хороший хозяин не станет машины гробить. Вот вам и ответ на «почему стоите».

А попробуй сказать по радию то, что накипело, чтобы от корешков до вершков прошло? Громче прежнего разгон преподнесут, в недалёковидности обвинят или еще хуже — в отсутствии партийного осознания момента. Не все понимают, что тракторист, если бы мог, на крыльях по полю летал, а не в грязной жиже под трактором валялся с механиком вместе. Промолчишь, бывало, выслушивая разнос начальства, только зубами скрипишь, как заржавленной гайкой...

Пашем мы, как известно, круглые сутки. Трактористы-то хоть посменно работают, а механику всегда дела по горло. К ночи так намаешься, что больше не выдержишь. Плечи ноют, будто тебя цепями молотили, ладони в кровавых волдырях, кровь на них вперемешку с автосилом, нервы расхлябаны, как струна у непутевого шерстобита.

Вот таким-то красавцем часика в два ночи и заявляешься в родные пенаты. Щелкнешь выключателем, а жена на мягкой перине. Кудри подсолнечные на подушке разметаны, слабый румянец на обветренных щеках мерцает, и родинка под левым глазом видна.

Опустишься грязный на стул, голова книзу сама гнется. А Настю будто кто локтем толкает:

— Это ты, Гриша? — спрашивает. — Наконец-то, мученик, явился. Как тебя, сердешного, заездили...

А у самой глаза усталой синевой светятся, монголь-

ским прищуром смотрят спросонок. Помесила, знать, и ты рыхлого полюшка в резиновых сапожках, похлестал и тебя майский дождичек вплолам со снегом. Жалко так станет, что впору под замок запереть. Только знаю, бесполезно это: в трубу печную вылезет, а в поле, к народу, к посевному гомону убежит.

— Что ты шепчешь спросонья, капуста моя маринованная,— отвечаю Насте.— Кто меня заедит, бугая мослатого? Боишься похудею? Красоту потеряю? Не бойся. Скулы есть, хребет есть. Дальше худеть некуда. Но ведь кость в человеке — главная арматура. Были бы кости, мясо придет в гости.

Между прочим, капусткой я ее всегда называю в минуты поэтического чувства, только прилагательные меняю. Скажем, после бани, когда от нее паром, венником и жарким камельком попахивает, говорю ей «капустка моя свеженькая». Ну, а усталую, как после дня, проведенного в поле, или грустную, называю «капусткой маринованной». Такая уж овощная фантазия. Объясняю это тем, что с такими прилагательными она мне роднее становится: ведь и фамилия у нее Капустина.

Откидывает моя Настя одеяло малиново-клетчатое, садится босоногая на край кровати.

— Чего ты уставился? — спрашивает она в таких случаях, а сама глазом лукавит.— Пойдешь умываться,— вода теплая в печке стоит. Да хоть поешь раз за сутки.

Теплая вода, чистая одежда, свежие, румяные оладьи со сметаной глубокой ночью — это ли не благодать уставшему человеку?

Но не зря в народе говорится: «Слишком большое счастье долго не живет».

Должен вам сказать, что «капустка моя» — отменный знаток льноводства, большой экспериментатор. Сразу после войны достала она где-то на Опытной станции семена сицилианского льна-кудряша. Сияющая, радостная, прибежала ко мне в мастерскую, развернула в бумажке крупные семена-золотинки и рассказывает, что в Италии такой лен для канатного производства растят, волокно у него грубое и ужасно крепкое, а из семян масло выжимают, очень большой урожай зерна получается.

— Уж не думаешь ли ты в колхозе канатное производство открыть? — спрашиваю.

— Гаечник ты глупый, — ответила. — Стебли у сицилианского льна хотя и короткие, но толстые, есть база для выроста. Грубую волокнистость надо выжить из такого стебля, а крупнозернистость сохранить. Словом, облагородить, скрестив с нашим кряжевым льном-долгунцом. Получится новый сорт. Урожай семян и волокна увеличится вдвое.

— Так просто, — заметил я. — Зарядил ружье, прицелился, бахнул и убил сразу двух зайцев. Да на это может и десять лет будет мало. Попробуй-ка коротконожку корявого переделать в статного красавца.

— И переделаю! — сверкнула Настя глазами. — Если понадобится, то не десять лет, а всю жизнь отдам, — твердо сказала она. И я понял, что это не красивая фраза, что не отступит человек, если им руководит идея.

— Действуй, Настя. Вот моя рука, а с нею — моя поддержка.

Слова о поддержке она запомнила, и когда я их нарушил, это поразило ее, как гром, и обидело, и довело до разрыва. Произошло это через двенадцать лет, когда надежда в успех Настиной затее у меня исчезла, как призрак. Впрочем, не буду забегать вперед.

Посеяла Настя два сорта семян на опытном участке, день и ночь здесь проводит. Я жду результата, а она говорит: «Больно ты быстрый. Обожди годика три-четыре». И правда, на третий год у нее такое чудище вымахало, что страх меня взял. Я сказал ей, что для уборки таких стеблей еще и льнотеребилки не придумали. А она в ответ смеется: «Успеют, придумают: мне еще десяток лет нужен, чтобы грубую волокнистость ликвидировать».

Осенью, когда убрали урожай с опытных двадцати «соток» и обработали волокно, увидела Настя, что из такого волокна хоть и не канаты плести, но и не полотно ткать, мешки делать — в самый раз будет.

— Ну что ж, начало удачное, — сказала Настя. — Думай теперь, как реконструировать льнотеребилку.

Ничего себе, удачное, — усмехнулся я про себя. — Конопля выросла, а не лен. Чертополох какой-то. Стебли высотой с человека, зерно чуть не с горошину. Но,

между прочим, когда этот чертополох цвел, мне казалось — горит поле голубым пламенем, а ветер его раздувает все шире и все жарче. До того красиво, что красок не подберешь. Ради этой поэзии и дал я ей слово работать над совершенствованием уборочной машины.

Минуло еще семь или восемь лет. У Насти сдвиги, у меня никаких. Она грубоволокнистость почти изжила, а вот я испортил тонну ватмана и все понапрасну. Понял одно: чтобы свалить с корня зеленую массу, высотой чуть не с кукурузу, нужна машина особой мощности и прочности. Но когда я пытался придать особую прочность, выходило чересчур громоздко. С такой машиной не по полю — по асфальту ездить и двумя тракторами тянуть.

А Настя торопит: «Скоро ли твоя гора родит мышь? Гения в тебе нет, Гриша. Поеду в областное управление сельского хозяйства, может там конструктор найдется».

Обидело это меня, но что поделаешь: мелковат я масштабом, выходит. К тому времени о ней газеты всю трубили: «агроном-мичуринец», «новатор льноводства», «непроторенными тропами». В райсовет избрали. На мой взгляд, закружило ее это, как на карусели. Притупилась наша любовь, зачерствела, как позавчерашний хлеб.

— Поезжай, Настя, — смиренно ответил я, попридерживая злость. — Может, и впрямь моя мышь не родит тебе гору.

Три дня не было Насти в колхозе. Тут зябь поднимают, рожь под зиму засевают — моей не до того, отдала она контроль бригадирам. На четвертые сутки к вечеру заявила домой. Пока шла из райцентра, — это всего километр, — пробило ее осенним дождем до ниточки, да вижу — не чувствительна она к сырости и остуде: что-то сильнее ее потрясло, чем осенняя морозка. Села на стул, молчит, глаза в окно устремила.

— Разденься, Настя. Смотри — лужа на полу.

— Ты только лужи видишь! — вспыхнула она. — А что замерзла, как бездомная, не замечаешь? Черствые вы все, и ты, и те. бумажные короеды!

— Успокойся, капуста ты моя мокрая. Вижу, что замерзла, вот и предлагаю раздеться да на гору Айпечь взойти. Расскажи толком, что случилось.

Попробовал снять мокрое пальто с нее — вырвалась

от меня, уронила голову на стол, глухо сказала:
— Затянуло их мозги паутиной, дальше носа не видят...

— О ком ты?

— О ком... О специалистах в управлении. Засели, как за бетонную крепость, и отстреливаются словечками: «У вас гибрид, а не сорт». «Нет машин и не скоро будут, чтобы убирать вашу коноплю». А главного не видят — мой сорт «Богатырь» делает форменную революцию в льноводстве!

— Вот это им и не нравится, — говорю Насте. Её сторону я принял умышленно: успокоить хотел. — У них по старым методам льносеяния, по старым машинам научные труды написаны, а ты их одним махом перечеркиваешь.

— Значит, хоть ты-то со мной, Гриша? — резко повернулась она ко мне. — Скажи, ведь ты перестроишь уборочную машину?

Долго я молчал, не зная, что ответить. Сердцем был с Настей, а умом где-то возле тех «короедов». Может, они правы? Ведь и мне ничего не дали годы ночного копчения за чертежной доской, бессонные ночи и насквозь прокуренные занавески?

Истрин помолчал, потом встал, подошел к небольшому зеркалу на стене и, ни к кому не обращаясь, заметил: «Эх, Григорий, как же ты постарел за эти годы!» Потом успокоился, сел на койку и продолжал:

— Вот что, Настя, ты устала, — начал я осторожно. — Отдохни годика два, не майся...

— Ах, так? — вскочила она, сжав кулаки. — И ты с «короедами» заодно?

— Как хочешь называй, а машину я перестраивать не буду. Пустая затея. Да, пустая! У меня и в мастерской хлопот полон рот, то и дело инженер вздрючку дает. Надоели насквозь прокуренные ночи.

— Они мне тоже осточертели: не из чурки вытесана! Всем пожертвовала, все «Богатырю» отдала!

— Брось ты этот чертополох!

— Ну, знаешь... Я лучше тебя брошу, чем его!

Остолбенел я, присел на кровать, смотрю, не мигая. Потом вскочил да как хватил дверью по косяку — аж стекла в раме заплакали. Как был в одном пиджаке, так и убежал в МТС. По тому же самому дождю, по

той же дорожной хляби, по которой час назад шла Настя...

С тех пор — врозь. Прислала она мне с колхозным шофером пару чемоданов с одежкой, но хоть бы малюсенькую записочку — никакой. Это подбавило обиды...

— Ладно, Настасья Петровна! — стукнул я кулаком по столу, словно она здесь присутствовала. — Не я к тебе, а ты ко мне придешь на поклон! Не у меня, а у тебя дочь на руках осталась. Ей не чужой дядя, а отец нужен!

Так мне попервости думалось, когда жила в душе обида. Потом стал тосковать по дочурке Галинке, по самой обидчице, да гордость не позволяла перемирие заключить. Даже деньги ежемесячно по почте отправлял, хотя до дому — верста!

Много дум передумал, лежа по ночам на жестком топчане. Все реже и реже виделась мне ее неправота. Видимо, это и родило во мне новые силы для поисков за чертежной доской. Бессонным ночам не стало конца. Измучился, извелся. Вот, смотрите, на затылке — рубль серебром появился: лысеть начал.

Однажды зашел ко мне в первом часу ночи секретарь партбюро Дмитрий Иванович Любавин.

— Привет, полуношникам, — присел он сбоку стола, а сам по ватману глазами шарит. — Шел я мимо, из клуба до дому, смотрю — стены общежития раздулись. Что, думаю, такое? Оказывается, ты начадил, хоть колун вешай — не провалится.

Улыбнулся я, воткнул недокурок в горшок с фикусом, чертежи отложил.

— Подвигается дело? — спросил Любавин.

— Не похвастаюсь, Дмитрий Иванович. Принцип действия механизмов осилил, а вот запаса прочности машине не хватает. И выходит — шаг вперед, два шага назад...

Посмеялись мы, потолковали. Любавин обещал конструктора из области вытребовать. И верно, через месяц приехал конструктор с одного из машиностроительных заводов. Да вы должны его знать — Гребенников... Вдвоем работали мы намного быстрее. Зато и накуривали вдвое больше. В это время начал я замечать некоторые странности в своей келье: то молоко кто-то на

стол поставил, то занавески повесил. Любавин при встрече прятал глаза в сторону, хитрил.

Шла к концу зима. Чертежи мы в соавторстве преодолели, отправили машину в Министерство сельского хозяйства, описали, чем вызвано ее рождение (Настю, как селекционера, четырежды упомянули в сопроводительном письме). Через неделю приехала комиссия из Министерства, и прямо в колхоз — к Насте. Немножко обидно даже стало — почему не к нам... Обидно и радостно. После я узнал, что комиссия осматривала опытный участок, образцы семян, волокна, определяла его номерность. Пришла к выводу — дело стоящее. Только тогда нашей машине сказали: «господи благослови».

Март этого года мне вовек не забыть. Столько событий! В роман не поместятся, не то, что в рассказ. Первое и наиглавнейшее событие — передача техники в руки колхозников. Скажу прямо — не слышал я ни одного сомнения в надобности такой перестройки. Каждый из нас, «чумазных мазутиков», видел в ней прямой большак в завтрашний день: Колхозы начали покупать машины, трактористы — переходить в кадры колхозов. Понял я, что мое место — в рядах коммунистов и подал заявление в партию.

Собрание приурочили к обсуждению материалов сессии, вел его сам Любавин. Поначалу он стал перечислять мои заслуги:

— Товарищи коммунисты, перед нами не просто Григорий Истрин, механик МТС. Перед нами золотая голова, изобретатель, человек беспокойной мысли. Вместе с конструктором Гребенниковым он изобрел мощный льноуборочный агрегат. И я бы всем сердцем голосовал за прием его в кандидаты...

— Правильно! Принять! — раздались голоса.

— Но, товарищи, — поднял палец кверху Любавин. — Я начинаю сомневаться в таланте этого изобретателя.

Народ насторожился...

— Какой же он творец, человек пытливой мысли, если не может изобрести ключа... к сердцу жены!

Я глядел на Дмитрия Ивановича и чуть не плакал от радости: какой же ты золотой человек, дорогой ты мой товарищ Любавин, если насквозь видел все мое нутро, все муки моих бессонных ночей!

— Прошу ваши соображения, товарищи механизаторы...

Поднялся бригадир из шестой тракторной, мужчина рослый, с густой огненно-рыжей шевелюрой.

— Я за то, чтобы Истрина влить в наши партийные ряды,— начал он высокопарно.— Но прошу в решении записать: «Предложить товарищу Истрину в ближайшую неделю стереть пятно в биографии, ликвидировать развод».

— И зарегистрироваться! — лукаво подсказал Любавин.

— Слова! Мне слова! — выкрикнул Вова Шпунт, мой шофер с «летучки» и, не ожидая разрешения, выпалил: — Зачем на Григория Васильевича всех собак вешаешь? А Настасья Петровна не виновата? Из-за неё пятно это самое произошло. Мог ли стерпеть Григорий Васильевич ейную обиду? Нет, не мог, не имел никакого мужского права. Значит, Настасью тоже надо к ответственности призвать, как коммуниста.

— Загнул, Шпунтик, — понеслось с мест.

— Она вовсе не в нашей организации...

— Ну и что ж — в колхозную написать!

Любавин встал:

— В решении мы запишем только одно: принять механика Истрина в кандидаты партии. А по-дружески посоветуем Григорию: — Уйми ты глупую гордость, съезди к Насте на переговоры, ведь и она мучается...

Словом, проголосовали «за» — и стал я партийным человеком. Это второе событие марта. В третьем участвовал вскорости после второго: подал заявление о вступлении в колхоз «Прогресс». В ее, Настин, колхоз. Приняли меня. На правлении избрали заместителем председателя по технической части. Техники у них теперь много: семь тракторов, два комбайна, две льнотеребилки, десять автомашин, не считая таких мелочей, как сеялки-веялки.

Четвертое событие произойдет... дайте взглянуть на часы... да, произойдет ровно через десять минут. Я ведь, товарищ, «невеста». Раньше за невестами на тройке приезжали, с бубенцами, а сейчас за мной приедут на автомашине. Это Настя ее послала. Сижу, как говорится, на сундуках.

Но Истрин ошибся: машина уже пришла. По кори-

дору приближался легкий стук каблучков. Дверь открылась, и я увидел невысокую стройную женщину. Она была, бесспорно, хороша. Зимнее пальто с маленьким серым каракулевым воротником плотно облегалo ее фигуру. Из-под цигейковой шапочки выглядывали соломенного цвета завитушки. Овальное лицо горело румянцем, видимо, от волнения или легкого морозца. Румянец еще контрастнее подчеркивал маленькую родинку под левым глазом.

— Поехали, Гриша. Ты готов? — сказала она ласково и просто.

Истрин, конечно, ждал этой встречи, но растерялся. Лишь минуту спустя, мешковато шагнул вперед и поймал ее руку в свою широкую ладонь.

— Здравствуй, капуста моя хорошая!

Настя укоризненно повела глазами в мою сторону и улыбнулась.

Алексей Касаткин

ШУЙСКАЯ КАДРИЛЬ НА СЦЕНЕ КОЛОННОГО ЗАЛА

*Посвящается танцевальному
коллективу Шуйской
Объединенной фабрики*

Раскрылся занавес тяжелый...
Как будто где-то за рекой
Нарушил вдруг баян веселый
На сцене бархатный покой.

Как освещенные закатом,
Что гаснет в небе, не спеша,
Выходят парни и девчата
К руке — рука, к душе — душа.

Идут, приветствуя поклоном.
И вот заводят хоровод,
Как будто на лугу зеленом,
Где множество цветов растет.

Они то расходились грустно,
То в круг баян их собирал,
Как будто кто веночек искусно
То расплетал, то заплетал.

И многим в зале показался
Их танец радугой живой,
Большим цветком, что раскрывался,
Как перед утренней зарей.

Другие же про них сказали
В порыве нежности своей,
Что эту плавность переняли
Они у белых лебедей...

А мне все думалось в столице,
От Тезы ласковой вдали,
Что края милого частицу
Они в Колонный принесли.

РЕЧКА ВОЛЯ

Что блестит там на приволье?
Это наша речка Воля!
Не в тени лесов дремучих
И нависших ив плакучих,

Не во мгле седых туманов
И не в зарослях бурьяна,—
На виду течет она —
Так чиста, светла до дна.

В ясный день и в непогоду
Из нее беру я воду.
Если буду век я жить,
Буду век ее любить.

И клянусь, что не позволю
Нашу речку,
Нашу Волю
Злому недругу мутить!

СЫНОК

Он на руках моих — в надежной зыбке —
Барахтается трепетным птенцом.
И знаю я, что вновь его улыбка
Сейчас — как отсвет на лице моем.
Пусть это чувство дольше сохранится.
Оно и сыну в жизни пригодится.

Николай Часов

ГАЙКА

В своей бригаде слесарей,
Где стали звон да скрежет пил,
Я по оплошности своей
Однажды гайку обронил.

Не захотел ее поднять.
Что гайка? Не велик ущерб.
Когда же ночью лунный серп
Луч бросил на мою кровать,
То я уснуть не мог никак,
Летели думы на Урал,
Где в глубине земли горняк
Руду для гайки добывал.

Над гайкой той пролился пот,
И сердцу тем она мила,
Что в пятилетний план работ
Она частицею вошла.

Как я забыть все это мог?
Как я ее не уберег?
Ужели в нашей мастерской
Хозяин я еще плохой?

ВОВКА

Спешит домой с работы Вовка,
Лег на лицо его загар.
По брызгам красок на спецовке
Определяют все — маляр!

Дымит пахучей папироской
И, руки уперев в бока,
На всех своих друзей-подростков
Глядит он важно, свысока.

Ему завидуют ребята
В тени акаций да берез.
Ведь нынче первую зарплату
Мальчишка матери принес.

Геннадий Серебряков

ПОДСНЕЖНИК

В лесу пахнуло вешней прелью.
Остановись и помолчи.
Услышишь — еле слышной трелью
Под снегом шелестят ручьи.

Плеснуло солнце из-за тучи
Теплом по просекам лесным.
Берез оттаявшие сучья
Дрожат в предчувствии весны.

А на поляне, где валежник
Устало руки распластал,
Среди проталинок, подснежник
На ножке тоненькой привстал.
Лучом нечаянным пригретый,
Глядит на мир, глаза раскрыв.
Он — сгусток чистоты и света,
Он — жизни солнечной порыв.

НАД ОТКОСОМ

Ветер рвет облака
И взбивает их пеной молочной
Над селом, над рекой,
И над солнцем пронизанной рощей.

И готов я часами
Сидеть над зеленым откосом.
Тонко-тонко звенят
Полосатые смиренные осы.

Ветер рвет облака
И опять собирает их в кучу.
И бормочет река,
Жадно лижет суглинок под кручей.

Ястреб, крылья раскинув,
На бредущем мчится над лугом.
И стрекочут кузнечики
В белой ромашковой вьюге.

И душа, как копилка,
Наполняется трепетным звоном.
А по лугу косилка
Машет крыльями птицы зеленой.

И плывут облака,—
Им простор над Россией не тесен.
И томится душа
В ожидании будущих песен.

Д. Семеновский

ЕСЕНИН

Воспоминания

Я познакомился с Есениным зимой 1915 года в Московском народном университете им. Шанявского.

Университет Шанявского был для того времени едва ли не самым передовым учебным заведением страны.

Широкая программа преподавания, лучшие профессорские силы, свободный доступ — все это привлекало сюда жаждущих знания со всех концов России.

И кого только не было в пестрой толпе, наполнявшей университетские аудитории и коридоры: нарядная дама, поклонница модного Юрия Айхенвальда, читавшего историю русской литературы XIX века, и деревенский парень в поддевке, скромно одетые курсистки, стройные горцы, латыши, украинцы, сибиряки. Бывали тут два бурята с кирпичным румянцем узкоглазых плоских лиц. Появлялся длинноволосый человек в белом балахоне, с босыми ногами, красными от ходьбы по снегу.

На одной из вечерних лекций я очутился рядом с миловидным пареньком в сером костюме. Он весь светился юностью, светились его синие глаза на свежем лице с девически-нежной кожей, светились пышные волосы, золотистыми завитками спускавшиеся на лоб.

Лекция кончилась. Не помню, кто из нас заговорил первый, но только через минуту мы разговаривали, как старые знакомые.

Юноша держался скромно и просто. Доверчивая

улыбка усиливала привлекательность его лица.

Он рассказал, что работает корректором в издательстве Сытина, пишет стихи и печатается в журналах для детей. В доказательство он раскрыл пахнувший свежей краской номер журнала. Стихи мне понравились. Были в них какие-то необычные изгибы и повороты поэтической фразы. Под стихами стояла подпись: Сергей Есенин.

Вокруг нас, двигаясь к выходу, шумела публика. Мы тоже вышли из аудитории и продолжали разговор в коридоре.

Есенину было лет девятнадцать с чем-то, он был моложе меня только года на полтора, но казался мне почти мальчиком. Дело в том, что я чуть не на полголовы был выше его ростом, носил усы, переписывался с Горьким и уже напечатал несколько стихотворений в толстых журналах. Поэтому я смотрел на юношу немножко покровительственно, хотя в сущности сам нуждался в покровительстве больше, чем кто другой: жил я в Москве без паспорта, без приюта, ночуя у товарищей и питаюсь, чем придется. Выручала студенческая взаимопомощь. Со дня на день я ждал встречи с Горьким, который должен был приехать в Москву, но все не ехал.

Из шанявцев-литераторов Есенин, по его словам, никого не знал.

— Познакомился здесь только с поэтом Николаем Колоколовым, — говорил он, — бываю у него на квартире. Сейчас он — мой лучший друг.

Когда Есенин назвал фамилию Колоколова, у меня мелькнула мысль, не тот ли это Николай Колоколов, вместе с которым два года назад мы были исключены из Владимирской духовной семинарии за забастовку?

Действительно, это был он, в чем я убедился, отправившись на другой день по адресу, который дал мне Есенин.

Когда нас уволили из семинарии, Колоколову было шестнадцать лет. За полудетский облик товарищи называли его Колокольчиком. За два года он почти не изменился и даже не вырос, — по крайней мере, семинарская тужурка с выцветшим голубым кантом была ему еще впору. По-прежнему задорно торчал над его лбом клок белокурых волос. Прежними оставались в нем и

холодноватые голубые глаза, которым противоречил горячий характер.

Маленькая, узкая комнатка, которую занимал Колоколов, была завалена дешевыми журналами, рукописями, полосками бумаги.

— Вот поступил учиться в университет Шанявского, — весело рассказывал он, — только все некогда на лекции ходить. Много пишу.

И начал показывать номера журналов со своими стихами, рассказами, литературными обзорами, рецензиями.

— Берут все и даже деньги платят!..

Пришел раскрасневшийся от холода Есенин, разделся и повесил пальто на гвоздик. Было видно, что здесь он чувствует себя своим человеком.

Перед этим Колоколов получил гонорар и решил, по случаю встречи, устроить маленький пир. На столе красовались разные вкусные вещи, лежали хорошие папирсы.

За окном глухо гудела и возилась огромная многолюдная Москва, а у нас по-домашнему мурлыкал самовар, располагая к дружеским разговорам. Колоколов и я вспомнили Владимир, семинарию, товарищей. Есенин сказал:

— А знаете, ведь и я — семинарист.

До приезда в Москву из Рязанской губернии он тоже учился в семинарии, только не в духовной, в учительской. И говорил он по-рязански мягко, певуче.

Перелистывая книжку «Журнала для всех», Есенин встретил в ней несколько стихотворений Александра Ширяевца, — стихи были яркие, удалые. В них говорилось о катаньи на коньках, на санках, о румяных щеках и сахарных сугробах. Есенин загорелся восхищением.

— Какие стихи! — горячо заговорил он. — Люблю я Ширяевца! Такой он русский, деревенский!

Оказалось, что Есенин печатается не только в детском «Мирке» и «Добром утре». Он писал лирические стихи, пробовал себя в прозе и, по примеру Колоколова, тоже печатался в мелких изданиях.

Говорили о журналах, редакторах и редакторских требованиях. Самой жгучей темой тогдашней журнальной литературы была война с Германией. Ни один жур-

нал не обходился без военных стихов, рассказов, очерков. Не могли остаться в стороне от военной темы и мои приятели.

Наутро Колоколов накупил в соседнем киоске свежих газет и журналов. В одном еженедельнике или двухнедельнике мы нашли статью Есенина о горе обездоленных войной русских женщин, о Ярославнах, тоскующих по своим милым, ушедшим на фронт. Помнится, статья, построенная на выдержках из писем, так и называлась: «Ярославны». Кроме нее, в номере были есенинские стихи «Грянул гром, чашка неба расколота», впоследствии вошедшие в поэму «Русь», тоже проникнутую сочувствием к солдатским матерям, женам и невестам.

Искренние и сердечные строки молодого поэта выгодно отличались от ура-патриотических стихов многих именитых авторов. Позднее Есенин писал в своей автобиографии, что при всей любви к рязанским полям и соотечественникам он никогда не мог воспевать войну, ибо «поэт может писать только о том, с чем он органически связан». А органически, кровно Есенин был связан с тем миром, из которого он вышел, с полевым привольем, с деревней. И живя в большом городе, впитывая его культуру, Есенин оставался певцом этого родного ему мира. Он писал о сенокосах, цветистых гулянках, рекрутах с гармошками. Говорил:

— Напишу книжку стихов под названием «Гармоника». В ней будут отделы: «Тальянка», «Ливенка», «Черепашка», «Венка».

Как-то среди разговора о стихах Есенин сказал:

— Я теперь окончательно решил, что буду писать только о деревенской Руси.

И спросил меня:

— А ты как?

Мои тогдашние стихи тоже были о деревне, о родине. Стихи Есенину были близки. Нас роднила любовь к народному творчеству, к природе, к меткому и образному деревенскому языку.

Комната Колоколова на некоторое время стала моим пристанищем. Приходил Есенин. Обсуждались литературные новинки, читались стихи, закипали споры. Мои приятели относились друг к другу критически, они придирчиво выискивали один у другого неудачные строки,

неточные слова, чужие интонации. Оба горячились, на-скакивали друг на друга, как два молодые петуха, готовые подраться.

По-прежнему встречал я Есенина и в университете, а иногда мы с ним бродили по улице. С просторной Миусской площади, где находился наш университет, к Тверской вели тихие улицы и переулки с галками на седых деревьях за заборами и с ярлычками о сдаче комнат в окнах домов. Было приятно шагать по нешироким тротуарам, дышать зимним воздухом и разговаривать.

Чуть ли не в самом начале нашего знакомства Есенин сказал мне о своем намерении переселиться в Петроград. Мы шли по Тверской, мимо нас мчались лихачи, проносились, отсвечивая черным лаком, редкие автомобили. Есенин говорил:

— Весной уеду в Петроград. Это решено.

Ему казалось, что там, в центре литературной жизни, среди борьбы различных течений, легче выдвинуться молодому писателю. Звал с собой и меня:

— Поедем? Вдвоем в незнакомом городе легче, веселее. А денег достанем, заработаем...

Он словно предчувствовал свой будущий успех. Было жаль расставаться с этим славным юношей, с которым у нас завязались такие хорошие отношения. Но Петроград несколько не манил меня — и я промолчал. Есенин же, должно быть, принял мое молчание за согласие и стал всерьез считать меня товарищем предстоящего путешествия за славой и признанием.

Запомнилось, как в другой раз, сойдясь в университете, мы с Есениным пошли в буфетную комнату, где всегда было много народу. Помешивая ложечкой чай, Есенин говорил кому-то из подсевших к нам знакомых:

— Достану к весне денег и поеду в Петроград. Возьму с собой Семеновского...

Здесь, в буфетной комнате, я читал Есенину свою поэму.

Была она не лучшим моим творением, но я гордился тем, что ее перепечатала из «Старого Владимирца» какая-то другая провинциальная газета. Есенину поэма, должно быть, тоже нравилась — по крайней мере, при удачных строках он издавал одобрительные восклицания, и его глаза сияли.

К этому времени Есенин знал, кажется, всех литера-

торов-шанявцев. То были люди разных возрастов, вкусов, взглядов.

Самым авторитетным среди них считался автор социальных поэм Иван Филипченко, человек в пенсне, с тихим голосом и веским словом. Молодой брюнет с живыми улыбочивыми глазами на матовом тонком лице, Юрий Якубовский был художником и поэтом. Писали стихи: сибиряк Янчевский и приехавший из Баку Федор Николаев, сын крестьянина с Урала Василий Наседкин и дитя богемы, голубоглазая, с желтыми локонами, падавшими из-под бархатного берета, Нелли Яхонтова.

Среди этой компании Есенин сразу получил признание. Даже строгий к поэтам непролетарского направления Филипченко, пренебрежительно говоривший о них: «мух ловят»,— даже он, прочитав за столиком буфетной комнаты свежие и простые стихи Есенина, отнесся к ним с заметным одобрением.

Обаяние, исходящее от Есенина, привлекало к нему самых различных людей. Где бы ни появился этот симпатичный, одаренный юноша, всюду он вызывал у окружающих внимание и интерес к себе. За его отрочески нежной наружностью чувствовался пылкий, волевой характер, угадывалось большое душевное богатство.

Жил Есенин у дальних родственников.

Однажды вечером мы с Колоколовым зашли за ним, чтобы куда-то вместе пойти.

Дверь нам открыла какая-то женщина. Узнав, что мы к Есенину, она провела нас из прихожей в просторную комнату, освещенную высоко подвешенной электрической лампочкой. Есенин поднялся навстречу нам из-за большого черного стола, на котором одиноко стояла чернильница с красными чернилами. Он держал листочек бумаги с мелко написанными строчками стихов.

Комната показалась нам неудобной и холодной.

Понизив голос и опасно поглядывая на дверь, которая вела в хозяйскую половину, Есенин говорил, что давно уехал бы отсюда, но хозяева заняли у него крупную сумму денег и не отдадут.

— Вот и живу тут!..

Втроем мы ходили фотографироваться. По дороге Есенин оживленно говорил:

— Нам надо издать коллективный сборник стихов.

Выпустим его с нашими портретами и биографиями. Я берусь это устроить.

Снялись мы пока на общей карточке, отложив фотографирование для задуманного сборника на будущее.

Сборники писателей из народа с портретами и биографиями авторов были тогда в ходу. Издавали их сами авторы вскладчину. Наиболее крупным объединением писателей из народа был литературно-музыкальный кружок имени Сурикова. Выяснилось, что Есенин хорошо знаком с суриковцами.

Он повел меня к ним и познакомил с председателем кружка поэтом С. Кашкаровым, дородным мужчиной в очках с золотой оправой.

Был солнечный мартовский день — и мы от Кошкорова пошли к жившему в Замоскворечьи гуслеару-суриковцу Ф. А. Кислову.

— Хороший старик, — говорил по пути Есенин. — Я у него бывал. Ласковый такой!..

Дул влажный, совсем весенний ветер. По-весеннему, гулко гремели и звонили трамваи.

На извозчичьих стоянках стаи голубей клевали вытаявший навоз. Разомлевшие от горячего солнца извозчики в толстонаваченных длиннополых кафтанах, сидя на облучках санок, лениво переговаривались, а их взлохмаченные лошадки дремали над подвязанными к мордам торбами с овсом.

Есенин раздумянился от ходьбы, от весеннего воздуха. Расстегнув верхние пуговицы зимнего пальто и сдвинув на затылок круглую шапку с плюсовым верхом, он щурился от солнца, от ослепительно блестящего снега с синими тенями и что-то напевал.

На крыльце одноэтажного дома мы позвонили. Нас встретил седобородый старичок в длинном сюртуке. Он весь лучился добротой, радушием. Увидев Есенина, обрадовался:

— Сережа, милости просим!..

Раздевшись в прихожей, мы попали в небольшой зал. Солнце пробивалось сквозь кисейные занавески и листву комнатных цветов, клало на стены и крашеный пол золотые пятна. От рисунчатых изразцов по-зимнему натопленной печи веяло жаром. Гусли были большие, стояли на черной лакированной подставке. Музыкант уселся на табуретку, старчески негнувшимися пальцами прикоснулся

к зазвеневшим струнам, взял аккорд и слегка дребезжащим голосом запел:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

Песни, которые исполнялись Ф. А. Кисловым, суриковский кружок издал отдельной книжечкой с портретом старого гусяра на обложке.

Добрый старик дал нам по книжечке на память.

Перебирая струны, он предложил Есенину:

— Хочешь, Сережа, научу тебя играть на гусярах?

Были в репертуаре гусяра и старинные русские песни, и плач Иосифа Прекрасного, и псалом царя Давида, переложенный в стихи Дмитрием Ростовским. Была в книжечке и песня о гусярах, написанная, видимо, кем-то из поэтов-суриковцев:

Гусли-самогудочки звонко голосистые,
Спойте-ка мне песенку, что былой порой
Струны ваши тонкие звуки ваши чистые
Разносили по полю, по земле родной...

Пока мы слушали музыку, в соседней комнате, где блестяли серебряные оклады божницы, румяная старушка, жена гусяра, ставила на стол чайную посуду, тарелки с нарезанным пышным и румяным пирогом...

Простившись с хлебосольными хозяевами, мы вышли на улицу и вскочили на подножку подходящего трамвая.

В почти пустом вагоне Есенин встретил знакомого, тоже, кажется, суриковца, — везло нам в этот день на встречи с ними. Это был юноша рабочего вида, поэт Устинов. Сидя напротив нас, он доверительно рассказывал Есенину о своих делах. Напечатал первую книжку стихов, и тут же за нецензурность она была конфискована. Удалось спасти только несколько экземпляров.

Есенин посочувствовал поэту. А в вагоне так пахло хмельным воздухом весны, что и сам Устинов не мог долго печалиться о конфискованной книжке. С улыбкой махнул рукой и пошел к выходу.

Он сошел, а мы поехали на Арбат. Пустой вагон мотался и гремел, за полуоттаявшими окнами проплывали здания, вывески, фонари, прохожие.

Мы решили навестить Юрия Якубовского. Жил он

вместе с молодой женой Марианной и недавно родившейся дочкой.

В студенческой комнате Якубовских было много развешенных по стенам рисунков работы хозяина, занимавшегося живописью, и совсем мало мебели. Все же кое-как уселись. Марианна видела Есенина впервые и захотела познакомиться с его стихами. Есенин начал читать. И оттого ли, что в его сердце все еще звенела весенняя радость или от сочувственного внимания слушателей, читал он охотно и много. Его не приходилось упрашивать. Прочитав одно стихотворение, Есенин тут же переходил к другому.

— Он пел, как птица, — говорил потом Якубовский, вспоминая наше посещение.

Ходили мы на творческие собрания сотрудников журнала «Млечный путь». Этот маленький литературно-художественный журнал, издававшийся поэтом-приказчиком А. М. Чернышевым, стал для многих начинающих авторов путем в большую литературу.

Алексей Михайлович Чернышев был замечательным человеком. Весь свой заработок он тратил на журнал. Сам тоже писал стихи. Его брат, художник Николай Михайлович, украшал журнал рисунками и был одним из виднейших знатоков фрески.

Сотрудники журнала получали корреспондентские билеты с русским и французским текстом.

Печатались в журнале молодые безымянные писатели. Среди них Есенин был едва ли не самым юным, и все, собиравшиеся в редакции «Млечного пути», — относились к нему особенно любовно и ласково.

Сидя за большим столом, поэты и беллетристы читали свои произведения. Читал и Есенин:

Выткался на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется — на душе светло.

Светла была душа поэта. Верилось, что ни одно облачко не омрачает ее.

Подчас Есенин казался проказливой мальчишкой. Беспричинное веселье так и брызгало из него. Он дурачился, делал вид, что хочет кончиком галстука утереть нос, сочинял озорные частушки.

То ли в шутку, то ли всерьез ухаживал за некрасивой поэтессой, на собраниях садился с ней рядом, провожал ее, занимал разговором. Девушка охотно принимала ухаживания Есенина и, может быть, уже записала его в свои поклонники.

Но однажды мы вчетвером — Есенин, Колоколов, я и наша поэтесса — сидели в гостях у поэта Ивана Коробова. Хозяин зачем-то вышел, оставив в комнате нас одних. Мы знали, что наша спутница считает себя певицей, и кто-то из нас попросил ее спеть. Девушка запела. Слушать ее было невозможно. Голос у певицы был носовой, слух отсутствовал.

Мои приятели, прячась за стоявший на столе самовар и закрывая лицо руками, давились от смеха.

Я боялся, что их неуместная веселость бросится певице в глаза. Но, увлеченная пением, она ничего не замечала — и романс следовал за романсом.

Через несколько дней девушка пригласила поэтов «Млечного пути» к себе.

— Завтра у меня день рождения, приходите!

Пошли Есенин, Колоколов, Николаев и я.

Сидели за празднично убранном столом. Старшая сестра поэтессы познакомилась с нами и скромно ушла в соседнюю комнату. Бутылка легкого вина повысила наше настроение. Виновница торжества светилась радостным оживлением, мило улыбалась и обносила гостей сладким пирогом. С ней произошла волшебная перемена. Куда девалась ее некрасивость! Она принарядилась, казалась женственной, похорошевшей.

Футурист-одиночка Федор Николаев, носивший черные пышные локоны и бархатную блузу с кружевным воротником, не спускал с нее глаз. Уроженец Кавказа, он был человек темпераментный и считал себя неотразимым покорителем женских сердец. Подсев к девушке, Николаев старался завладеть ее вниманием. Я видел, что Есенину это не нравится.

Когда поэтесса вышла на минуту в комнату сестры, он негодуя крикнул Николаеву:

— Ты чего к ней привязался?

— А тебе что? — сердито ответил тот.

Произошла быстрая, энергичная перебранка. Закончилась она тем, что Есенин запальчиво бросил сопернику:

— Вызываю тебя на дуэль!

— Идет,— ответил футурист.

Драться решили на кулаках.

Вошла хозяйка. Все замолчали. Посидев еще немного, мы вышли на тихую заснеженную улицу. Шли молча. Зашли в какой-то двор с кучами сгребенного снега, смутно белевшими в ночном сумраке.

Враги сбросили с плеч пальто, засучили рукава и приготовились к поединку. Колоколову и мне досталась роль секундантов.

Дуэлянты сошлись. Казалось, вот-вот они схватятся. Но то ли снежный воздух улицы охладил их пыл, то ли подействовали наши уговоры, только дело кончилось примирением.

После этой несостоявшейся драки я понял, что ласково улыбающийся рязанский паренек умеет и постоять за себя.

В конце апреля в Москву приехал Горький — и я, наконец, увиделся с ним. Моя цель была достигнута.

После свидания с Горьким и тех окрыляющих слов, которые я услышал от него, мне захотелось сосредоточиться в себе. Да и скитальческая жизнь в Москве так утомила меня, что я решил расстаться с нею. Простившись с Горьким, я отправился прямо на вокзал и уехал в родное село.

Переселение Есенина в Петроград совершилось без меня. Мы встретились уже после революции.

**

*

Осенью я услышал имя Есенина в Финляндии на даче Горького.

Молодой брюнет в студенческой тужурке, армянский поэт В. С. Терьян рассказывал Алексею Максимовичу и его гостям, что в литературных салонах Петрограда появился новый талантливый поэт Сергей Есенин.

— Это простой крестьянин. Совсем еще юноша, но своими яркими, образными стихами заставил говорить о себе весь литературный Петроград.

Алексей Максимович отнесся к сообщению Терьяна с интересом. Узнав, что я встречался с Есениным в уни-

верситете Шанявского, задал несколько вопросов и мне.

Через несколько времени стихи Есенина стали печататься в «Летописи».

Звезда Есенина разгоралась все ярче. Бурно развивалось его дарование, быстро росла известность.

Приехав в начале 1919 года в Москву, я решил зайти в издательство ВЦИК, чтобы повидаться с работавшим там Б. А. Тимофеевым.

Был яркий морозный денек. Москва тонула в сугробах. На улице попадалось много народу. Пестрели полшубки, солдатские шинели, шапки-ушанки, мешки. Плотное утоптанное снег звонко скрипел под ногами прохожих. Зеркальные стекла витрин на Тверской разрисовал мороз.

В издательство я попал к концу рабочего дня. Тимофеев сидел за своим секретарским столом и писал. Его студенческую шинель сменила кожаная куртка. В годы войны он работал в санитарном фронтовом отряде. Написал первый в русской литературе роман о мировой войне «Чаша скорбная». После февральского переворота ездил в Иркутск освобождать ссыльных революционеров. Вернувшись в Москву, участвовал в Октябрьских уличных боях.

После первых же приветственных слов Тимофеев протянул мне книгу в пестром ситцевом переплете:

— Это, брат, мы выпустили «Пролетарский сборник». Тут есть и твои стихи.

И послал меня получать гонорар. Из-за позднего времени денег мне не выдали,— и Тимофеев повел меня к себе на квартиру. Дорогой сказал, что живет вместе с Гусевым-Оренбургским и Сергеем Есениным. На мои расспросы о Есенине ответил, что он нигде не служит и живет стихами.

В переулке, выходящем на Тверскую, мы вошли в подъезд большого дома и по лестнице поднялись наверх. На звонок дверь открылась, и я увидел Есенина. Это он и впустил нас в квартиру. Есенин сразу узнал меня, несмотря на мою кроличью шапку, валенки, башлык и короткую ватную тужурку, в которой я имел вид какого-то рекрута.

— Ты одеваешься под деревенского парня,— одобительно сказал Есенин.

— А это что за крест у тебя на щеке? — спросил он о давнишнем шраме, будто впервые заметив его.

Сам он очень возмужал. Широкогрудый, стройный, с легким румянцем на щеках, он выглядел сильным и здоровым. Есенин показал мне свою комнату. В ней стояла койка, стул с горкой книг на сиденьи. На стене я увидел нашитый на кусок голубого шелка парчевый восьмиугольный крест. Служил ли он простым украшением или выполнял другое назначение, я не спрашивал.

Тогдашние стихи Есенина были насыщены церковными словами. Он пользовался ими для того, чтобы говорить о революции. Тут были и голгофа, и крест, и многое другое. Скоро в стихах Есенина появились иные метафоры, и, может быть, крест на стене был последним его увлечением церковностью.

Тимофеев оставил нас вдвоем. Мы вспомнили знакомых поэтов. Я спросил о Сергее Клычкове. Есенин сообщил, что с Клычковым жил в одной комнате. Рассказал о приезжавшем в Москву Николае Колоколове. Он находился теперь в родном селе, откуда я иногда получал от него письма с новыми стихами.

Я напомнил Есенину о его юношеской повести «Яр», печатавшейся в 1916 году в журнале «Северные записки». Мне хотелось спросить Есенина, откуда он так хорошо знает жизнь леса и его обитателей? Но Есенин только рукой махнул и сказал, что считает повесть неудачной и решил за прозу больше не браться.

— Читать люблю больше прозу, а писать — стихи.

— Что же ты сейчас читаешь?

— Моление Даниила Заточника.

Разговор перешел на Иваново, на мои дела.

— Говорят, что ты ругал меня в Ивановской газете? — спросил Есенин.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, вот.

Оказалось, что в Иваново живут родственники жены Есенина, от них он и узнал о моих писаниях в «Рабочем крае». В рецензии на «Голубень» я писал, что строчка: «Смерть в потемках точит бритву» — вызывает у меня представление о парикмахерской. Впрочем, должно быть, моя критика не задела Есенина.

— А кто это у вас написал на меня пародию? — спросил он.

Автором пародии был тоже я.

— А ну, почитай!

Я начал:

Слава в вышних богу,
Деньгам на земле!
Стало понемногу
Туже в кошеле.

Есенин обиженно перебил:

— Неужели ты думаешь, что я пишу из-за денег?

Я продолжал:

Разве я Есенин?
Я — пророк Илья.
Стих мой драгоценен.
Молодчина я!

Читая, чувствовал, что моей пародии не хватает остроты.

Во время чтения в прихожей раздался звонок. К Есенину пришел гость, поэт Анатолий Мариенгоф.

По просьбе Есенина я еще раз прочитал пародию. Прослушав ее, Мариенгоф сказал:

— Нет, Сережа, трудно тебя пародировать. Ты — сам на себя пародия.

Он звал Есенина в кафе, где по вечерам поэты выступали со стихами. Есенин сначала было согласился, но потом раздумал:

— Лучше я посижу сегодня дома, поработаю.

Мариенгоф ушел. Стемнело. Включили свет.

Есенин сидел за столом и готовил для издательства ВЦИК сборник стихов. Он наклеивал страницы своих прежних книжек на чистые бумажные полосы и складывал их в стопку.

Работа спорилась. Я смотрел, как Есенин с угла на угол проводит кисточкой с клеем по изнанке страницы и, наложив мокрый листок на чистую бумагу, разглаживает его ладонью.

Он хотел дать новому сборнику длинное стилизованное название: «Слово о русской земле», и еще как-то дальше.

Покончив с работой, Есенин взял лежавшую на столе книжку. Это был сборник стихов Н. Клюева «Медный кит». Он прочел первые попавшиеся на глаза строки:

Низкая деревенская заря,
Лён с берестой и с воском солома, —
Здесь всё стоит за царя
Из Давидова красного дома.

Есенин усмехнулся:

— Ах, Николаша! Никак он не может обойтись без царя!

Закрыв книжку, он заговорил о том, что теперь, после революции, нельзя писать по-старому. О новом нужно говорить новыми словами.

— Вот и Клычков пробует писать по-новому,— сказал Есенин.

Поэт Сергей Клычков был товарищем Есенина по издательству «Трудовая артель художников слова». Год назад друзья под маркой этого издательства выпустили несколько сборников с пометкой на обложке: «2-й год 1-го века». На этом деятельность издательства прекратилась.

Но у Есенина уже намечались новые литературные планы. Творческие силы и замыслы кипели в нем. Ему мало было писать просто хорошие стихи. Он хотел быть открывателем новых путей. В брошюре «Ключи Марии» он изложил свои взгляды на литературное творчество, на роль образа в поэзии.

У него появились новые друзья и единомышленники. Правда, еще не было имажинистских манифестов, не было сборников с кричащими названиями. Мариенгоф служил в издательстве ВЦИК бухгалтером, Шершеневич не доказывал, что « $2 \times 2 = 5$ ». Но слово «имажинизм» уже прозвучало. В этот вечер я узнал о новом поэтическом течении подробнее.

Тимофеев посоветовал мне тоже предложить в издательство ВЦИК сборник стихов. Он торопил меня с представлением рукописи: от срока присылки зависела судьба издания. Поэтому, переночевав, я начал готовиться к отъезду.

Тимофеев ушел на работу. Гусев-Оренбургский сидел в своей комнате и писал. Из коридора в неприкрытую дверь было видно его склоненное над столом, старчески обрюзгшее лицо.

На прощание Есенин захотел послушать мои стихи... Я стал читать. Есенину не понравилась строчка: «За границей бытия».

— За границей,— повторил он, как бы подчеркивая прозаичность выражения. Зато в стихотворении «Мерин» отметил строчки:

И тянет его из стойла
В дымящиеся луга.
Там розы душисты, как миро,
Там травы ярче парчи,
А здесь вонюче и сыро
От конской едкой мочи.

— Это здорово!

Он весь засветился, как умел светиться, встречая в журналах стихи, приходившиеся ему по вкусу.

Потом начал читать свое. Устремив взгляд в пространство, вытянул перед собой руки. Театральные жесты Есенина не вязались с его рязанским деревенским говорком и производили комическое впечатление. Следя за жестикуляцией и мимикой чтеца, я чувствовал, что ни одно слово не доходит до моего сознания. А стихи, наверно, были хорошие. В новых сборниках Есенина встречались такие жемчужины, как стихотворения: «Нивы сжаты, рощи голы», «Закружилась листва золотая» и др. Приходилось только удивляться, как за короткий срок он так далеко шагнул в своем развитии — от скромного начинающего поэта до того большого мастера поэзии, каким он стал теперь.

Покончив с чтением стихов, мы пошли в издательство: я — проститься с Тимофеевым, Есенин к своему новому другу Мариенгофу.

Несмотря на голодное время, на улице шла бойкая торговля. Продавали папиросы, съестное, разную рухлядь.

Есенин купил у одного из уличных торговцев пакетик соленых огурцов. Всю дорогу по его пальцам стекал на снег огуречный рассол.

Мы пришли в издательство.

Аккуратный пробор Мариенгофа склонился над толстыми бухгалтерскими книгами. Передав другу размокший пакет, Есенин сказал:

— Наслаждайся!

Он остался с Мариенгофом, а я пошел по своим делам. Когда я вернулся на квартиру Тимофеева за вещами, Есенин был уже дома.

Он просматривал свежую книжку литературно-критического журнала со статьей о современной поэзии. Я видел ее еще накануне.

В статье упоминалось имя Есенина, цитировался отрывок из его поэмы «Певущий зов». Поэма не нравилась критику — он находил ее архаичной по языку. Увы, дальше приводилось и начало моих стихов из «Пролетарского сборника». Автор сближал их с есенинской поэмой.

— Читал? — спросил меня Есенин. И задумчиво прибавил:

— Трудно придется нам с тобой.

Я увязывал стопку книг, среди которых были два сборника, подаренные мне Есениным. Затем стал одеваться.

Есенин вышел со мной на улицу.

Как и накануне, сквозь легкий мороз пригревало солнце. Улица празднично белела и искрилась.

Мы простились, и я отправился на вокзал.

И снова я около четырех лет не видал Есенина.

**

Жизнь Есенина была на виду. Для многих он стал любимым поэтом. Журналов с его стихами ждали.

О Есенине время от времени писал мне Колоколов. А Сергей Клычков, работавший секретарем журнала «Красная новь», говорил при встрече:

— За Сережей не угонишься, он обскакал нас всех. Вчера прочитал нам стихотворение, которое мы поместим в журнале. Стихотворение такое, что сразу запомнилось мне от первого до последнего слова. Вот оно.

И Клычков начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу...

Это говорилось накануне отъезда Есенина за границу.

Было известно, что он сошелся с Айседорой Дункан. С ней-то он и полетел на самолете за границу, побывал в Берлине, Париже, Нью-Йорке, вернулся домой один. Его стихи становились все грустнее. В них появились ноты усталости, надрыва. Есенин надел маску хулигана и скандалиста. Что-то томило и мучило его.

Осенью 1923 года, в надежде встретиться с Есениным, я зашел в кафе «Стойло Пегаса», где по вечерам выступали поэты-имажинисты.

Пришел я рано, было еще светло. Публики в кафе было мало. В буфете мне сказали, что Есенин сейчас в Москве, бывает в кафе каждый вечер, придет и сегодня.

Я стал ждать. Прихлебывая кофе, в двадцатый раз читал надпись на стене:

Веслами отрубленных рук
Мы гребемся в страну грядущего.

Выведенные черной краской эти и другие строки имажинистских стихов, пересекаясь, бежали в разных направлениях по светлым стенам кафе. А зал постепенно наполнялся народом. Пришел и Есенин.

Он показался мне высоким и плечистым. На нем был новый серый костюм, но пресловутый цилиндр на голове заменяла обыкновенная кепка. Его лицо было все еще свежим и привлекательным.

Мы сидели за столиком и разговаривали.

— Я слышал, что ты женился, — говорил Есенин. — Ну, как? Нравится? А у меня, брат, много жен было. Сейчас я влюблен вон в нее.

И он кивком головы указал на сидевшую за соседним столиком блондинку в светло-сером пальто. В ней не было ничего особенного. Да, пожалуй, и сам Есенин был влюблен не очень сильно.

Вдруг он задиристо сказал:

— Вы в «Млечном пути» считали меня дураком, смеялись надо мной...

Эти слова удивили меня. Никто в «Млечном пути» над Есениным не смеялся, и сейчас в его фразе сквозила болезненная мнительность, которой я раньше в Есенине не замечал.

А Есенин, вспомнив «Млечный путь», может быть, вспомнил и университет Шанявского и его поэтов.

Он начал читать мое стихотворение:

Плачет, плачет очами бессонными
Безотрадная серая высь...

Стихотворение было написано еще в семинарии, я отдал его в «Вестник шанявца», где оно, вероятно, и было напечатано. Я теперь стеснялся его, но Есенин про-

читал наизусть все шестнадцать строчек, не сделав ни одной ошибки.

Чтобы перевести разговор на другое, я пошутил:

— Напрасно тебя называют крестьянским поэтом. Даже я больше крестьянин, чем ты. Я летом пахал, косил, а ты что делал?

Есенин засмеялся:

— Так не по паспорту же определяется направление поэта.

Потом я заговорил о том, что читал в «Известиях» его очерк об Америке «Железный Миргород».

— Разве было напечатано? — равнодушно спросил Есенин. — Я не видал этого номера.

— Ты должен бы больше писать прозой, она тебе удается, — сказал я.

— Нет, проза у меня хуже стихов, — ответил Есенин, — я буду писать только стихи.

— А почему ты не напишешь, как ты летал? — спросил я. — Тема такая интересная!

— Может быть, и интересная, да в душе не прозвучала, — ответил Есенин.

В кафе пришли Мариенгоф и Шершеневич. С ними был какой-то военный с румяным, полным лицом. Поэты с военным прошли вглубь кафе и заняли стол у стенки. Мы с Есениным тоже перешли к ним и поместились за соседним столиком.

Военный начал показывать поэтам свой револьвер. Есенин сказал:

— Эх, было время, когда и мы держали в руках такие штучки!..

Известно, что в ответ на обращение Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности», написанное В. И. Лениным в связи с немецким наступлением в 1918 году, Есенин записался в боевую дружину.

Появился в кафе и очень юный поэт Иван Приблудный, который, как оказалось потом, выполнял роль есенинского адъютанта.

Круглое лицо поэта дышало деревенской свежестью. Голубая вязаная рубашка обтягивала его широкую грудь.

Есенин подошел к военному и попросил у него взаймы десять рублей.

Получив новенький червонец, он передал его Приблудному:

— Отнеси сейчас моей сестре. Без копейки сидит.

Юный поэт отправился в путешествие, оставив Есенину томик в красной разрисованной обложке. Это было берлинское издание есенинских стихов. Есенин любовно посматривал на книгу, поглаживал ее.

— Талантливый парень, — сказал Есенин об ушедшем поэте. — Хорошо будет писать!

Я похвалил шумевшую тогда поэму Багрицкого «Дума про Опанаса».

— А зря я не написал поэму о Махно, — сказал Есенин, обращаясь к сидевшему рядом Мариенгофу. — Напрасно мне отсоветовали.

Мариенгоф и Шершеневич говорили о новых рекламных трюках. Кто-то из них рассказывал о том, что какой-то негр проехал по улицам Парижа или Берлина на корове.

Есенин оживился:

— Моя мысль! Помните, я предлагал проехать на корове по Москве? Теперь нас опередили.

Не обошлось и без очередного скандала.

Есенин зачем-то вышел из-за стола и начал кричать на служащую кафе:

— Вас разогнать надо! Я давно говорил, что буфет нужно прикрыть!

Я смотрел на бледное в электрическом свете, раздраженное лицо Есенина, на его размахивающие руки. Только сейчас я почувствовал ту перемену, которая произошла с ним. Куда девался тот светлый мальчик, который некогда заявлял миру:

Только мне не плачется, на душе светло...

Теперь на душе Есенина было темно. Поведение Есенина не вязалось ни с его стихами, ни с моим представлением о нем.

Казалось, будто в него вселилось что-то чуждое ему, какая-то враждебная сила.

Есенин вернулся к столу.

Понемногу он успокоился. Снова возобновился наш разговор.

Я передал Есенину отзыв о нем А. М. Горького, как о «колоссальном таланте». Он ответил:

— В Германии я видел Алексея Максимовича. Когда

я читал там свои стихи, он заплакал и сказал: «Откуда такие берутся».

Запомнилось выражение Есенина:

— Талант дураком приходит...

Запомнилось и то, как он говорил, что все его творчество — о России, что Россия — главная тема его стихов.

— Без этой темы я не был бы поэтом. Мои стихи национальны.

В кафе сталолюдно и шумно.

— Хочешь я прочитаю свои новые стихи? — спросил Есенин.

И начал читать недавно написанный цикл стихов «Москва кабацкая».

По предложению Есенина, я тоже прочитал два стихотворения. Он внимательно слушал мое чтение.

— Какая нежность! — сказал он, когда я читал:

Лунный свет еще нежней голубит
Каждый камень на моем пути.

Сделал и критические замечания: строчка «И, любя, сливаемся в одно» — показалась ему банальной. По поводу выражения: «Все мы братья во веки веков» — Есенин сказал:

— Уж очень истина-то не новая.

В заключение же посоветовал:

— Тебе надо издать книжку.

Есенин нуждался в деньгах, но надеялся поправить свои дела: для этого он собирался продать журналу «Красная новь» стихи о кабацкой Москве.

Когда я уходил, Есенин пообещал:

— Я, может быть, приеду к вам в Иваново. Там у вас есть где выступить?

— Найдем, — ответил я.

Но приехать в Иваново ему не пришлось.

**
*

В 1923 году, как снег на голову, в мою ивановскую квартиру свалился Николай Колоколов.

Я не видел его восемь лет.

От прежнего Колокольчика в нем осталась прихрамывающая походка, небольшой рост, белокурые, слегка вьющиеся волосы над высоким лбом, серо-голубые глаза,

упрямый подбородок. Но черты лица огрубели, стали оп-
ределеннее, взгляд тверже, плечи — шире. Казалось, что
он крепко стоит на ногах и хорошо знает, куда идти.
Пальто ему заменяла кожаная меховая куртка.

— Приехал посмотреть, как ты живешь, — сказал он.

Жил я, как все молодожены на свете, хорошо. У нас
была только одна комната, формой напоминавшая длин-
ный ящик, но мы с женой чувствовали себя в ней счаст-
ливыми.

Увидав, как мы живем, Колоколов решил остаться у
нас. Место для него нашлось.

К этому времени Николай Иванович был демобилизо-
ванным красноармейцем. В Красную Армию он вступил
добровольцем в годы гражданской войны. После армии
женился и развелся. Пожил в Москве с Есениным. В се-
ле Выпозове под Переяславлем-Залесским жил его ста-
рик-отец.

Колоколов быстро почувствовал себя ивановцем. Он
начал давать в «Рабочий край» рассказы, очерки, стихи.
Стал своим человеком в кружке ивановских литераторов.
Сотрудничал в редакционном «Пустослове» — рукопис-
ном шутейном сборнике. Дома любил попеть, голос у
него был низкий, сильный и приятный. Среди известных
арий распевались и стихи Есенина: «Зеленая прическа»,
«Вот он, вот он, отчий дом».

Иногда мы коротали вечера в разговорах. Колоколов
часто вспоминал Есенина. Делился своими мыслями о нем:

— Есенин рано начал думать о том, что нужно поэту
для успеха, — говорил Колоколов. — Еще в ту зиму, когда
мы с ним познакомились, был такой случай. Попались
Есенину на глаза стихи А. Липецкого:

Потух закат на меди храмов.
Луна незримою рукой,
Как череп выткана Адамов
На плащанице мировой.

Прочитал Есенин эти строчки и говорит: «Вот хоро-
ший поэт Липецкий и хорошие образы дает в своих
стихах, а известным поэтом он все же не будет. Теперь,
чтобы прославиться, надо писать как-то по-другому!..»
Вот он какой был уж и в то время. С юности понял, что
поэту нужна особая хватка!..

А то как-то мы говорили о своеобразии стихов Есенина, о том, что их можно узнать и без подписи.

— Так-то так,— сказал Колоколов,— а все же попадают в стихах Есенина и чужие строчки. Конечно, он воспроизводил их совершенно бессознательно. Было где-то напечатано стихотворение Анны Боане с такими строками:

Всё познать, ничего не взять
Человек в этот мир приходит.

И вот читаю я у Есенина:

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветер,
Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

Говорю ему:

— Ведь ты это списал.

— Как списал?

— Ну да, у Анны Боане.

Есенин посмотрел на меня недоуменно и не сказал ничего...

Поэт учился у многих и быстро обгонял своих учителей.

Живя у нас, съездил Колоколов в Москву и вернулся, насыщенный впечатлениями.

Мы узнали, что он виделся с Есениным.

По случаю встречи, друзья выпили. Колоколов рассказал Есенину об Иванове, о своей работе в газете. Среди разговоров Есенин начал жаловаться на тоску. Он плакал и говорил:

— Видно, эта тоска дана мне в расплату за мою славу.

Колоколову пора было ехать на Ярославский вокзал. Он стал прощаться.

— Слушай,— сказал Есенин,— я тоже поеду с тобой в Иваново.

— Поедем,— ответил Колоколов. Наняли извозчика и покатали на вокзал. По дороге Есениным овладел приступ буйства. Он начал выкрикивать ругательства, бить по спине извозчика.

Охваченный негодованием, Колоколов сказал Есенину:

— Я с тобой никуда не поеду, прощай!

Попросил извозчика остановиться, вылез из пролетки и приехал в Иваново один.

Несмотря ни на что, Колоколов очень ценил поэзию Есенина, восхищался его стихами.

— Какой же талантище! — говорил он.

Прочитав в «Красной нови» поэму «Русь советская», Колоколов сразу почувствовал ее значение.

Просматривая собранные Далем пословицы, он искал связи есенинских образов с произведениями народного творчества. Загадку про месяц — «Лысый мерин через прясло глядит» — Колоколов сближал со строчками:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать.

Раз в руках Колоколова появилась наша давнишняя фотографическая карточка. Она была забавна. В центре стоял я — с усиками, в косоворотке, в черном пиджаке и смазных сапогах, — справа и слева — мои друзья, оба на полголовы ниже меня ростом. Я походил на старшего брата или молодого отца с детьми. Карточку я видел впервые, — почему-то мне не удалось получить ее в свое время.

Я сказал, что хорошо бы переснять ее, но Колоколов — гордый человек — не согласился: вероятно, ему казалось, что это будет примазыванием к чужой славе, присосеживанием к знаменитости, которой стал Есенин.

**
*

В последних числах декабря 1925 года мы с женой собрались в Москву.

Пришел взволнованный Колоколов, сказал:

— Есенин умер, повесился!..

Мы приехали в Москву накануне похорон. Гроб с телом Есенина, перевезенный из Ленинграда, уже поставили в Доме печати.

Везде говорили о трагической смерти Есенина. Все искали его стихов, читали его предсмертные строки:

До свиданья, друг мой, до свиданья!..

Вечером мы пошли в Дом печати.

В стужавшихся сумерках озарялись желтыми огнями окна зданий. В природе творилось что-то необыч-

ное. Рождественский мороз неожиданно уступал место оттепели. Дул влажный ветер. Воздух был совсем весенний, снег — сырой.

По фасаду Дома печати протянулась широкая красная лента с надписью: «Здесь находится тело великого национального поэта Сергея Есенина».

Большая, почему-то скудно освещенная комната, где стоял гроб с телом Есенина, была полна народу, и пробраться вперед стоило труда. Голоса были негромки, дальние углы комнаты тонули в полумраке, только гроб был освещен. Все время менялся почетный караул.

В глубине комнаты сбились в траурную группу близкие Есенина. Понуро сидела на диване, уронив на опущенное лицо прядь коротких волос, бывшая жена поэта Райх. Кто-то утешал С. А. Толстую. Немного поодаль выделялась среди других своим крестьянским обликом, не спускавшая глаз с гроба, пожилая женщина — мать Есенина, Татьяна Федоровна.

Я увидел Казина. Он подошел ко мне и сказал:

— Тебе надо постоять в почетном карауле. Сейчас как раз будет смена.

Я занял место у изголовья гроба с левой стороны. Гроб утопал в цветах, венках и лентах.

Мне было хорошо видно лицо Есенина, еще такое молодое, но застывшее, с каким-то красным пятном, похожим на след ожога.

Я не мог отвести глаз от складки, пролегшей между бровями и придававшей лицу покойного выражение застенного страдания. Поразило меня и то, что волосы Есенина изменились: потемнели и не вились.

Вспомнились строки:

Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

В последний раз вглядываясь в лицо поэта, я мысленно спрашивал себя: «Что заставило его в расцвете сил уйти из этого мира, не пожалев ни своей молодой жизни, ни своего редкого таланта?»

Похороны состоялись на следующий день.

По непредвиденным обстоятельствам мы запоздали к выносу гроба с телом Есенина из Дома печати и, ког-

да пришли на кладбище, там все было кончено.

Прозвучали последние слова последней речи, и публика стала расходиться.

Мельком мы видели Городецкого, Казина, еще два-три знакомых лица. Кладбище белело от снега. Он был здесь не такой, как в городе, а чистый, обильный.

Мы подошли к свежей могиле, заваленной большими венками. Их темная зелень, с широкими белыми и красными лентами, отчетливо выделялась на кладбищенском снегу. Мы простились с тем, кто лежал под могильной насыпью, и взяли на память о нем с одного венка зеленую миртовую ветку.

Владимир Догадаев

СКОЛЬ У СОЛДАТА ДУША БОГАТА

Сказка

Где зелёный, шумный бор,
Там и птичий разговор.
Ты постой
Да ты послушай —
Сам захочешь в этот хор.
Где ручью в истоке тесно —
День и ночь ключи звенят.
Где солдаты —
Там и песни,
Там и сказки про солдат.

Так, не собственной охотой --
По делам, издалика,
Шел Терентий Перемотов,
Рядовой девятой роты
Тридцать третьего полка.
С ним лопатка-самокладка.
На плече тугая скатка.
С ним и штык-молодец,
И смекалочки ларец.

Он в дороге не робеет.
Козью ножку завернёт,
Душу дымом отогреет
И опять себе идет.

Так порядком уходился.
Как бывает меж людьми,
Сел на кочку, распрямился:
— Измотался, черт возьми!..
И сказал-то вздоха тише.
Но, чудная голова,
Не иначе —
Кто-то слышал
Ненарошные слова.
Кто-то слышал,
Кто-то знал,
Кто-то, где-то рассказал.
Глядь — из грязи, из болота,
Будто век мазутом терт,
Вылезает черный кто-то.
ТЬфу ты, черт, — да это ж черт!
И рога, и хвост на месте.
Брюхо, словно барабан.
И такая уйма шерсти —
Позавидует баран.
Не найти занятней чуда.
Черт живой — вот это да!..

— Ты, такой-сякой, откуда?
Ты, разэдакий, куда?..
Гость поскреб когтями уши
И лукаво подмигнул:
— По твою, братишка, душу
Выслал старый Вельзевул.
Нужен нам слуга горячий
На военный, знать, предмет.
А души
Твоей богаче
Поискали — в свете нет.
Дай соломинкой примерю...

— Убирайся к сатане.
Я же в вас, чертей, не верю —
Для чего пристал ко мне?

Но легко ль с таким тягаться —
Неспроста, поди, рогат.
Стало вроде бы смеркаться.

Жаль с душою расставаться —
Без души какой солдат?
И патронов нету — жалко,
Хоть руками разводи.
Ну, смекалка-выручалка,
Выручай, не подводи.
— Слушай, черт! —
Терентий кличет. —
Есть у нас такой обычай:
Перед делом посидим,
Посидим да помолчим.
А потом сготовишь плату
И узнаешь не спеша,
Сколь богата у солдата
Немудренная душа...

Не на свадьбы, карусели
Приглашать косматого —
Где стояли, там и сели
У куста покатога.
А Терентий дело знает.
Он момента не теряет.
Знай, траву проворно рвет,
Сеть зеленую плетет.
Дунул, плюнул —
Часто, редко
Клетка вяжется за клеткой.

— А теперь, —
Сказал солдат, —
Всею душой потешу ад
Но сначала
На лужайке
Ты, ловкач, меня поймай-ка.
Побежали!..

В сеть залез,
Притаился и... исчез.
Над поляной ветер гудом.
Черт пошел по круговой.
Что за чудо-первочудо —
Был солдат и нет его?
Вот бы взять, а не дается.

Гром гремит, земля трясется.
Лес, как травушка, дрожит —
По прилеску черт бежит.
Взмок,
Упал,
Как будто гору
Повернул — и силы нет.

— Ох, уж эти мне раздоры!
Начинай переговоры.
Выходи на белый свет.

Тут Терентий сеть снимает,
Пыль трясет и отвечает:
— Что ж, согласен и на том,
С этикетамн знаком.
Не скажу: ума палата,
Но солдату опыт — брат...

Вот сошлись два дипломата —
Черт рогатый да солдат.

Можно криво,
Можно прямо
По путине речевой.
Покрутил посол рогами:

— Ты, брат, парень ничего!

И про сетку-невидимку:
— Уступи, дескать, куплю.

— Ладно, брось свои ужимки,
Ради мира уступлю.
Забирай!—
Сказал Терентий.—
Все уменье в инструменте.
Но, как водится у нас,
Ты исполнишь мой приказ.
Поле хлебушком красиво,
Подивись его красой
Да добудь в земле ту силу,
Что родит и хлеб, и соль.

А добыв, не упусти —
Гречу белую взрасти.
Завари крутую кашу
Да попотчуй роту нашу.

— Где же рота, брат, твоя?
— А пока, хотя бы — я!..

Черт — за дело.
Небу жарко.
Давит землю так и сяк.
А солдат свернул сигарку,
Налегает на табак.
Над землей хохочет эхо.
Зайцы давятся от смеха.
Рты раскрыв,
Птенцы дрозда
Повалились из гнезда.
Взбеленился черт косматый,
Сетку вырвал у солдата.
Думал взять его в обхват,
Душу вытряхнуть и — в ад.
Погоди-постой минутку,
Есть еще занятней шутка.

— Глянь-ка, что там за тобой
Шевелится над травой?..

Сам схватил скорей лопатку.
«Эй, лопатка-самокладка,
Ты копай да порезвей,
Порезвей беду развей!..»
Тут лопатка —
Не догнать,
Как пошла сама копать.
Только черт поворотился,
А солдат под землю скрылся.
Над окопом черт рычит.
Из окопа штык торчит.
Штык, понятно, не солома.
А солдат в земле, как дома.
Фыркнул черт

И под окоп
Боковой повел подкоп.

Быстро дело закипело —
Только пыль под облака.
Под землей рога скрипели,
Раздувались бока.
Вот наружу только хвост.
Встал Терентий в полный рост.
Хоть смеется простовато,
Да, выходит, неспроста.
По хвосту как даст лопатой —
Словно не было хвоста.
Взвыл косматый.
Шмыг из ямы.

— Ты чего же отбежал?
Я тебе еще покамест
Всей души не показал...

Тут Терентий быстро, ловко,
Не глядя по сторонам,
Подхватил свою винтовку —
Хватъ прикладом по рогам.
И бесхвостый,
И безрогий,
Лишь бы только как уйти,
Черт вскочил и — дай бог ноги,
Без дороги, без пути.
А солдат вослед:

— Послушай,
Отобедал бы зараз!..

...Не ходи по наши души —
Не про вас они у нас.

Александр Курчавов

НЕОТЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Из рассказов о Д. Фурманове

Традиция областного военного комиссара Шегабутдинова и начдива Белова — возможно чаще бывать в местах расквартирования подразделений дивизии и гарнизона города Верного — Фурманову нравилась. И когда к нему заехал Альбатай Шегабутдинов, уполномоченный Реввоенсовета фронта, отложил свои текущие дела и отправился с облвоенкомом в казармы.

Эти посещения воинских частей, общение с красноармейцами давали возможность определять настроения. Опасаясь внезапных наездов начальства, командиры старались в частях поддерживать чистоту, порядок и определенный регламент.

Постепенно командиры выяснили, что начальство начинает осмотр не с парадного крыльца, а, что называется, с черного хода.

Прибыв в казармы караульного батальона, выслушав рапорт дежурного, Фурманов и Шегабутдинов отправились на кухню. Множество мух, требующие полуды котлы, засаленная одежда поваров — всё это было замечено. Потом заместителю командира батальона пришлось выслушивать неприятные указания по поводу беспорядка в вещевом складе.

В казармах, после генерального осмотра коек, постельного белья и комнат приезжих окружили бойцы и стали расспрашивать про свежие сведения из Ферганы,

где басмачество пыталось дать последний бой советской власти.

Беседуя, Дмитрий Андреевич заметил стоящего в стороне бойца, задумчиво глядящего в окно на улицу. Подошел к нему и тихо спросил:

— Чем вы, товарищ, огорчены? Может быть, смогу помочь?

— Боец Гончаров Алексей, товарищ уполномоченный..

— Оставьте официальности. Почему хмуритесь?

— Это я так...— отозвался красноармеец, стараясь скрыть свое смущение. Про семью вспомнил.

— Большая у вас семья?

— Старики-родители, два брата и сестренка.

— А сами откуда?

— Вологодский.

— С басмачами кончим, тогда будет частичная демобилизация и поедете домой.

— А на учебу могут послать?

— Могут.

Юноша вздохнул.

— Мне охота на агронома. И поехал бы в родные места...

— Хорошие намерения,— похвалил Фурманов. И тут его отозвал Шегабутдинов к группе красноармейцев, желавших переговорить с начальством. У бойцов накопилось много вопросов: будут ли осенние и зимние отпуска из частей домой, кто назначает пособие матери красноармейца, что это за машина для обработки хлопка, которую, говорят, придумали в Ташкенте, и всех ли поймали из контрреволюционной организации «Белый крест»?..

Переждав, пока схлынули вопросы, к приезжим подошел молодой казах и, довольно чисто говоря по-русски, спросил:

— Можно, товарищ уполномоченный Реввоенсовета фронта и товарищ областной военной комиссар, с вами беседу держать? Просит красноармеец караульного батальона Тельтай Сарсембеков. Насчет того товарища,—и кивнул в сторону стоявшего у окна Гончарова.

— Пожалуйста!— ответил Шегабутдинов.

— Пройдемте в штаб,— предложил Дмитрий Андреевич,— там и поговорим.

В одной из комнат батальонного штаба Фурманов усадил бойца между собой и Шегабутдиновым и попросил рассказать суть дела. Тельтай поведал настоящую причину грусти Гончарова. Был примерный красноармеец, исправно нес службу. А сейчас загрустил, замкнулся в себе.... Даже приятели не узнают.

— А какая же ему мель встретилась?— спросил уполномоченный Реввоенсовета.

— Влюбился...

— Приятная мель,— улыбнулся Шегабутдинов.

— Особенно, если дивчина хорошая,— весело поддержал Фурманов.

— О, ужасно красивая!— Тельтай даже зажмурился, желая усилить впечатление от своих слов.— Взглянет, как обожжет. Такая девушка, как в сказке описывают.

— Здесь живет?

— Здесь. Дочка мираба¹.

— Понятно, понятно,— сказал Дмитрий Андреевич.— Она казашка?

— Отец — казах, мать — узбечка, год назад умерла. А отец, у-у-у, строгий! Он и слышать не хочет.

— Чего именно?

— Чтобы дочь полюбила русского.

Уполномоченный Реввоенсовета усмехнулся:

— Не желает считаться с фактами, как это делают некоторые буржуазные дипломаты.

Тельтай, ободренный проявленным к его рассказу вниманием, продолжал:

— Алеша хочет жениться, подумывает о перевозе сюда всей семьи. У братьев специальность плотников, отец — печник хороший. И теперь все кувырком.

— У него был разговор с ее отцом?— поинтересовался Шегабутдинов.

— Был. Сам мне рассказывал. Пришел, принял хорошо. Потом отец начал спрашивать. Казахский или узбекский язык знаешь? Нет. Обычай семиреков? Неизвестны. Разной нации люди, как же это свадьбу делать можно? На том и уперся отец: не может его дочка выходить за русского, нет такого обычая.

Из рассказа Серсембекова гости узнали, что постепенно, в ходе беседы, помрачнел хозяин, встали и ушел

¹ Распределитель воды для полива посевов.

в другую комнату. Так и не вышел к Гончарову. Дочь потом только сообщила: «Отец не согласен.»

Фурманов некоторое время молчал, потом заметил:

— А что, Альбатай, придется нам с тобой заняться необычайным делом: стать сватами и помочь красноармейцу Гончарову прочно овладеть личным счастьем... Шегабутдинов оживился.

— Мне нравится твой замысел, Дмитрий Андреевич. Я согласен. Но надо действовать быстро. Едем к отцу, а? Возьмем с собой за ординарца Гончарова.

— Не согласен. Получится нарочито: какая у сватов уверенность в успехе,— и жениха с собой прихватили заранее. Нет, лучше возьмем за ординарца вот товарища Сарсембекова. Понадобится, он быстро слетает за женихом. И поедem не сегодня...

С тем гости и уехали из батальона, а Тельтай рассказал обо всем другу.

В самом лучшем настроении отправился Гончаров к любимой девушке.

Долго стучался в маленькую калитку. Даже лая собаки не было слышно. В чем дело? Где обитатели дома?..

Уйти в тревожном неведении Алексей не мог, и он снова стал стучать. По шаркающим шагам догадался красноармеец, что идет отец Гульжан... Чуть приоткрыв калитку, сухо ответив на приветствие, мираб сообщил:

— Гульжан дома нет. Она уехала к родственникам...

И отец девушки захлопнул калитку.

...Очень обиделся Гончаров на Сарсембекова, когда тот на следующий день куда-то отлучился и лишь поздно вечером, после своего возвращения, сказал другу:

— У Джангозиных был.

— И мне не сказал?

— Так пока лучше, Алеша...— увернулся от прямого ответа Тельтай. Видя, что друг поник головой, добавил:

— А голову не вешай. Выше держи!..

Через два дня Тельтай специально получил приказание командира роты явиться в штаб дивизии к 17-00, чтобы сопровождать в поездку уполномоченного Реввоенсовета фронта и областного военкома.

Сарсембеков побрился, почистился, навел глянец на сапоги и явился в штаб немного раньше 17-00. Дежур-

ному была уже известна фамилия вызванного красноармейца, и его пропустили во двор. Из штабной конюшни Тельтай получил три лошади.

Когда Дмитрий Андреевич и облвоенком вышли из штаба, красноармеец подвел им оседланных коней и поздоровался.

— Здравствуйте, товарищ Сарсембеков!— сказал Фурманов.

— Здравствуй, Тельтай,— проговорил Шегабутдинов. Про себя красноармеец отметил: «Помнят меня с той встречи»...

— Ехать куда надо?— спросил уполномоченный Реввоенсовета фронта. Ординарец быстро объяснил.

— Девушку видел? Передал нашу просьбу?

— Передал.

— Какую просьбу?— заинтересовался Шегабутдинов.

— Чтобы отец был дома в момент нашего приезда, но о том ничего заранее не ведал,— пояснил Фурманов.

— Хорошая предусмотрительность...— оценил его спутник.

Доехали быстро. У высоких и глухих глинобитных стен, подле ворот дожидалась гостей Гульжан. Действительно, нельзя было не любоваться румянцем и толстыми, цвета вороного крыла косами девушки, большими агатовыми глазами и точеной фигуркой.

— У Гончарова вкус отменный,— тихо шепнул облвоенком Дмитрию Андреевичу.

Девушка, смущаясь, стараясь не встретиться взглядом с приехавшими, сообщила, что отец дома и отдыхает после обеда.

Проходя двором, уполномоченный Реввоенсовета фронта шепнул девушке:

— Гончаров очень хочет учиться...

— И я с ним хочу. Можно? Пусть все будет вместе: и радость, и горе, веселье и нужда, ученье и работа.

— Очень хорошая программа, за нее и поведем борьбу.

Отец девушки проснулся от ржания коней во дворе и шумного разговора, который затеяли Шегабутдинов с Сарсембековым. Старик поспешил навстречу почетным гостям.

— Селям алейкум!¹

— Алейкум селям!²

— Альбатай-ака, рад вас видеть.

Облвоенком остановился и, пропуская вперед себя Фурманова, тихо сказал мирабу:

— Это Фурман-ака.

— Большой начальник?

— Немного выше меня.

— Ой, аллах! А что он хочет?

— Строгий, но справедливый. Сам сейчас тебе скажет,— ответил Шегабутдинов.

— Я простой мираб, что с меня взять?

— Тихо. Не говори глупостей. Смотри на почетного гостя.

Хозяин провел гостей в переднюю комнату. Старенькие ковры на стене и на полу, шитые подушки, занавеси с вышивкой — все это придавало комнате уютный вид. Около окна на низеньких ножках стоял круглый стол. Его перенесли на середину комнаты и уселись вокруг.

Гульжан стала подавать пиалы с крепким ароматным чаем, принесла вазочку с леденцами и тарелку с теплыми лепешками. Хозяин принялся усердно угощать.

— Прошу простить — темные у нас лепешки. Мука такая...

— Вкусные лепешки,— оценил Дмитрий Андреевич, прихлебывая чай.

Тем временем Тельтай привязал в дальнем конце двора лошадей и нашел укромное местечко для наблюдения, неподалеку от окна. Вскоре Сарсембеков услышал такой разговор:

— ...разве национальность определяет счастье для девушки? Мы с Альбатаем люди разной нации, а дружим крепко. Я русский, а вот с некоторыми русскими, если они плохие люди, и разговаривать не хочу.

Удивительно слышать Джангозину, когда русский говорит так про своих соплеменников. Ведь раньше, до революции, окружной судья Дублицкий, напившись, всегда кричал, что русские — лучшие люди, а все остальные — туземцы, дрянь. А тут высокий начальник, выше Альбатая-ака, другое говорит...

¹ и ² Восточное приветствие, соответствующее нашему пожеланию доброго здоровья.

— В каждой нации можно найти и хороших и плохих,— напомнил хозяину Фурманов.

— И молодежь нынче другая, понять это надо, аксакал,¹— сказал облвоенком.— Теперь молодые люди сами свою жизнь определяют. Хорошо получается. И не следует тебе идти против Гульжан.

По правде сказать, я был удивлен...

Хозяин насторожился при этих словах уполномоченного Реввоенсовета фронта. Вот сейчас начнет сердиться, еще отругает. А гость спокойным ровным голосом продолжал:

—...когда услышал о вашем несогласии на брак дочери. Почему? Мне известно, уважаемый товарищ Джангозин, что вы были в отряде Джандильдина, воевали против белогвардейцев, советскую власть в Семиречье защищали, и вдруг на старое свернули: дочь должна выйти только за семирэка. Непонятно! А если ей нравится русский?.. Вот мы и приехали к вам сватами. Сватаем вашу дочь за красноармейца, русского, Гончарова Алексея.

— Вы и Альбатай — сватами?

— А почему бы нет? Гончаров этого заслуживает. На коране клясться не будем, но честным своим словом ручаемся за жениха. Советская власть, за которую вы дрались, уважает все нации и ценит человека по его делам. Вы с этим не согласны?

— Так, так, понимаю,— проговорил мираб. Он удивлен: эти приезжие говорят необычайные вещи. В сознании Джангозина пока еще не укладывалось: такие важные начальники, всем Семиречьем руководят, и вдруг приехали к нему обычными сватами. Возможно такое?.. Значит, Гончаров в самом деле...

Но долго в присутствии посторонних размышлять неудобно. Гость спрашивает:

— Что же вы нам скажете в ответ, товарищ Джангозин?

Мгновенно промелькнули перед хозяином дома страдные и тяжелые дни боев в отряде Джандильдина, что-то теплое зашевелилось внутри. Мираб посмотрел на гостей, позвал дочь и с дрожью в голосе сказал:

— Я верю этим людям. Они хотят добра. Желаю

¹ Дословно: белая борода. Почтительное обращение к старшим.

тебе, дорогая дочь, счастья и... детей!— и, не стесняясь приеджих, вытер слезу рукавом халата.

Соглашение было встречено шумным одобрением.

Дочь сразу убежала к Тельтаю поделиться радостью.

Наслаждаясь чаем, гости и хозяин говорили о многом. Когда упомянул Дмитрий Андреевич насчет распределения воды на полив, то мираб удивился осведомленности гостя и по водным делам, далеким от военных вопросов.

— Красноармейским вдовам обязательно надо давать воды на полив в первую очередь. Тут тоже политика, товарищ Джангозин. Раньше притесняли бедноту, часто баи и манапы¹ не давали воды, и пропадал весь посев. Вы стараетесь вести дело честно, нам про то известно, за что вам товарищеская благодарность.

— Есть такие, что шипят на меня, но с этим я не считаюсь. А откуда вы все мирабские дела знаете?— не утерпел и спросил хозяин.

— С народом в дружбе,— объяснил Фурманов.— Если быть к людям поближе, то всегда будешь знать мнения и настроения.

— Но не все так делают,— подмигнув Шегабутдинову, сказал мираб.

— К сожалению, это правда,— признал гость и своей откровенностью еще больше удивил отца Гульжан.— Надо побольше таких, как вы, честных людей, и спекуляция водой в городе прекратится...

Сегодня для Джангозина — день удивлений. Приехали двое, и сколько они внесли нового! Не похожи на прежних начальников. Радостно сознавать, что он защищал такую власть, близкую и понятную...

А сестры, тетки Гульжан, они уже стали совсем похожи на тех крикуний, которые еще встречаются на базаре. Все сплетни принесут, только пожелайте. А ну их!..

Уговорились, и Джангозин предложил: устроить свадьбу через две недели. Сваты поднялись с места — им надо ехать.

Возбужденная, с горящими глазами Гульжан провожала гостей.

...Что ж, бывает, что время удивительно долго тя-

¹ Кулаки и помещики.

нется, но и тягучему томительному ожиданию приходит свой конец! Долгими показались молодым людям условленные две недели. Но вот пришел, наконец, знаменательный день в жизни Алексея и Гульжан — день их свадьбы.

...Набрался полон двор любопытных. Уж таков народный обычай — при свадьбе ворот не закрывают. За стол всех не посадят, а смотреть на торжество, пожалуйста, можете в полное удовольствие.

Многим из тех, что пришли к Жангозиным, хотелось видеть Фурманова и Шегабутдинова. Такие важные начальники, а приехали на свадьбу рядового красноармейца и дочери простого мираба.

Тетки вертелись на дворе, и мираб изумлялся их поведению: совсем другие! Они высказывали неподдельное удивление — возможно ли такое прежде, чтобы генералы пировали на свадьбе своих солдат? А сейчас это стало возможно! Ну, конечно, имеет значение и красота Гульжан...

Поздравительные тосты произносились один за другим. Шумно и весело было здесь, как на всякой хорошей свадьбе.

За столом, около жениха, сидели Тельтай Сарсембеков и еще трое друзей из караульного батальона. Рядом с невестой сидели Дмитрий Андреевич Фурманов и Альбатай Шегабутдинов с супругами.

И никто из гостей не знал, что пять дней назад мираб Жангозин побывал в канцелярии уполномоченного Реввоенсовета фронта. Была обстоятельная беседа о будущем молодых.

Сегодня за свадебным столом мираб увидел, что слово Фурманова — точное. Когда спала волна тостов и поздравлений, гости занялись едой, поднялся Дмитрий Андреевич.

— Ваше желание, уважаемый хозяин дома, и желание молодых исполнено: Алексей и Гульжан командированы политотделом и штабом дивизии на учебу.

Фурманов протянул молодожёнам две синих бумажки и добавил:

— Приказ о демобилизации Гончарова с группой других бойцов, посылаемых на учебу, последует на днях.

Мираб тут что-то хотел сказать, но от волнения не

смог. Он поднялся со своего места, подошел к Фурманову и молча обнял его.

...Утром все общежитие ответственных работников в бывших белоусовских номерах шутило допытывалось, где же это были вечером Дмитрий Андреевич с Анной Никитичной и супруги Шегабутдиновы? И почему все они поздно вернулись домой в веселом настроении...

На это Фурманов, лукаво улыбаясь, дал скромный ответ:

— Занимались важными и неотложными вопросами...

Альфред Пряников

ПЕСНЯ В СТЕПИ

Темно-синяя ночь опустилась опять
И заставила сердце запеть.
Ни за что не понять:
Как помотришь вокруг —
Что бескрайнее —
Небо иль степь?
Облака опустились на землю росой,
Светят звезды сквозь легкий туман.
И о девушке русской,
С тяжелой косой,
По-казахски тоскует баян.
Тени белых палаток на землю легли,
Так легко все
И молодо так!
И моторы комбайнов рокочут вдали
Размечтавшейся музыке в такт.
Не теряясь, в степные просторы плыви,
Прямо к небу в сплошных огоньках,
Наша песня о первой, хорошей любви,
Что понятна на всех языках!

ПАЛАТКА

Построены и клуб, и магазины,
Последний гвоздь в крыльцо пекарни вбит.

И только в поле,
У цистерн с бензином,
Палатка одинокая стоит.
Потрепанная вдоволь злым дыханьем
Метелей, вьющихся по целине,
Она белеет здесь напоминая
О первой исторической весне.
И новичкам на очередь в столовой
Ворчать готовым добрых полчаса,
Она без слов рассказывает снова
О людях, что творили чудеса.
О днях, когда она была жилищем,
Столовой, клубом, школою подряд.
И сразу кажется вкуснее пища,
Короче длинной очереди ряд.
Растут дома, готовые к морозам,
И в свете электрических огней
Стоит палатка на краю совхоза
Реликвией уже прошедших дней.

*

Сошел загар коричневатый с кожи,
Мозоли с рук исчезли без следа,
И все же сердце позабыть не может
Степной простор, прозрачный, как вода.
Глаза под снежной вьюгой робеют,
Как возле молотилки без очков,
И кажется, что небо голубеет,
Как и в степи,
Меж равных облаков.
Сугробы у ворот напоминают
Лохматых копен длинные ряды...
Далекая,
Воистину родная,
В сердцах ты, степь,
Оставила следы.
Они,
Как письменна на древнем камне,
Не сглаженные временем ничуть...

Ты тем еще близка и дорога мне,
Что к зрелости укоротила путь,
Что за два месяца мне стал дороже
И солнца жар,
И вкус степной воды...
Согнало время медь загара с кожи,
Но в сердце не затронуло следы.

Казахстан—Иваново
1956—1957 гг.

Валентин Смирнов

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ

Весенняя ночь. Переполненный синью,
Качает луну океан-небосвод.
И тянет в лицо мне землей и теплыню.
Река то затихнет, то снова поет,
То в берег ударит волной на просторе,
Ломая, спрямляя недавний свой путь...
Спросили деревья:
— Куда ты?..
— Я к морю!..
И пляшет воронками лунная ртуть.
И гудом гудят трактора в поле чистом,—
Огням их кружить и кружить до света.
Не спать, не бродить над рекой трактористам:
Весна на свиданье к ним в поле пришла!

* * *

Стоят березки у дороги,
Стоят и стынут на ветру
Толпой девчонок босоногих,
Встречавших поезд поутру.

Знакомы всем березки эти,
И нет им, кажется, числа.

Но помню я: на белом свете
Одна березонька была.

Она стояла у дорожки,
Склоняя ветви на крыльцо.
Ей ветер шевелил сережки,
А дождик умывал лицо.

Под той березкой в час разлуки
Сказала милая моя:
— Скорей умру одна от скуки,
Чем полюблю другого я!

Потом уехал я на лето,
Писал ей письма и стихи.
А на краю деревни этой
Мальчишка вырос в женихи.

Он под березкою заветной
Звенел гитарой, песни пел
И в сердце милой незаметно
Меня во всем затмить успел.

И мне любимая сказала,
Не отрицая ничего:
— Тебя любить я обещала,
А сердце выбрало его.

Василий Великанов

ВОСКРЕСНИК

О черк

После трудного учебного дня подразделения возвратились к реке, где утром они занимали «оборону», перейдя затем в «наступление». Уже темнело, дождь перестал, и в лесу пахло осенней прелью.

Погромыхая котелками, солдаты шли к автокухне. В воздухе стоял приглушенный говор усталых людей. Где-то в кустах тукал движок — это работала походная электростанция. Штабные палатки, освещенные внутри тускловатыми электролампочками, чуть просвечивались меж деревьями.

В палатку вошел полковник Марков, крупноватый, полный мужчина лет пятидесяти, а вслед за ним — подполковник Литвиненко, сухонарый, низкорослый мужчина лет сорока. Полковник грузно сел на походный стул. Загорелое, утомленное лицо его почти сливалось с коричневым кожаным пальто, в которое он был одет. Сегодня полковник остался доволен проведенными учениями, но об этом он ничего не сказал своим подчиненным. «Так-то будет, пожалуй, лучше, — думал он, — чтобы не зазнавались и еще злее учились».

Подполковник Литвиненко сбросил с себя плащ-накидку и присел на походный стул возле столика, на котором стоял деревянный ящик полевого телефона.

— А здорово сегодня поработали и солдаты и офицеры, — сказал он.

— Да,— подтвердил полковник,— и при такой кислой погоде, черт бы ее взял. Молодцы!

— Особенно отличилась рота Смирнова.

— Хороший командир,— промолвил полковник,— по фронтовому работает.

Сняв тяжелые яловые сапоги, полковник Марков устало вытянулся на койке, и солома в матрасе под ним зашуршала.

— Ноги стонут и сердце покалывает,— промолвил он.

— Много ходили и недосыпали, товарищ полковник,— как бы успокаивая его, сказал подполковник Литвиненко.

— Да и грузнеть я что-то стал.— (В душе полковник завидовал своему замполиту, легкому на ноги, подвижному и выносливому).— Вот подтянем «огневую» и отдыхать поеду.

Недалеко от палатки, где-то с сосны раздался голос клубного громкоговорителя:

— Товарищи офицеры, сержанты, солдаты! После ужина будет демонстрироваться цветной художественный фильм... — Диктор кашлянул, замялся, словно забыл название фильма, и тихо добавил: — А теперь прослушайте музыку и песни.

И вслед за этим высокий сладковатый тенор игриво запел: «Ходит по полю девчонка...»

Полковник Марков закрыл глаза и на миг отдался во власть этой чудесной песни, от которой почему-то становилось легко и радостно на душе.

— Сергей Иваныч,— обратился к полковнику Литвиненко,— наши комсомольцы хотят провести воскресник. Как вы на это смотрите?

— Где?— спросил полковник, не открывая глаз.

— В колхозе «Путь Ильича». Недалеко от него проходит государственная электролиния. Оборудование в колхозе почти все приготовлено, но не хватает силенок. Тут и молотба и сев...

— А что же МТС не поможет им?— сердито спросил полковник, открыв глаза и чуть приподнявшись на локте.

— МТС тоже запарилась в работе, Сергей Иваныч. У нее ведь не один этот колхоз. А тут еще и погода график ломает...

— Да,— вздохнул полковник Марков,— надо бы им помочь. А управятся наши комсомольцы за один день?

— При хорошей организации, Сергей Иванович, управятся.

— Тогда надо выделить надежную команду с саперами и связистами.

Подполковник Литвиненко покрутил ручку полевого телефона:

— Дежурный? Вызовите в палатку к командиру начальника клуба лейтенанта Пестова.

Через несколько минут в палатку вошел высокий розовощекий блондин и, вытянувшись, ловким движением приложил правую руку к козырьку новой фуражки. На нем поблескивали желтые ремни новой портупеи.

— Товарищ полковник, по вашему вызову лейтенант Пестов прибыл.

Подполковник Литвиненко приподнялся со стула.

— Ну вот, товарищ Пестов, комсомольская инициатива одобрена. Пригласите на картину колхозников. Перед сеансом митинг проведем о предстоящем воскреснике, и вам, как секретарю комсомольского комитета, надо выступить...

— Есть! — громко отчеканил лейтенант и, пригнувшись, выскользнул из палатки.

... Этот воскресник сводная рота майора Смирнова начала с рассвета на другой день, в воскресенье.

Чтобы управиться за один день, командир придал роте Смирнова взвод саперов с автомашинами и несколько связистов. А из офицеров, кроме взводных, выделил ему в помощники лейтенанта Пестова.

Майор Смирнов свою рабочую команду разделил на три группы: одну поставил в лес на заготовку столбов, другую — на проводку линии и третью, самую меньшую, — на заравнивание оборонительного рубежа, который был отрыт три дня тому назад на колхозном выгоне. В каждой группе старшими назначил командиров взводов, а на заравнивание окопов и траншей поставил лейтенанта Пестова. Будучи сам строевым командиром много лет и любивший тяжелый военный труд, майор Смирнов недолюбливал нестроевиков и особенно щеголеватых молодых лейтенантов, пришедших со школьной скамьи, из училища. Поэтому и с лейтенантом Пестовым так обошелся. «Подальше его от тока, говоруна и белоручку, — подумал майор. — А то и сам работать не будет и девчатам не даст. Петушится много...» Майор Смирнов

заметил, что лейтенант Пестов увивается около колхозной девушки Кати, с которой познакомился вчера вечером в кино. Пестову хотелось быть на току, где работала Катя, и поэтому он возразил майору Смирнову:

— Я здесь, товарищ майор, оставлен полковником не для того, чтобы окопы зарывать, а для общей организации и культурного обеспечения...

Майор Смирнов его оборвал:

— Товарищ лейтенант, я здесь старший команды и извольте выполнять мои приказания.

Розовощекий Пестов опустил голову и замолчал, став вдруг пунцовым.

Председатель колхоза Мария Яковлевна Силаева в этот горячий день много металась на своей двуколке то в лес, то в поле, то на ток. Уже с утра в воскресенье бригадир тракторной бригады МТС Семенов снял трактор с тока и угнал его в поле. Мария Яковлевна сначала вспылила:

— Чего ты, Семенов, приостановил молотьбу?!

— Потом электричеством нагоните, — ответил Семенов, — а то мы в пахоте отстаем.

— Да еще неизвестно, как будет с электричеством.

— Раз солдаты взялись, они сделают. Можешь быть спокойной.

Мария Яковлевна находилась в радостном возбуждении. Загорелые щеки у нее раскраснелись, а синие глаза сияли.

— Ну, дорогие товарищи, теперь наше дело пойдет по-другому, — сказала она колхозникам, работавшим на силосовании кормов. Силосорезка работала на конном приводе. — Как проведут электролинию, так и у нас не только молотьба, но и силосорезка заработает на моторе, и сепараторная, и лампочки Ильича засветятся в домах.

— Вот, Мария Яковлевна, — проговорила Катя, — хорошо надумали наши солдаты-комсомольцы.

— А что ж, они ведь нам не чужие. Да и хлебец тоже едят. У нас семья-то вон какая!

Электротехник Мальцев, старшина сверхсрочник, суховатый, широкоплечий мужчина, лет тридцати, устанавливая на току электромотор, говорил:

— Вот это, я понимаю, работа по-нашему, по-военному пошла. Мы, бывало, на фронте за несколько дней большие мосты строили. Помню, около Гомеля через

реку Сож в сорок третьем году здоровенный мост сделали.

Дед Архип, доморощенный колхозный механик, работавший при молотилке, помогал Мальцеву в работе.

— Я давно нашему правлению говорил об этом, — поддакивал он Мальцеву, — попросите, говорю, армию. Они ведь все лето мимо нас ездят. А Мария Яковлевна мне отвечала: не до нас, дескать, им. Видишь, говорит, какая между народами обстановка. Атомы против нас готовят. Ну, а мы что, хуже их, что ли? Начеку, значит, надо быть.

— Да, дедушка, — подтвердил старшина Мальцев, — начеку надо быть.

... Солдаты копали ямы для столбов и переговаривались между собой.

— Как окопы ячеечные.

— Да, из них хорошо бросать гранаты под танк.

— Успеем мы до вечера линию-то провести?

— Успеем. Надо успеть. Наш майор такой человек, если уж взялся, то сделает непременно.

— А ты слышал, что полковник вчера сказал на митинге: в восемнадцатом году сам Ленин на субботнике дрова носил.

— Значит, надо было, вот и носил. За один день всем народом можно горы своротить.

...В лесу, подкошенные пилами, высокие сосны валились наземь, с хрустом ломая сучья. Солдаты обрубали ветки, отрезали вершины, и пахучие сырые бревна закатывали по слегам на машины с прицепами. Большие пучки бревен туго перепоясывали канатами, цепями; и машины, покачиваясь на неровной дороге, с глухим ревом тащили их из леса.

Работа шла дружно, по привычным командам, и поэтому она казалась легче, хотя была и тяжела.

Майор Смирнов подал команду на «перекур». Рассевшись на бревна и пни, солдаты закурили. Вытерев вспотевший лоб платком, майор Смирнов сказал:

— Все это, товарищи, вам пригодится... Во время войны нам много пришлось и земли порыть и лесов повалить на блиндажи, мосты и землянки. За землю свою воевали, земля и спасала нас часто...

В это время к лесной команде подъехала на двуколке Силаева и весело, с насмешкой, крикнула:

— Давайте, давайте, товарищи, пошевеливаться! Курить-то, конечно, легче, чем работать.

Майор Смирнов сухо ответил:

— Сколько успеем и хорошо будет. Сами потом доделаете.

— Мне лейтенант Пестов слово дал, что сегодня закончите. Иначе я вас не отпущу.

— Вот пусть тогда лейтенант Пестов и доделывает, — недружелюбно проговорил майор Смирнов.

— Чего вы на него так, товарищ майор?! — сердито проговорила Мария Яковлевна. — Он же работает поударному: все окопы зарыл и девушкам на силосорезке помогает.

Сержант Сизов, крупный здоровяк с лукавыми глазами, басовитым голосом спросил:

— Товарищ председатель, а что нам будет за то, как мы задание выполним?

— Квас с селедкой да поцелуй с молодкой! — игриво ответила Мария Яковлевна и, хлестнув Гнедка вожжами, быстро поехала прочь.

Солдаты засмеялись, а сержант Сизов проговорил:

— Вот это, я понимаю, женщина... Что на дела, что на слова. Вот бы ее старшиной к нам в роту. Глядишь, и порядочек был бы в хозяйстве...

— Что верно, то верно, — кто-то тихо поддакнул, и все опять засмеялись. Этой шуткой командир отделения Сизов бросил камешек в старшину роты Климова, на которого часто жаловались солдаты и которому изрядно попадало от майора Смирнова.

... До обеда светило теплое солнце, а потом низко поползли с горизонта серые сплошные тучи, похолодало и стало быстро темнеть. Вдоль реки протянулась новая электролиния, поблескивая желтоватыми столбами и белыми фарфоровыми изоляторами.

На току, под навесом, выстроилась сводная рота майора Смирнова, а рядом с ней стояла большая толпа колхозниц и колхозников. Две электролампы с рефлекторами ярко освещали ток.

Майор Смирнов стоял у столба, на котором поблескивал щит с рубильником. От рубильника вниз к электромотору тянулись черные провода. Рядом с майором был лейтенант Пестов.

— Товарищи! — негромко и чуть взволнованно заго-

ворил лейтенант Пестов.— Сегодня наши армейские комсомольцы выполнили свое обещание — провели электролинию, и сейчас мы пустим электроток на молотилку. Это вдвое удешевит молотьюбу и освободит трактор, который можно использовать на других работах. Товарищ Ленин, когда-то сказал, что высокая производительность труда и электрификация — самое главное для построения коммунизма. Первую четырехчасовую вахту будем нести мы, армейские комсомольцы, а потом вы, товарищи колхозники. Вызываем вас на социалистическое соревнование и желаем вам успеха на благо великой Родины!

Последние слова Пестова прозвучали высоко и громко. Раздались дружные рукоплескания. Мария Яковлевна порывисто шагнула от толпы вперед и, встав рядом с майором Смирновым, громко сказала:

— Товарищи колхозники и колхозницы! Примем вызов наших родных солдат и поблагодарим их от всей души!

Все опять захлопали в ладоши, а Мария Яковлевна протянула руку сначала Смирнову, а потом Пестову. Пожимая ей руку, Смирнов подумал: «Какая у нее крепкая рука».

— Товарищи, по местам! — подал команду майор Смирнов.

Солдаты заняли свои рабочие места. Смирнов встал на подаче пшеницы. Одет он был в зеленый комбинезон и, опустив на глаза большие предохранительные очки, стал похожим на мотоциклиста. Лейтенант Пестов стоял у щита и нетерпеливо держал вытянутую руку на рубильнике, ожидая команды.

В сторонке стоял дед Архип и тревожно посматривал на свою молотилку. «Выдержит ли?» — думал он. Правда, перед пуском он тщательно осмотрел всю машину, заново смазал ее, проверил все зубья у барабана, подкрепив ослабевшие, но мало ли что может случиться. То на тракторе работала, а это же электричество!

— Включай! — подал команду Смирнов, и Пестов включил рубильник. Под его рукой мелькнула синеватая искра, и мотор ровно загудел на холостом ходу. Включили молотилку. Она задрожала, будто испугалась новой силы, и барабан загудел с каким-то звенящим стоном. Блестящие стальные зубья, быстро замелькав, слились в одну сплошную серебристую массу — барабан казался

никелированным. Смирнов еле успевал подавать пучки пшеницы в жадный стальной рот молотилки. Тучей поднялась рыжая пыль и через несколько минут густо запудрила его с головы до ног. А с другой стороны молотилки тысячи и миллионы плотных зерен пшеницы дробью бились в землю, быстро вырастая в большую кучу. И по странному чувству Смирнов вдруг вспомнил себя пулеметчиком на фронте в сорок первом году, под Ельней. И кажется ему сейчас, будто он не около молотилки, а у станкового пулемета и сильно жмет на гашетку: пулемет лихорадочно дрожит и сыплет золотым зерном по врагу.

К вороху зерна подошли Мария Яковлевна и дед Архип.

— Ну как, Архип Иваныч?!

Старик замедлил с ответом. Захватив пучок солом, он придирчиво стал прощупывать мятые пушистые колосья.

— Да-а,— наконец промолвил дед.— Работа настоящая. И быстро и чисто. Зерно не рушит и колос пустой.

— Вот оно и выходит, Архип Иваныч: с умом не трудиться — счастья не добиться.

...Стояла черная полночь. Моросило. А на току под навесом светло и тихо. На вахту к молотилке готовились встать колхозники. В перерыв Архип Иваныч проверил барабан. Четырехчасовую молотьбу машина выдержала хорошо. Около тока стояло несколько автомашин, крытых брезентом. На головной висел красный флаг с надписью: «Принимай, Родина, хлеб!» Катя Михалева ехала в город сдавать хлеб. Пестов в кабину своей машины посадил сержанта Сизова, а сам забрался в кузов, к Кате, и оттуда уже слышался звонкий женский смех. Когда лейтенант Пестов приказывал сержанту Сизову сесть в кабину, тот настороженно посмотрел в сторону майора Смирнова и тихо, лукаво спросил:

— Товарищ лейтенант, а мне не попадет от майора за то, что я ваше место займу в кабине? Мне бы лучше в кузове...

— И в кабине хорошо. Садись, раз я тебе говорю, в порядке комсомольской дисциплины.

— Есть!— игриво отчеканил Сизов,— выручу своего секретаря раз такое дело.

И, широко улыбаясь, втиснулся боком в кабину.

Смирнов не слышал этого разговора, но ему не пон-

равилось, что лейтенант Пестов оставил кабину своей машины. Он же старший на машине и должен сидеть в кабине. Однако майор Смирнов промолчал. «Зачем портить человеку настроение. Работал сегодня здорово: все траншеи до обеда закопал, а потом еще и в силосовании помог, и в молотье. Расторопный и энергичный. Его бы ко мне в роту. Я бы из него сделал хорошего командира взвода...»

Майор Смирнов стоял у кабины головной машины. Смуглое лицо его казалось еще чернее, а карие глаза чуть поблескивали от полусвета, отраженного козырьками рефлекторов.

Мария Яковлевна протянула ему руку и, доверчиво улыбнувшись, ласково, тихо сказала:

— Спасибо вам за все, товарищ майор.

Мягкий и по-женски какой-то расслабленный голос ее тронул Смирнова.

— Ну, что вы, Мария Яковлевна. Мы просто выполнили свой долг. Дело-то наше общее.

Смирнов только сейчас заметил, что Мария Яковлевна милая женщина: глаза у нее синие, ясные, а губы обветрили, посекались.

Перед ним было усталое лицо сильной сорокалетней женщины, познавшей тяжелый труд, заботы и незабываемые утраты... «Сколько у нас таких молодых вдов похоронили свое сердце...», — подумал Смирнов и тихо спросил:

— Тяжело приходится, Мария Яковлевна?

— Да, иногда тяжеловато. Я ведь двоих ребят вырастила без мужа.

Майор Смирнов знал, что в сорок втором году ее муж Сергей Николаевич, бывший председатель колхоза, ушел на фронт и не вернулся, а колхозники выбрали ее председателем и с тех пор вот уже тринадцать лет она у них бессменным вожаком.

Мария Яковлевна внимательно посмотрела в лицо Смирнову и подумала: «Чем-то он на моего Сережу похож...»

— Жаль, что вы скоро уезжаете от нас, — грустно промолвила Мария Яковлевна. — Вы уж, пожалуйста, извините нас, если что не так.

— Мне, Мария Яковлевна, нравятся люди с огоньком и с твердым характером, как вы... — приглушенно сказал

Смирнов и протянул ей руку. В это время к майору Смирнову подошел водитель и доложил о том, что все машины готовы к отправлению.

— По машинам! — повелительно скомандовал майор. — До свидания! — крикнул он, махнув рукой, и сел в кабину.

— До свидания! до свидания! — кричали девушки из-под навеса и помахивали руками. — Спасибо вам! Приезжайте к нам почаще!

— Да Катю не завезите от нас совсем! — крикнула с улыбкой Мария Яковлевна.

Тяжело нагруженные зерном машины глухо заревели моторами и прорезали сырую тьму ярким светом прожекторов. Солдаты дружно грянули веселую песню:

Комсомольцы — беспокойные сердца,
Комсомольцы всё доводят до конца.
Друзья, вперед! Нас жизнь зовет!
Наша Родина кругом цветет!

И под эту задушевно-веселую песню солдаты мира повезли на машинах чудесное зерно туда, где у самого горизонта вздрагивало белое зарево электрических огней большого города.

СЕМЬЯ ПЕТРОВЫХ

О черк

УТРО

Белесо-серое зимнее утро. Сухой, звонкий мороз. Во многих домах рабочего городка осветились окна, и серая мгла как бы отодвинулась от домов, ушла в поле. Начинается трудовой день. В семье Петровых первыми встают отец и мать. Капитолина Семеновна готовит завтрак, а муж ставит самовар. Это его любимое занятие по утрам. Потом встают Миля, Ира и Валя, а Мирра еще спит: она вчера пришла поздно и ее рабочий день начинается с двух часов дня.

Одиннадцатилетний Валя, мальчик рослый, с густым чубом, сказал:

— Мама, я сейчас тебе дров принесу.

Миля, высокая, худощавая девушка с серыми глазами, как у матери, подошла к портрету Горького и протерла его салфеткой.

— Этот портрет нашей маме подарили в школе взрослых,— похвалилась Миля,— а недавно ее наградили медалью «За трудовое отличие».

Чувствую, Миля гордится своей матерью. Сегодня Миля, ученица 10-го класса несет в школу свое сочинение о Горьком. Горький — ее любимый писатель. В своем сочинении она написала: «Горький выступал певцом прекрасного человека, сильного и смелого, и мне хотелось бы в жизни быть такой же».

Все садятся за стол. Сергей Иванович ставит на стол самовар, а Капитолина Семеновна подает на блюде поджаренные пельмени.

Ира, черноглазая, застенчивая девочка, как будто между прочим, проговорила:

— А Валька опять без черновиков задачи решал.

— А тебе что, ябеда,— резко ответил брат, отрываясь от блюдечка с чаем. Густой ершистый чуб торчит у него вперед, будто уколоть хочет.

— А ну-ка, ерши, потише,— одергивает их отец и, повернувшись ко мне, говорит: — И чего им не учиться? Меня отец с десяти лет повел плотничать, а с восемнадцати я на германскую войну пошел, потом — на гражданскую. Семь лет воевал. Без ребра остался. А для них мы ничего не жалеем. Только учись, старайся.

Мать укоризненно смотрит на сына и дочь. Валя учится в шестом классе и не признает авторитета в семикласснице Ире. Валя писал и решал задачи сразу на беловик. Делая ошибки, он исправлял их, грязнил тетрадь и получал за это плохие отметки. Мать как-то сказала ему: «Имей в виду, Валя, все писатели и ученые, прежде чем что-нибудь напишут, много изведут черновиков». Валя стал работать с черновиками, и его успеваемость повысилась. Только иногда нет-нет да и сорвется опять на старое, как вчера вечером. Некогда было — на улице прогулял.

Сергей Иванович бережно берет с комода фотографию в рамке и протягивает ее мне.

— Вот наша старшая. Докторша. В районной больнице работает.

На фотографии я вижу черноволосую девушку с энергичным лицом и пытливыми, строгими глазами.

— А ну-ка, мать, дай ее письмо.

Передавая мне письмо, Сергей Иванович говорит:

— Посмотрите. По письмам тоже можно человека узнать.

Я смотрю на письмо. Почерк у Галины не очень твердый и не совсем ясный, такой, каким обыкновенно пишут врачи рецепты.

«Здравствуйте, дорогие мои родные — папа, мама, Миля, Ира, Мирра и Валя!

Прошло немного времени, как я уехала из дома, а столько за это время у меня было нового, интересного и трудного. Вчера вечером, например, первый раз в жизни зашивала рану — девочка распоролa ногу гвоздем. Нервничала я, и руки у меня дрожали. Одну иголку сломала. Девочка плакала, а сестры смотрели на меня неодобрительно. Но все же я наложила швы. Вот тут-то я и вспомнила свой институт. Готовили из меня терапевта, а по хирургии совсем мало практики дали, а здесь, в районной больнице, нельзя быть односторонним врачом. Всё приходится иной раз делать. Сейчас у меня очень много работы, потому что заболели хирург и педиатр, а главный врач в отпуске. Да и мои терапевтические больные тоже тяжелые, есть среди них старички-пенсионеры, и они никак не хотят выздоравливать по-настоящему, несмотря на все мои старания. Это меня очень волнует. Но вы не подумайте, что у меня все только плохое. Вот недавно обо мне в нашей районной газете напечатали благодарственное письмо. Написала его моя бывшая больная, которую я вылечила от воспаления легких.

А вчера ходили в школу осматривать ребят. Девочки вели себя хорошо, а мальчишки — страшные озорники. Вместо того чтобы идти ко мне на осмотр, они бегали по коридору, кричали и смеялись. Их ловила наша медсестра и по одному вводила ко мне в кабинет. А главное, никто из них ни на что не жалуется. Такие веселые здоровяки! Душа радуется, глядя на них, и я вспомнила нашего Валю — и он ведь такой.

Последнее время часто приходится ходить к больным по вызову на дом. И не только днем, но и ночью. Сегод-

ня, например, ходила в поселок, расположенный в трех километрах от нашего села. Пошла туда в четыре часа дня, как управилась в больнице, а возвращаться пришлось уже вечером. Темно было и метель поднялась — жутко мне стало. Я очень боялась волков. Они к нам иногда наведываются.

У меня сейчас очень много забот: хочу сделать уют в своем отделении и вообще в больнице. Как-то я весь вечер вышивала «анютины глазки», а пришел наш хирург Алексей Иванович (я его зову Алёшенька) и расстроил меня. Он спросил: «Что это за цветы?» И мне стало очень обидно и грустно: раз цветы не узнают, значит они плохо сделаны, не похожи на натуру. Рисунок все взяли с моей салфетки и очень хвалили его, а Алёшенька потом сказал мне: «Это я нарочно спросил, что за цветы». Вот какой противный! Разыграл меня. Он у нас такой — хитроватый и насмешливый, но симпатичный. Вот, дорогая мама, и пригодилась мне твоя наука по вышиванию. Я выпросила у главврача мягкий диван и поставила его в свое отделение. Еще хотим устроить в больнице красивый уголок и столовую для больных. Так хочется, чтобы больным было у нас хорошо, уютно.

Я очень рада, что вы отремонтировали квартиру и разбили под окном садик. Мне так хочется побывать дома! Скорее бы в отпуск. Папа пишет, что надо требовать отпуск и жаловаться инспектору по труду и в профсоюз. Некому, папа, жаловаться. Я сама председатель райпрофкома.

Восьмого марта у нас собирается вечер медработников и, кроме того, придется еще погулять на свадьбе у акушерки Нины Павловны. В этом году у нас много свадеб. А по вечерам к нам приходят молодые люди: Алёшенька, Василий Иванович — холостяк, бывший моряк, Василий Павлович — пропагандист райкома партии и Ваня — аккордеонист, красивый и веселый парень. В компании мы беседуем на разные темы, поем, танцуем. Особенно хорошо поет Василий Иванович песню, в которой есть такие чудесные слова: «Знай, дорогая, солдатское сердце не камень, женская верность солдату в разлуке нужна».

Вашу посылку я получила. Большое спасибо. Вдали от дома как-то лучше оцениваешь родственное внимание и понимаешь, что тебя любят. А, бывало, дома, я кап-

ризначала иногда. Мне теперь стыдно за эти свои глупые поступки. Мне часто снится наш дом и все вы, мои родные. Беспokoюсь, все ли у вас в порядке. Больше всего я беспокоюсь за здоровье папы. Что это у него за упорный кашель? Мама, да прогони ты его к врачу! Пусть проверит легкие. Курить, наверно, он так и не бросил, а сколько я ему говорила об этом.

Пишите мне, дорогие. Я очень радуюсь вашим письмам. Желаю вам всем здоровья, целую вас всех.

Ваша Галя.»

После завтрака Миля, Ира и Валя ушли в школу, а Капитолина Семеновна села за стол проверять тетради. Она работает во второй смене.

— Приходите сегодня в мой класс,— приглашает она меня,— я вам покажу своих ребят.

Из спальни вышла Мирра. У нее карие, задумчивые глаза, иссиня черные волосы.

— А к нам в детский дом вы придете? — обратилась она ко мне.— У нас ребяташки очень интересные. Я их сегодня во сне видела...

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ

Много лет тому назад Сергея Ивановича Петрова неожиданно-негаданно постигло большое горе: умерла молодая жена, оставив ему двух дочек: худенькую, впечатлительную Галочку, пяти лет, и трехлетнюю черноглазую Миррочку. «Как же теперь жить-то буду?..» — тяжело подумал Сергей Иванович.

Промаялся с девочками год, а на другой сделал предложение Капитолине Семеновне. Знал ее давно: она работала учительницей в той же школе, где его покойная Евдокия была директором. Все о Капитолине отзывались хорошо: девушка зрелая, умная, характером спокойная, трудолюбивая и скромная, много в жизни нужды видела — сиротой выросла у чужих людей. «Может, и будет моим девочкам матерью...» — подумал Сергей Иванович. И не ошибся в своем выборе. Привыкли девочки к Капитолине Семеновне и мамой стали звать сами, без отцовской подсказки. Лишь временами впечатлительная Галочка почему-то плакала, и злые языки слух разнесли: «Издавается мачеха над девочками... Ишь, плачут, надры-

ваются...» Дошли эти разговоры и до Капитолины Семеновны. Обидно стало, горько. Полюбив Сергея, она любила и его дочек, как своих. Пожаловалась мужу, а он успокоил ее: «Не обращай внимания, Капа. Мало ли что сплетницы могут наговорить».

Девочки привыкли к новой маме. И когда Сергей Иванович, человек вспыльчивый и временами резковатый, покрикивал на жену, девочки бросались к ней, обхватывали ее ручонками и обиженно, со слезами на глазах кричали: «Папка, не обижай маму! Она хорошая». Девочки доверяли ей свои детские тайны больше, чем своему родному отцу. Это была ее моральная победа. Сергей Иванович иной раз даже ворчал на своих дочек: «Что я вам отец, или кто?» Ревновал, а в душе радовался: «Видно, не ошибся я в Капе».

А через год после женитьбы еще дочка появилась — Миля, потом Ира и уже в начале войны родился мальчик, Валентин. Семья росла, и росли заботы, но дети не разделялись в семье на своих и чужих. Все были свои. Рос дружный семейный коллектив. Галя и Мирра помогали маме нянчить малышей и убирать по дому.

Началась Великая Отечественная война. Сергей Иванович, строитель, уехал под Москву на сооружение оборонительных рубежей, Капитолина Семеновна осталась в Иванове с пятью детьми, из которых старшей Галине было только 13 лет. Трудно стало жить. Целый день в школе, а домой придет — забот полон рот: и тетради надо проверить, и обед приготовить, и белье починить, и детей помыть. Не выдержала Капитолина Семеновна — заболела и слегла. В больницу отправили. Галя за старшую в семье осталась. Отложит, что повкуснее, от детского пайка и в больницу матери несет, а та не принимает: «Что ты, Галя, сами ешьте. Я не голодная здесь. Ты да-ла бы отцу телеграмму...»

Сергей Иванович рассказал мне: «Получил я телеграмму — жена при смерти. Испугался. Неужто, думаю, правда? Может, нарочно так написали, чтоб отпустили меня. Да смотрю, телеграмма больницей заверена. Отпустили меня в краткосрочный. Еду и думаю: а ну как случится что-нибудь с Капой... Что я тогда без нее делать буду с пятерыми малышами? Приезжаю домой, вхожу в квартиру и вижу: все мои птенцы около печки сидят. Сбились в кучу и греются, а печь-то чуть теплая и в ком-

нате холодище. Накормил я их, и поехали мы в больницу. Картошки наварили и прямо в чугушке горяченькую привезли матери. Угощенье! Полны сани детей и я с ними. По дороге знакомые встречаются, спрашивают: «Куда ты их везешь? Уж не на базар ли продавать?» И смех и горе! Как увидела Капа меня и всех наших детишек, заплакала от радости. Да и сам я чуть крепился. Поплакала Капа, а духом воспрянула. А тут я ее еще порадовал: рассказал, как на фронте встретил ее бывших учеников, один из них сапер, а другой артиллерист. Поклон ей передали. Мы, говорят, свою учительницу никогда не забудем. Смотрю, моя Капа совсем поднялась на койке и улыбается — рада. А врач и говорит: «Опасность миновала. Кризис прошел». Обрадовался я, а Капа и спрашивает меня: «Когда же ты, Сережа, к нам вернешься? Трудно мне без тебя.» «Знаю сам, Капа, да как же... Война ведь. Страшная сила лезет на нас. Всем народом надо отпор давать. Потерпи еще немного».

Годы войны в семье Петровых вспоминаются с грустью и с какой-то теплотой. Наверно, потому, что нужда и труд особенно сплачивают людей.

Война окончилась, и полегче стало Капитолине Семеновне: коли вся семья вместе и душа на месте. Однажды Галина встретила отца у порога с радостным криком:

— Папа! Папочка! Нашу маму наградили медалью «За трудовую доблесть»!

Поздравил Сергей Иванович жену, обнял ее и поцеловал.

— Спасибо тебе, мать, труженица. Теперь нам надо детей в люди выводить. А уж мне-то по строительству работы привалило...

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

Я иду с Сергеем Ивановичем на его, как он выразился, «строительный объект», на котором он работал бригадиром. Мы приближались к большому двору, обнесенному новым забором. Во дворе стоял двухэтажный каменный дом светло-кремового цвета. Дом как будто светился и ласкал взор целомудренной свежестью.

— Хорош? — спросил меня Сергей Иванович, с гордостью взглянув на свое «детище». — Наша бригада премию за него получила. Хорошие мастера есть в моей бригаде. Любо смотреть, как работают Архипов, Мохов, Маршалов. Но в семье не без урода. Кукушкин, например. По душам говорили с ним, товарищеским судом судили — не помогло. Нет совести у человека.

Входим с парадного крыльца в дом. Поблескивает масляная краска голубых панелей.

Нас приветливо встречает Валентина Ивановна Андреева, заведующая детским садом. В больших светлых комнатах — новая мебель, множество разных детских игрушек.

— Вы уж извините, — говорит Валентина Ивановна, — мы ведь всего две недели здесь живем. Еще не все сделали. Картины заказали да вот ковры надо купить. Хотим свой детский садик сделать красивым.

Сергей Иванович, заметив на моем лице улыбку и угадывая мои мысли, сказал:

— Детям рай и родителям хорошо. Душа радуется, когда хорошо сделаешь.

Лицо Сергея Ивановича, иссеченное морщинами, как будто молодеет, глаза светятся большой радостью.

Мы вошли во двор. В глубине двора малыши катались с горки, пытались лепить снежную бабу, но она у них рассыпалась — было морозно. Сухой снег под лучами солнца искрился.

Дети что-то кричали, смеялись.

Сергей Иванович, глядя на детей, задумчиво сказал:

— Вот гляжу я на них, и вспоминаю своего комиссара бригады. В нашей пластунской бригаде в девятнадцатом году комиссаром была женщина. Миррой ее звали. Ох, и любили же мы ее все! Заботилась о нас, о красноармейцах, как мать родная. Боевая была, решительная. Бывало, как ни тяжело, а она поддерживает дух: «Погодите, товарищи, победим врагов, какая хорошая жизнь будет для нас и наших детей...» Погибла под Черниговом, когда Десну форсировали. До сих пор помню ее. Сильный человек на всю жизнь след в душе оставляет. И вот, когда родилась у меня вторая дочка, я и назвал ее Миррой.

В ДЕТСКОМ ДОМЕ

В просторной комнате у стены ровной шеренгой стоят индивидуальные шкафики для детей. На этих шкафиках и на полках множество разных игрушек: тут и румянощечные куклы, лошадки, кубики, мячи, кольца, красные флажки. Маленькие дети, взявшись за руки, образуют хоровод. В такт музыке они идут по кругу и поют под аккомпанимент пианино, на котором играет Нина Николаевна, музыкальный руководитель. Воспитательница Мирра Сергеевна в цепочке с детьми. Но вот открывается дверь и входит Евдокия Марковна, повар. Она небольшого роста, толстенная и волосы у нее седые. В руках у нее пирог-колобок, и сама она, улыбаясь, чем-то напоминает сказочный колобок.

Дети разомкнулись и бросились к ней, закричав на разные голоса: «Э-э, колобок! Колобок! Смотри, глаза! И нос! И рот! И ушки!»

Дети удивлялись и радовались. С трудом удалось собрать их снова в хоровод, а в середину круга стала с колобком в руках Нина Попова. Ее почему-то прозвали «Нина-клюква». Может быть, потому, что лицо у нее круглое и очень румяное. У Нины абсолютный музыкальный слух. Ей всего пять лет, но она знает много песен и хорошо их исполняет. Вот и сейчас, чуть наклонив голову набок, она выводит мелодию тоненьким голоском: «Колобок, колобок». А дети хором восклицают:

— Колобок, колобок, я тебя съем!

Потом колобок разрезали на маленькие части и каждому малышу дали по кусочку. Дети съели его, как самое вкусное лакомство.

Дети окружили Мирру Сергеевну, сели ей на колени, повисли на плечах.

— Тетя Мила, тетя Мила! Мы тебя любим!

И вдруг эту приятную минуту нарушает детский крик и плач. Подрались два мальчика. Один из них лежит на ковре и плачет, а другой с победоносным видом стоит рядом, держа в руках рыжего коня. Победитель — Толя Спирин. Мирра Сергеевна подходит к нему и строго спрашивает:

— Толя, зачем ты обидел Ваню?

— Лошадка хорошая, я тоже хороший и лошадка моя, — твердо отвечает Толя.

— Нет, Толя, ты неправ. Ваня тоже хороший. И все здесь ребята хорошие.

— Нет, не все. Я лучше всех,— капризно упорствует Толя.

Ваню поднимают с пола и дают ему такого же коня, как у Толи.

Я и Мирра Сергеевна отходим к окну, и она потихоньку мне говорит:

— Понимаете, кто-то еще до нас — Толя у нас недавно — внушил ему мысль, что он самый лучший. И вот, как видите, он уже проявляет эгоизм и трудно исправляется. Есть дети и крикливые, грубые, очень экспансивные, а иные нервные и упрямые. И к каждому надо подход найти. Не всегда это удается.

Кто-то крикнул, что к Светлане Макаровой и Вале Лапшовой пришли их мамы. С радостным криком две девочки, Света и Валя, побежали по лестнице вниз в кабинет директора. Я тоже спустился за ними вслед. Девочки уже сидели на коленях у своих мам, ели яблоки и весело щебетали. Они рассказали о том, как они играли в «Колобок» и какой он был вправдашний.

Но вот пришло время ужина, и девочек позвали в столовую. Однако они не хотели уходить от матерей.

— Мила Сергеевна, еще немножечко побудем с мамой,— взмолились девочки.

— Сегодня, девочки, у нас на ужин ваши любимые кушанья: какао и финики,— соблазняла их Мирра Сергеевна.

О, это они очень любят! Уходя от матерей, девочки спрашивали по нескольку раз:

— Мама, а когда ты еще придешь?

— Скоро, дочка, приду, скоро.

Девочки ушли. Я спросил женщин, почему они не воспитывают своих детей сами, а отдали их в детский дом. Полноватая женщина лет сорока, Борина Татьяна Георгиевна, ответила:

— Светлана не родная мне. Мать ее оставила в родильном доме и забыла про нее. А я одинокая. Вот и хожу к ней. Понравилась мне девочка. Удочерить ее хочу. Зарабатываю я хорошо и обеспечу нашу жизнь.

— Я тоже бездетная,— сказала Софья Тимофеевна Голубкова,— и хожу к Вале Лапшовой. У нее никого из

родных нет, и у меня тоже. А душа тоскует. Вот я и пригрела ее. Хорошая она. Привыкнет — удочерю. Без материнской-то ласки им тяжело, а мне без ребенка тоже скучно.

В спальне кровати устланы чистым бельем, одеяла ватные, мягкие. Дети засыпали не сразу. Мирра Сергеевна ходила на цыпочках около кроватей и шепотом говорила:

— Спать, спать, дети.

На кровати приподнимается девочка с монгольским разрезом глаз.

— Тетя Мила, а завтра будет еще колобок?

— Будет, будет. Спи, Зина, спи.

Было девять часов вечера, когда мы вышли из детского дома.

— А все ли у вас дети понимают слова «мама» и «папа»? — спросил я Мирру Сергеевну.

— К сожалению, не все. У некоторых детей совсем нет родителей в живых, а у других есть только матери-одиночки. И некоторые из них не посещают своих детей. Меня это ужасно возмущает! Родила ребенка, сдала государству на воспитание и как будто все в порядке. А ребенку очень тяжело жить без родительской любви...

Мирра Сергеевна задумалась. Смуглое лицо ее как будто еще более потемнело.

— Не поверите, — продолжала она, — вечером лягу и долго не могу уснуть — все думаю о своих детишках. Я их даже во сне вижу. Трудно мне иной раз приходится. Мало у меня жизненного опыта. Хорошо, что мама мне помогает своими советами...

Мы шли с Миррой по центральной улице, ярко освещенной длинной аллей столбов с большими матово-белыми плафонами. Люди спешили в кино, в дежурных магазинах толпился народ, трамваи были полны — ехали рабочие заступать в ночную смену. И вечером город жил большой разносторонней жизнью.

Слушая Мирру, я невольно вспомнил рассказ ее отца о другой Мирре, комиссаре бригады. Мечта той Мирры сбылась, и ее имя стало бессмертным в делах комсомольского племени — строителей коммунизма. Какая замечательная преемственность в поколениях советских людей!

Идет урок по чтению во втором классе. За столом стоит одетая в темное шерстяное платье Капитолина Семеновна. Белый воротничок хорошо гармонирует с гладкой прической беловатых волос. Голос у нее спокойный, ровный, она почти никогда не повышает тона, и дети ее слушаются. Во время урока Капитолина Семеновна никого не выпускает из своего поля зрения и ведет урок так, словно дирижер управляет поведением детей. Иногда она отходит от своего стола и идет по проходу между парт. Остановится, заглянет в тетрадь одного, другого ученика. Или вдруг наклонится и, положив руку на плечо вертлявого мальчика, тихо, но твердо скажет: «Будь внимательнее».

— Гаврилов, — вызывает учительница ученика, прочти нам заданное стихотворение.

К столу смело подходит мальчик и, повернувшись лицом к классу, начинает читать громко и выразительно:

Немало, немало на свете ребят,
Немало их в каждой стране,
Они не желают, они не хотят
И слышать о новой войне.

— Садись, Гаврилов. Пять.

Мальчик гордо оглядывает класс, словно хочет сказать: «Вот какой я молодец!» Глаза у него сияют.

Капитолина Семеновна вызывает другого ученика, Нестерова Валерия. Нестеров светловолос и круглолиц, лоб у него большой, выпуклый, а щеки булками. Вид у него серьезный, и держится он с чувством собственного достоинства. Однако читает он торопливо и делает ошибки, не замечая их сам. Капитолина Семеновна не перебивала его, а когда он кончил читать, обратилась к классу:

— Ну, ребята, теперь давайте разберем, какие ошибки Нестеров допустил при чтении.

Учительница хочет проверить внимание учеников и подвергнуть Нестерова коллективной критике.

Из-за парты поднимается отличница Кулькова Лена. У нее на щеках ямочки, а в косичках пылают алые ленты. Она говорит требовательно, почти строго:

— Нестеров неправильно прочитал «его» и «что». Надо читать «ево» и «што»,

— Правильно, Кулькова,— подтверждает учительница.— Садись. Еще кто скажет? Ну, Былинская.

— Нестеров целую строчку пропустил.

— Правильно. Пропустил. Учти, Нестеров, замечания. Не торопись при чтении. И не зазнавайся. Тебе это мешает.

Нестеров потупился. Недавно у Капитолины Семеновны произошел с ним конфликт. На уроке он плохо выполнил письменное задание. Капитолина Семеновна приказала ему остаться после уроков и переписать работу. «Не буду переписывать. Уйду домой»,— угрюмо ответил Нестеров. «Ну, ладно, уйди,— сказала учительница,— я посмотрю, как ты уйдешь...» Вышла она из класса, а минут через пять заглянула в класс. Нестеров сидел за партой и переписывал урок. Переписал хорошо, но, видимо, затаил в душе обиду на учительницу. На второй день на уроке он стал писать явно небрежно и, когда Капитолина Семеновна спросила его, почему он так плохо пишет, Нестеров ответил: «Нарочно так пишу. Все равно вы меня после уроков оставляете». Возмутилась таким ответом Капитолина Семеновна, но сдержалась и в тот же день пошла к его родителям. Отец Нестерова, выслушав учительницу, сказал: «Валерка у нас такой: хвали его — будет стараться из кожи лезть, а как чуть против шерсти — наперекор пойдет. Такой уж у него дурной характер—весь в мать»—«Но как же теперь быть?»—спросила Капитолина Семеновна.—«Теперь надо с ним поговорить по душам»,— сказал отец Нестерова.

Вдвоем поговорили с Валерием по душам. Извинился он перед учительницей, но про себя Капитолина Семеновна подумала: «А не ошиблась ли я в своем подходе к Нестерову? Ведь у меня свой такой же растет сын. По-доброму—все сделает, а с нажимом—ничего не выходит».

Звонок. Перемена. Капитолина Семеновна выходит в коридор. Справа и слева к ней подбегают мальчики и девочки и стараются уцепиться за ее руки. Каждому хочется быть поближе к любимой учительнице. Тут она называет их по именам, как мать. Дети любят такие хорошие минуты. Они охотно ходят со своей учительницей в кино и каждый из них старается сесть рядом с Капитолиной Семеновной.

Прощаясь с Капитолиной Семеновной, я спросил:

— А есть ли у вас еще какие-нибудь педагогические затруднения?

— Конечно, есть,— ответила Капитолина Семеновна.— Каждый ученик хоть и мал еще, а в нем уже своеобразная личность проявляется. Вот есть у меня один ученик Ахмеджанов. Упорно не желает учиться. В первом классе просидел два года и во втором сидит второй год. Курит. Пробовала я с его родителями говорить — не помогает. Отец у него не родной, а мать на сына рукой махнула, и мои педагогические подходы к нему как будто уперлись в каменную стену. Как же быть? Иной раз ночью сна нет, все думаешь о них, о детях, как бы в них побольше хорошего вложить, чтобы они стали настоящими людьми. Ведь все хорошее, что дети получают в эти годы, они потом будут помнить всю жизнь.

ВЕЧЕР

Поздний вечер. Почти вся семья Петровых в сборе. Нет лишь матери. Сергей Иванович огорченно промолвил:

— Опять задержалась. И так каждый день.

Стук в дверь. Вошла Капитолина Семеновна. У нее сникшее, усталое лицо. Будто извиняясь перед семьей, она сказала:

— Заседание партбюро было, а потом — методическая комиссия. Да надо было еще больную учительницу проведать...

— А что без тебя и сходить больше некому? — сердито спросил Сергей Иванович.

— Да ведь я член месткома по быту.

— Почему же они на тебя столько навалили нагрузок?

— Народ, Сергей, выбирал. Как же я откажусь?

Миля подошла к матери и с легким укором сказала:

— Папа, мама устала, — и, очевидно, желая рассеять ворчливое настроение отца, обратилась к матери: — Мама, мы уже вымыли и пол и посуду.

— Хорошо. Молодцы. А Валя помогал?

— Помогал немного пол мыть. Только он не умеет.

Мальчик обиженно надулся.

— Не умею, так нечего и заставлять меня.

Сергей Иванович вдруг встает и подает команду повесевшим голосом:

— Ну, девочки, собирайте ужин! Самовар у меня уже готов.

— Сейчас, папа,— отвечает Миля и, наклонившись к уху матери, о чем-то таинственно ей шепчет. Та молча кивает головой, и они удаляются в спальню. Отец, Ира и Валя уходят на кухню хлопотать об ужине. Из спальни слышится приглушенный разговор. Потом оттуда выходит Миля и идет на кухню. В гостиной остаемся мы вдвоем с Капитолиной Семеновной. Наклонившись ко мне, она потихоньку говорит:

— Миля дружит с братом своей подруги. Он сейчас служит в армии, в Германии. Переписываются они. Сегодня письмо прислал. Я так думаю, благородное чувство приносит радость...

Все садятся за стол. Чай всем наливает мать. Ира улыбается лукаво и тихо говорит, как будто между прочим:

— А мне из Германии сегодня письмо прислали.

Миля смущенно переглянулась с матерью — как бы не выдала Ирка их тайны... Чтобы отвлечь внимание от этой опасности, Капитолина Семеновна сказала:

— А ну-ка, Ира, покажи нам письмо от Хельги.— И, обернувшись ко мне, добавила:

— Ира переписывается с одной девочкой из Берлина. Адрес узнала из «Пионерской правды».

Ира быстро поднялась из-за стола и принесла письмо.

— Ну, прочти вслух,— сказала мама.

Ира стала читать протяжно тоненьким голосом: «Дорогая Ира! Письмо твое получила и очень хочу с тобой подружиться. Я учусь в седьмом классе. Моя мама тоже учительница. Мы изучаем русский язык. Это очень трудный язык, но я охотно им занимаюсь. Ты пишешь, что твой день рождения будет 6-го апреля. Я тоже родилась в этот день. Значит, Ира, мы с тобой близнецы (все засмеялись). Мы тоже праздновали 7-е ноября. Погода у нас была прекрасная. На демонстрации я была с мамой. Мы ехали с пионерами на машине. Было очень весело. Нас снимали для фильма. Может быть, ты увидишь нас в кино. Ученицы из класса моей мамы выступали на вечере и наизусть читали стихотворения на русском языке. Желаю тебе успеха в учении. Привет

от моей твоей маме. Пока до свидания! Твоя Хельга Эрнст.

Берлин-Панков, ул. Эльзы Брандштрем, 37.

Пришли мне свою фотографию. Я тебе посылаю свою».

С маленькой фотокарточки смотрела на нас тоненькая девочка с короткой прической светлых волос. Она стояла около забора, за которым виднелся сад и небольшой домик. «Маленький друг наших больших друзей — немецкого трудового народа», — подумал я.

Капитолина Семеновна, словно откликаясь на мои мысли, сказала:

— Я тоже списалась с матерью Хельги, и мы договорились с ней учить и растить детей для мира и счастья.

В этот вечер, как и всегда, семья Петровых легла на покой поздно. Во многих домах рабочего городка уже потушен был свет, и серая зимняя мгла опять надвинулась на жилища. Крепко спали после дневных трудов люди с чистой совестью. Мирная вдохновенная жизнь! Надежными нитями связана трудовая советская семья с родным государством. Семья Петровых крепка глубокой солидарностью — залогом личного и общего счастья. И душой этой семьи является мать, Капитолина Семеновна, скромная труженица, каких у нас в стране миллионы. С великой любовью и терпением она воспитала своих пятерых детей и сотни чужих, как своих родных. Коммунистическая эстафета передается в надежные руки.

А. Родыгин

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Волга у Кинешмы стояла скованная льдом. Временами ветры переметали наезженную дорогу сыпучим снегом, и колеса автомашины начинали буксовать. Нагоняли другие грузовики, и водители общими усилиями налаживали путь в Заволжск. Усталый, но довольный возвращался домой шофер Иван Васильевич Круглов.

Семья у него не маленькая, но дружная. К шести часам вечера домой собрались все. Сыновья-комсомольцы Мефодий и Яков пришли с работы, а остальные дети: Сима, Нюра, Ваня и Поля — из школы. Марфа Тимофеевна накрывала стол.

Но однажды сыновья возвратились домой поздно. Они были возбуждены и о чем-то горячо продолжали спорить.

— О чем это вы? — спросил отец.

— Мы, папа, сейчас провожали заводских ребят на целину. Больше тридцати комсомольцев поехало. Девушки среди них. С музыкой и песнями отправили... — стал объяснять Мефодий. — А Яша и говорит: «Вот погляди, многие обратно вернутся, не выдержат». Неверно это, — отвечаю, — ребята едут по призыву партии и комсомола, это честь для них — поднимать целину...

— Я тоже так думаю, — поддержал Мефодия Иван Васильевич, — по-нашему, по-рабочему так: взялся за гуж, не говори, что не дюж.

С тех пор разговоры о целинниках, их работе, о жиз-

ни новоселов в Сибири и на Дальнем Востоке стали обычным явлением в квартире Кругловых. Сыновья приносили с собой «Комсомольскую правду», читали вслух корреспонденции и очерки о молодых патриотах, показывали снимки.

— Хорошо бы поехать туда,— как-то сказал Мефодий.

Но ему на это ничего не ответили. Только мать как-то встревоженно взглянула на сына, но и она промолчала.

Мысль о переезде всей семьей на Дальний Восток у Кругловых возникла в тот вечер, когда Мефодий прочитал вслух очерк о новоселах, недавно переселившихся из центральных областей в Приморский край. В очерке много говорилось о Владивостоке, достопримечательностях края, рыбных промыслах, охоте, о том, как хорошо чувствуют себя новоселы в колхозах, окруженные заботой и вниманием старожилов.

«Климат здесь мягкий,— читал Мефодий.— Зима сравнительно теплая, осень солнечная, сухая. В лесах встречается медведь, колонок, козуля, кабан»...

Иван Васильевич, завянутый рыболов-любитель, не выдержал:

— А насчет рыбы что-нибудь говорится?

— Есть и об этом,— ответил сын.— «Высоко развита рыбная промышленность, в море преимущественно ловится навага, скумбрия, сельдь, корюшка, в Уссури и ее притоках — лещ, сазан»...

Марфу Тимофеевну и Серафиму заинтересовало сельское хозяйство. Якова — промышленность. Беседа затянулась до тех пор, пока из репродуктора не послышался перезвон Кремлевских курантов, отмечавших полночь.

— Ну, хватит, спать пора,— напомнила мать.

— Как хотите, а я с удовольствием поехал бы в Приморье,— со вздохом сказал Мефодий.— Раздолье-то какое там!

— И я тоже,— тихо проговорила Серафима.

— Никто никуда не поедет,— вдруг рассердилась Марфа Тимофеевна.— А уж если ехать — так всем вместе.

— Иначе ничего и не выйдет,— как бы подытоживая разговор, заметил старший Круглов.

Ивана Васильевича не на шутку взволновала мысль

о возможном переезде на Дальний Восток. Родился он в деревне, и прежде чем стать шофером, немало потрудился в поле. Любовь к земле теплилась в сердце неугасимым огоньком. Да и жена его тоже выросла в колхозной семье.

В субботу, перед выходным, Круглов отпросился у заведующего гаражом и отправился в исполком районного Совета. Вышел он оттуда улыбающимся, даже немного растроганным.

В воскресенье утром Марфа Тимофеевна пекла пироги с рисом и грибами. Когда они, горячие и пахучие, исходили паром на столе, пришел брат Григорий Тимофеевич с женой и давний дружок Ивана Васильевича — шофер Корольков.

За стол сели одиннадцать человек. Хозяин оглядел сидящих, словно проверяя, все ли налицо, и негромко, но торжественно сказал:

— Ну, вот, давайте потолкуем, посоветуемся. Был я вчера в райсовете, спрашивал, когда можно поехать на Дальний Восток, на каких условиях. Условия подходящие, лучше желать не надо. А когда узнали, что у меня в семье полдюжины комсомольцев, даже приветствовали. Но сняться с насиженного места да собраться в такую дорогу — это не в магазин за хлебом сходить. К тому же и трудности впереди будут. Прошу высказаться...

— Зря вы надумали это, — заговорил Григорий Тимофеевич. — Разве здесь плохо? Как говорится, от добра добра не ищут. Жили бы в Кинешме потихоньку...

— Я не согласен с тобой, Гриша, — вмешался Корольков. — Жить потихоньку мы не имеем права, а тем более детей этому учить. Не такое сейчас время.

— Жена, как? — спросил Иван Васильевич.

— Где дети, там и я. — тихо ответила Марфа Тимофеевна.

— А вы, ребята? — обернулся Круглов к сыновьям.

Детей можно было и не спрашивать. Их смеющиеся глаза выражали такую радость, что отец с матерью только переглянулись.

В ДАЛЕКИЙ ПУТЬ

В четырехосном вагоне кроме Кругловых устроились семья Желтовых, демобилизованные советские воины

Борис Иванов, Анатолий Пряников, Василий Журавлев, комсомолка Женя Турчанинова, работавшая до этого официанткой на пароходе «Глеб Успенский», семья Федора Портнова, пожилого грузчика, комсомольцы из Пучежа Сергей Горчаков и Юрий Вакуленко.

По-соседству в вагонах разместились комсомольцы: Николай Дерипапа — демобилизованный солдат, ремонтник фабрики им. Балашова Виктор Кропотов и его жена Варя — медицинская сестра, Александр и Валентина Кострулины из Гаврилово-Посадского района, ивановцы Георгий и Елена Черевичниковы, молодые вичужане Витя Ленушкин и Лида Нюшкина и другие.

Медленно поплыли назад лица провожающих, пристанционные пристройки, груженные платформы на запасных путях. Поезд уверенно набирал скорость..

— Нас здесь почти целый десяток, — говорил Вася Желтов. — Целая комсомольская организация. Хорошо бы попасть в один колхоз.

— По-моему, это от нас зависит, — замечала застенчивая Женя Турчанинова. Она редко вступала в разговоры между ребятами, но ей очень хотелось не расставаться с ними. Известно, как сближает людей дальний путь.

У Васи было чистое открытое лицо, а глаза всегда улыбочиво смотрели на окружающих. Перед ним открывался новый, увлекательный мир, почувствовать который ему не мешали даже стены вагона. Женя заметила, что Вася завел толстую тетрадь и часто делает записи.

— Это, наверное, дневник, — подумала девушка.

Действительно, демобилизованный солдат твердо решил записывать все интересное, что удастся увидеть в дороге. Проснувшись утром, он первым делом спрашивал:

— Какие станции проехали ночью? Долго стояли?

И очень огорчался, когда узнавал, что на рассвете поезд проследовал через крупную узловую станцию, а он проспал ее.

«Проехали станцию Савино, — пометил он на первой странице в день отъезда из Иванова. Здесь, перед уходом в армию, я учился на курсах трактористов, работал

прицепщиком. Товарищи по работе и не подозревают, что мимо них, по пути в Приморье прокатил Василий Желтов. Ну, ничего, с места я им напишу». Через сутки Вася записал:

«Пересекли красавицу Оку. Привет тебе, славной дочери великой матушки-Волги!».

Часто ребята устраивались рядышком на длинной доске перед настезь открытой дверью вагона и часами любовались картинами чудесной природы. Мимо проплывали густые прохладные леса, желтеющие на колхозных полях хлеба, серебристые змейки убегающих вдаль речек. Пели задорные комсомольские песни...

ПО МЕСТАМ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИИ

От станции к станции, от полустанка к разъезду поезд мчался всё дальше и дальше. На остановках, где менялись паровоз и поездная бригада, новоселов окружали местные жители. Расспрашивали, куда ивановцы держат путь, одобряли выбор, желали всякого благополучия.

За Уралом эшелону все чаще устраивалась «Зеленая улица», и тогда поезд, не останавливаясь, пробегал сто и более километров. Уже много городов больших и малых осталось позади. Всюду леса строек, трубы фабрик и заводов, подъемные краны, башни элеваторов.

Миновав Тюмень, эшелон направился к Омску. Где-то недалеко от него, на берегу прославленного в песнях Иртыша, строился мощный гидроузел. Агитаторы-коммунисты Пушкин и Захаров обещали рассказать новоселам об этом строительстве и, раздобыв на станции в Омске нужные материалы, провели в вагонах беседы.

После Барабинска и знаменитых Кулундинских степей, где усилиями патриотов и механизаторов, среди которых много было и молодежи из Иванова, подняты миллионы гектаров целины, показался Новосибирск, крупнейший промышленный центр Сибири с его многочисленными новостройками. Но здесь эшелону задержаться не пришлось. Диспетчер станции Новосибирск по селектору передал распоряжение машинисту паровоза:

— Ведите эшелон быстрее. К началу уборки он должен быть на месте.

— Вот это здорово! — говорил Вася Желтов. — С места в карьер, за работу, или как говорят, с корабля на бал. А мы даже и не беспокоимся...

— А как бы ты посоветовал беспокоиться, — иронически спросил Яков Круглов.

— Много в вагоне, конечно, не сделаешь, — задумался Вася. — А что-то нужно. Я, например, могу сразу сесть за трактор или пойти в прицепщики. Тебе же придется труднее. Поле это не шлихтовальная машина, на которой ты работал.

— В эшелоне найдутся опытные бригадиры-полеводы и машинисты. Попросить их провести беседы...

— Верно, верно, — согласилась Женя. — Я только и умею, что мыть посуду да разливать чай.

— Мы уже решили, что ты у нас в комсомольской бригаде поварихой будешь, — пошутил Журавлев.

Красноярск, куда прибыл эшелон, переживал дни высокого трудового подъема. Развертывалось гигантское строительство на Енисее.

Такое романтическое вступление вскружило головы некоторым слабонервным и одного из них в эшелоне, после отъезда из Красноярска, не досчитались.

**
*

Вот и Иркутск — район огромной, героической стройки. Каждому человеку на земле известны такие названия, как Ангара и Братск. К возведению величайшей в СССР гидроэлектростанции на Ангаре приковано внимание всего советского народа. Здесь трудятся тысячи молодых строителей.

Эшелон на станции Тайшет стоял недолго. И хотя все были предупреждены о скором отходе поезда, молодым новоселам хотелось посмотреть на стройку своими глазами. С первого взгляда, конечно, трудно было разобраться в хаосе бесчисленных железнодорожных путей, складов материалов, начатых и законченных зданий. Впору даже заплутаться и отстать от поезда...

Но Кострулин и Черевичников разыскали и привели к вагонам земляка. Это был комсомолец Василий Бу-

шуев, родом из Юрьевца. Он работал на стройке уже несколько месяцев. Парня засыпали вопросами:

— Удивительная эта река Ангара,— рассказывал Бушуев— Бежит, словно за ней, кто гонится. У Падунского сужения так ревет, что за два километра слышно. Однако, обуздаем. Народ к нам едет отовсюду, все больше комсомольцы. Всем дело находится, а работаем днем и ночью. Есть кроме меня ивановцы...

— Как живете?

— Сначала ютились в палатках, а сейчас общежития построили. А вы что, на колхозную работу едете? Тоже хорошее дело. Мы будем строить, а вы нас хлебом снабжать...

Позади уже Улан-Уде, Чита, Ксеньевская, Куйбышевка-Восточная. Вот и Волочаевка. В трехстах метрах от нее находится невысокая сопка, на вершине которой поставлен памятник-музей с развевающимся на нем кумачевым флагом. Памятник воздвигнут в честь знаменитых волочаевских боев, явившихся завершением разгрома японских интервентов и белогвардейских банд в годы гражданской войны.

Несколько минут стояли молча ивановцы, созерцая исторический монумент. И кто знает: не вспоминал ли кто-нибудь из них деда или отца, отдавшего на этой сопке свою жизнь за свободу и счастье трудового народа?

Скоро Амур и Хабаровск. Еще сутки езды, и эшелон прибудет к месту назначения.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Два чувства овладели Сергеем Горчаковым, когда эшелон подходил к станции Шмаковка. Новосела радовалось, что кончилось беспрестанное движение по рельсам и скоро он вольется в трудовую семью дальневосточных колхозников и в то же время тревожила мысль: как примут его сторожилы? Так, вероятно, думали и все ивановцы.

У вагонов появились первый секретарь Кировского райкома партии Машкин и председатель райисполкома Фролов. Они приветливо поздоровались с новоселами.

— Давайте знакомиться, — сказал секретарь. — Мы рады вашему приезду.

К станции подходили автомашины. Вскоре новоселы увидели и будущих своих руководителей — председателей колхозов. Им была предоставлена возможность отобрать таких людей, таких специальностей, какие больше требовались.

— Кто из вас слесари и шоферы? — спрашивал председатель колхоза Кочетков.

— Есть и те и другие! — ответил ему Сергей Горчаков.

В стороне стоял Юрий Вакуленко. Он неплохой слесарь и токарь, но не решался сам сделать выбор, боясь ошибиться. Но бравого парня уже заметил председатель сельхозартели «Великий путь» Мухин. Когда Вакуленко стал грузить свои вещи в кузов грузовика, Мухин обратил внимание на небольшой, но тяжелый ящик, который комсомольцы с трудом подняли.

— Это, дружище, что за кладь у тебя такая?

— Тут у меня ключи, тисочки... — ответил Юрий. — Думаю, что пригодятся.

В колхоз «Великий путь» отправилось 14 семей новоселов. Через час машина подкатила к красавице Усури. Протяжно гудя, приближался пароход-паром. Когда погрузились, совсем за вечерело. В небе вспыхнули звезды. Пароход плыл вдоль берега. В полночь, за поворотом засветило огнями большое село. Это и был колхоз «Великий путь», за которым смутно угадывалась вековая тайга.

Утром прибывших пригласили в правление. Председатель рассказал, как и что предстоит им делать.

— Сегодня же и напишите заявление о приеме в члены колхоза, — неторопливо говорил Мухин. — Выдадим вам для начала на семью по центнеру хлеба, по одному поросенку и пять куриц, по два улья с колхозной пасеки, нарежем по 15 соток картофеля и по 10 соток овощей... Но и потрудиться нужно: уборка урожая начинается. Женщины и подростки пойдут в поле, а мужчин мы направим в лес. Пусть берут в руки топоры и пилы, каждому новоселу к новому году надо иметь свою хату. Строительные материалы, гвозди там, стекло мы уже получили.

Семья Кругловых, Вася Желтов, Анатолий Пряников, Ваня Журавлев и Женя Турчанинова попали, как и мечтали, в один колхоз им. Хрущева. Все вступили в члены артели, обжились в новых домах. Комсомольцы усилили собой колхозную комсомольскую организацию. Каждому нашлась работа по душе. Иван Васильевич и Марфа Тимофеевна сразу же пошли в полеводческую бригаду. Мефодий стал плотником, Яков — учеником пчеловода. Серафима решила работать дояркой. Младшие дети тоже потрудились на сенокосе и в саду. Все они в прошлом году заработали более двух тысяч трудодней.

Труднее, в первое время, пришлось Ване Журавлеву. Он не имел никакого представления о сельском хозяйстве, работая раньше в ткацком производстве. Но на помощь ему пришли деревенские комсомольцы. Секретарь комитета Гриша Чижов взял Ваню с собой, в поле, подвел к жнейке и сказал:

— Вот наш лучший жнец, Боря Михайлов. Он поможет тебе освоить машину, а потом ты будешь тоже косить хлеб.

Михайлов очень серьезно отнесся к поручению Гриши Чижова, и постарался передать Ване все, что знал и умел. А скоро учитель и ученик стали неразлучными друзьями. Они вместе работали в поле, ходили купаться на Уссури. Борис с хозяйской гордостью показывал приятно примечательные места в округе.

— Скоро мы с тобой пойдем за виноградом в тайгу,— говорил он,— вон туда за сопки.

Или:

— Сегодня я покажу тебе наш колхозный сад, а за ним пчелопасеку. В ней больше 200 пчелиных семей. Если пчеловод Трофимыч раздобьется, может и медом угостить...

Крепка дружба и у других ивановских комсомольцев с местными ребятами и девушками. Женя Турчанинова поступила в колхозную столовую поваром и быстро научилась готовить наваристый украинский борщ.

По вечерам далеко вокруг села разносились молодежные песни.

Вася Желтов сразу же по приезде начал работать

помощником комбайнера, потом машинистом на молотилке, а осенью его послали на курсы колхозных бригадиров.

Ранней весной Желтов получил из Кинешмы от своих друзей Вани Удалова и Андрюши Охупкина письмо. Они интересовались, как живет и работает он — Вася и все товарищи, уехавшие с ним.

Вася не задержался с ответом. Он писал:

«Дорогие земляки! Пишет вам Вася Желтов из Приморья. Вы спрашиваете, как мы себя здесь чувствуем. Одно скажу: хорошие здесь люди, большая и интересная жизнь!

Провожая нас на Дальний Восток, вы давали наказ: работать так, как велит Родина, партия, наш родной комсомол, работать еще лучше, чем в Кинешме. Этот наказ мы выполняем.

Не все, конечно, пришло сразу. Начинать жизнь на новом месте всегда труднее. Но мы и не думали вначале об удобствах, а заботились лишь о том, как бы помочь колхозу, где нас так душевно приняли, не уронить честь ивановцев.

Дорогие друзья! Мы, ивановцы, приобрели здесь новые специальности: строителей, бригадиров, механизаторов. Ивановцы Кузьма Хренников и Вадим Услов на строительных работах выполняют по две нормы. Благодаря таким энтузиастам у всех новоселов есть теперь свои добротные дома. И зарабатываем мы очень хорошо. А рыбалка у нас какая!

Одна беда: земли здесь очень и очень много, а людей мало. Вот и прошу вас: подумайте хорошенько да приезжайте к нам. Примем вас с распростертыми объятиями.

Ваш Вася Желтов».

Не один комсомолец Желтов написал такое письмо землякам и друзьям на родину. И все они нашли сердечный отклик.

В марте этого года в Приморье снова ушел эшелон с ивановскими новоселами. И, как всегда, среди них много юношей и девушек, чьи сердца горят желанием быть полезными своей Родине.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

П. Куприяновский

ЗАБЫТЫЙ РАССКАЗ А. С. СЕРАФИМОВИЧА

Сорок лет назад, 8 марта 1918 года, на страницах иваново-вознесенской газеты «Рабочий край» был опубликован рассказ А. С. Серафимовича «Тамбовский мужичок в Москве». Позднее, насколько нам известно, рассказ этот нигде не перепечатывался, не вошел он и в последнее собрание сочинений писателя; рукопись произведения в архиве Серафимовича не сохранилась. Между тем этот забытый рассказ представляет определенный интерес как для исследователей творчества Серафимовича, так и для широкого круга читателей. «Тамбовский мужичок в Москве» — одно из первых произведений писателя, написанных после Великой Октябрьской социалистической революции, и один из первых советских рассказов вообще.

В рассказе правдиво и достаточно живо нарисован образ «тамбовского мужичка» Карпа Красногубова, который вскоре после Октябрьского переворота приехал в Москву, чтобы разведать о судьбе сына, пропавшего на войне. Заодно Карпу хотелось выяснить, «как и что» делается на свете. Случайно встреченный им односельчанин солдат Николай рассказывает ему о политике большевиков по отношению к миру, земле, банкам и т. д. Он разъясняет Карпу, в чем смысл революции, и помогает ему освободиться от ложных и превратных представлений о ней, навеянных всякими слухами и поповской проповедью. Ничего не узнал Карп о судьбе сына-солдата, но он узнал много о том, что происходит в мире, где настоящая правда. «Просто сказать, глаза ныне

открыл», — говорит он Николаю. В родную деревню Карп отправляется с намерением нести узnanную правду крестьянам, организовать их, чтобы помочь революционным рабочим хлебом.

Таково содержание рассказа «Тамбовский мужичок в Москве». Фигура Карпа Красногубова предстает в нем не только жизненной, но и живо написанной, индивидуализированной. Излишен только языковой натурализм, который порой чувствуется в передаче его речи («банка» вм. «банк», «куда», «чижолую» и т. д.). Бледнее выглядит образ солдата Николая. Речь его иногда пестрит общими словами, не совсем уместными в задушевной беседе («положение солдата, положение крестьянина и рабочего в серой шинели, в армии было ужасно» и т. д.).

Рассказ верно передает то, чем жили и волновались люди в начале революции, в нем есть реалистические штрихи из быта тех лет, он насыщен злободневным для того времени материалом (борьба с калединщиной, с угрозой голода). В произведении отразились характерные черты советской литературы периода гражданской войны — ее открытая публицистическая и агитационная направленность.

Большую часть рассказа занимает диалог между темным «тамбовским мужичком» и солдатом-большевиком. То, что говорит солдат, имеет значение не только для Карпа. Автору важно было в доходчивой форме объяснить читателям из народа существо происшедших революционных перемен и раскрыть перед ними дальнейшие цели борьбы. И это в значительной мере удалось Серафимовичу. Он выступает в рассказе как писатель-пропагандист, проводник идей большевистской партии в широкие народные массы.

Серафимович позднее так говорил об этом периоде своей работы:

«Трудности были невероятные... Борьба с классовым врагом шла не на жизнь, а на смерть.

В деревне какие только небылицы не ходили про советскую власть. Поэтому лжи и клевете надо было непременно противопоставить нашу агитацию. Надо было непременно внедрять в массы правильное представление о советской власти и делать это убедительно.

Я принялся писать маленькие картинки, очерки, кор-

респонденции. Старался попроще да пояснее. Чтобы правдиво было и убедительно...

Газетная работа давалась мне с трудом. Я никак не мог приспособиться к газетным темпам. Однако должен отметить, что газета сыграла большую роль в моей писательской судьбе. Она приучила меня к сжатости изложения и к быстроте развертывания повествования, к подбору убедительных фактов и их обобщению...» (Собр. соч., т. VIII. Гослитиздат, М., 1948, стр. 425—426).

Эти особенности творчества Серафимовича в первые годы революции, так ясно охарактеризованные самим писателем, нашли свое выражение и в его рассказе «Тамбовский мужичок в Москве».

ДВА ПИСЬМА

А. Н. ТОЛСТОГО К Е. Ф. ВИХРЕВУ

(*Публикация П. Куприяновского*)

Переписка замечательного советского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883—1945) с Ефимом Федоровичем Вихревым (1901—1935) относится к началу 30-х годов. Она представляет определенный интерес, так как из нее мы узнаем об отношении Толстого к искусству Палеха, которое А. М. Горький определил как «одно из маленьких чудес, созданных революцией», «свидетельство о пробуждении творческих сил в массе трудового народа»¹.

Адресат писем А. Н. Толстого — Е. Ф. Вихрев — советский писатель, горячий энтузиаст и пропагандист новой палехской живописи. Его книга «Палех», вышедшая первым изданием в 1930 году в московском издательстве «Недра», получила весьма положительную оценку Горького. Вихрев — родом щуянин, в течение нескольких лет (1922—1925 гг.) работал в иваново-вознесенской газете «Рабочий край», с 1925 года жил в Москве, но постоянно поддерживал самые близкие и дружеские от-

¹ И. Груздев. Горький и его время. Т. 1, изд. 2-е. «Советский писатель», М., 1948, стр. 453—454.

ношения с палешанами, часто наезжал в Палех, изучая жизнь, быт и искусство палехских художников¹.

6 июля 1931 года Е. Ф. Вихрев обратился к Алексею Николаевичу с письмом, которому, судя по всему, предшествовала просьба Толстого приобрести для него произведение палехского искусства. Вихрев писал Толстому: «Уважаемый Алексей Николаевич! У меня лежит для Вас одна палехская миниатюра. Не знаю, как Вам переслать ее. Хорошо, если б с оказией. Она стоит 50 р[ублей]. 30 Вы внесли. Значит—Вы должны дослать в Палех 20 рублей (Палех, Ивановской Пром. обл., Южского района; Артель Древней Живописи). Счет прилагаю. Не уверен, что это письмо дойдет до Вас. Сообщите, когда Вы сможете взять у меня миниатюру (работа замечательного художника Ник. Зиновьева «Охота на лебедей»)»...²

Первое из публикуемых писем А. Н. Толстого — от 18 июля 1931 года — и представляет собой ответ на это письмо Вихрева. Оно носит, главным образом, деловой характер. В нем обращает на себя внимание тот факт, что искусство Палеха приобретает в это время все новых и новых ценителей.

22 июля Е. Ф. Вихрев сообщил Алексею Толстому о получении от него денег. Далее в письме говорится: «Миниатюра, которую я Вам посылаю, — более или менее обыкновенная, хотя и принадлежит кисти очень хорошего, думающего мастера. Палешане говорили мне, что они могут сделать Вам и еще что-нибудь. Вы можете предложить им собственную тему. Если будете заказывать, советую поиметь в виду следующее: Ив. Голикову заказывайте такой сюжет, в котором были бы всадники, Ив. Баканову заказывайте тему мирную, не батальную, Вакурову — что-нибудь лесное, сказочное, Маркичеву, Зубкову — деревенское, колхозное, Зиновьеву: пусть он сам придумает тему, в которой бы древнее органически сочеталось с новым (как он сделал «Суд пионеров над лешим», «Электрожарптицу» и пр.)»³.

¹ О Е. Ф. Вихреве см. статью Е. Сахаровой в сб. «Писатели текстильного края», Ивановское книжное издательство, 1953, стр. 139—152.

² Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР (ИМЛИ), архив А. Н. Толстого, инв. № 2615/2.

³ Там же, инв. № 2615/1.

Во втором из публикуемых писем Толстого, являющемся ответом на письмо Вихрева от 22 июля, дается оценка палехского искусства и высказывается мысль о дальнейших путях его развития,— в этом особый интерес и значение этого письма. Из него также видно, что из среды палехских художников Толстой остановил свое внимание на Иване Ивановиче Голикове (1887—1937), творчество которого он, по-видимому, ценил особенно высоко. Именно ему писатель предложил создать миниатюру на тему «Красные сбрасывают конный корпус Улагая в Днепр».

Выполнил ли И. И. Голиков просьбу А. Толстого, установить не удалось. Всего скорей — нет, так как никто из старых художников Палеха не помнит о работе Голикова на указанную тему. Однако, раз возникнув, интерес к искусству Палеха у писателя не пропадает. В 1933 году он высказал пожелание, чтобы палешане проиллюстрировали его роман «Петр Первый». Об этом можно заключить из письма Вихрева Толстому от 12 октября этого года, где есть такие строки: «Послали ли вы «Петра» в Палех? Если нет — шлите на мое имя, — я передам и проконсультирую»¹.

По свидетельству палехского художника Николая Федоровича Вихрева (брата Е. Ф. Вихрева), Толстой прислал в Палех несколько экземпляров своего романа. В оформлении произведения должны были принять участие восемь человек, в том числе Ф. А. Каурцев, у которого и книга до сих пор сохранилась², А. В. Котухин, И. В. Маркичев и др. Однако работа эта по каким-то причинам была прекращена.

Интерес писателя к Палеху не исчерпывается приведенными выше фактами. Он нашел преломление и в его творчестве: мы имеем в виду образ Андрея Голикова, «иконописца из Палеха», нарисованный во второй и третьей книгах романа «Петр Первый».

¹ Там же, инв. № 2615/3. Здесь Вихрев сообщает также, что новые палехские очерки, в том числе очерк о И. И. Голикове, он послал в ленинградский журнал «Звезда» и просит А. Н. Толстого, как члена редколлегии этого журнала, проследить за их движением. Очерки Вихрева о Палехе в «Звезде» напечатаны не были.

² Ф. А. Каурцев сообщил мне, что это — первая книга романа «Петр Первый», выпущенная издательством «Советская литература», М., 1933.

Фигура Голикова в романе, по-видимому, целиком вымышленная, какой-либо исторический прототип этого персонажа неизвестен. Обращает на себя внимание фамилия героя: она совпадает с фамилией самого значительного и талантливого художника советского Палеха—Ивана Ивановича Голикова. Этим писатель хотел как бы сказать, что Голиковы, талантливые живописцы, были в Палехе издревле, что корни палехского искусства уходят в далекое прошлое. Второе из публикуемых писем косвенно подтверждает такой вывод.

Письма А. Н. Толстого печатаются ниже с сохранением особенностей оригинала. Хранятся они в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), фонд 94, ед. хранения 248.

№ 1

18/VII-1931

Детское Село,
Пролетарская, 4.

Дорогой Ефим Федорович, горячо благодарю Вас за хлопоты,— я уже совсем потерял надежду иметь палехское изделие. Посылаю Вам 25 рублей. В Вашем письме палехский адрес написан неясно, и я боюсь, что деньги пойдут гулять черт знает где. Поэтому прошу Вас переслать в Палеху 20 рублей вместе с моей благодарностью. Пять рублей Вам—на пересылку. В Москве я буду нескоро, а миниатюру хотелось бы получить поскорее. Если Вы запакуете ее в деревянный ящик, в вату и бумагу, то вреда не будет. Если же Вам все это делать хлопотно, то держите ее у себя до осени.

У нас в Детском есть большие любители Палехи, там у известного Бонч-Бруевича¹ хорошая коллекция первоклассной Палехи.

6 августа я уезжаю на месяц. Пожалуйста, напишите о Вашем решении.

Благодарный Вам Алексей Толстой.

¹ Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — старый член Коммунистической партии. В 1917—1920 гг. — управляющий делами Совнаркома. Позднее — организатор и директор Государственного литературного музея. Автор многих работ по истории революционного движения в России, русской литературе и т. д.

30/VII 1931 г.¹

Дорогой тов. Вихрев, спасибо, чудную миниатюру Зиновьева получил. Это очень хорошо. Это выше, конечно, персидской миниатюры, если не брать их лучшие образцы. В Палех я написал (Зубкову)² и просил его— предложить Ив. Голикову сюжет: «Красные сбрасывают конный корпус Улагая в Днепр»... Мне хочется получить такую вещь, в которой Голиков дал бы хоть черточки современности. Я написал, что дело было на закате, Днепр озарен закатом, белые бросаются с высокой кручи с конями, пушками, обозами... Момент модернизации очень был бы интересен. Напишите об этом Голикову. Палехское искусство должно двигаться в сторону современности, но с чрезвычайной осторожностью, разумеется,— т[ак] к[ак] очень тонко и хрупко.

Хотелось бы, чтобы этот сюжет Голиков написал на подносике, чтобы можно было обрамить и повесить.

Еще раз спасибо Вам.

Ваш Алексей Толстой.

Т. Лешуков

«РОКОВОЙ ВЫСТРЕЛ»

У писателя Вячеслава Шишкова еще в студенческие годы завязалась дружба с Валентином Валентиновичем Нагорским, работавшим в 20-е годы профессором Ивановского сельскохозяйственного института. Дружба была настолько прочной, что свой отпуск проф. Нагорский часто проводил вместе с писателем. Они вместе уезжали на Кавказ или в Крым, или в лесные чащобы Карелии, где либо охотились, либо просто путешествовали от одного села к другому. Эти совместные путешествия были для писателя творческой зарядкой на осень и зиму, которые он проводил тогда в Ленинграде и Детском Селе (ныне гор. Пушкин). Немало сюжетов для своих

¹ В письме дата поставлена ошибочно: 30/VI—1931 г.

² Александр Иванович Зубков — художник, в то время председатель Палехской «Артели древней живописи».

«Шутейных рассказов» взял писатель у своего спутника проф. Нагорского — человека, по отзывам его коллег, общительного, разговорчивого.

Каждую свою новую книгу писатель отсылал заказной бандеролью в Иваново Валентину Валентиновичу с дружескими надписями. Так на титульном листе сборника рассказов «Торжество», изданных Ленинградским отделением госиздата в 1926 году, он написал: «Многоуважаемому Валентину Валентиновичу Нагорскому, на память о нашем путешествии в «Синай», о красном вине в духане, ястребке и перепелах».

На книге «Цветки и ягодки», вышедшей в издательстве «Земля и фабрика», имеется дарственная надпись:

«Дорогому Валентину Валентиновичу Нагорскому, с посвящением 105—113 страниц этой книги Вяч. Шишков. 5/VI-29 г. Детское Село, Малая, 14».

История этого посвящения такова. Нагорский, агроном по образованию, знал быт своих товарищей по профессии, особенно их роль в годы становления советской власти. Надо знать, что в те годы, разрушения эксплуататорских основ старого мира, отрицательные тенденции распространялись и на многие бытовые стороны жизни. Некоторые считали, например, «современным» и «революционным», когда женщина стриглась по-мужски, носила мужскую гимнастерку и кепку, ходила в сапогах, курила махорку, чем будто бы демонстрировалось равенство с мужчинами.

Нагорский рассказал Шишкову, как на этой почве с одной его знакомой, агрономом С., произошел трагикомический случай. Она приехала в гости к своей подруге, когда муж находился в командировке. Наговорившись досыта, подруги улеглись спать на одной кровати. Вернувшись глубокой ночью из поездки, муж увидел в спальне раскиданные по стульям принадлежности мужской одежды и на подушках рядом с женской голову с мужской прической.

Дальше предоставим слово автору рассказа «Роковой выстрел». «Ревнивец почти физически ощущал, как из его нутра выпирает отвратительная обезьяна, весь лоск и культурность мигом слиняли... Из его перекошенного рта обильно хлынула ругань, и револьвер закурносился прямо парню в лоб. Жена с визгом повисла на

руке мужа. Но выстрел грянул, и роковая пуля пронизала...

...Пуля на сей раз ничего не пронизала, пуля зря стегнула воздух, пуля засела в потолке.

— Дурак,— сквозь протухлый пряный дым сказала жена с презрением.— Осел! Разуи, глаза-то... Саша, милочка, он с ума сошел! Покажись ему, ослу, идиоту... Покажи чего-нибудь... Сунь ему в бельма...

Агронома враз прошиб сильнейший пот. «Женщина!» Мускулы его лица затрепетали, перестроились: лицо вновь стало круглым, и вместо маски гнева — изумление, елей и благодать.

— Извините великодушно,— растекаясь в ярко красной, пламенной улыбке, попятился он от Саши, поспешно прикрывшей стыдливости свои.— Извиняюсь... очень рад... Пардон... Удивительно, как вышло. Чем могу служить? — и, весь от пота мокрый, боком-боком вон».

Случай, действительно, забавный. Читатель от души смеялся, читая этот рассказ. Не смеялся только проф. Нагорский, которому было посвящено это творение. Ведь персонажи рассказа: агроном Петр Петрович Пшеничкин, его жена Анна Сидоровна и мужеподобная подруга Анны, Александра Филипповна Стукова — очень близко напоминали подлинных персонажей и по фамилиям и по событию, которое послужило сюжетом рассказа.

Короче говоря, Нагорскому пришлось принять немало язвительных стрел, направленных в его адрес друзьями, прославленными рассказом Шишкова. Писатель получил полное упреков письмо от своего ивановского друга. Вот что ответил В. Шишков в ответ на эти упреки:

«16. VI. 29. Детское Село. Дорогой Валентин Валентинович! Вот уж никак не ожидал, чтобы мое посвящение вам рассказа «Роковой выстрел» могло вас так сильно огорчить. Я, когда подписывал посвящение, был заряжен, по отношению к вам, самыми лучшими чувствами. Причиной всему моя русская несообразительность. Я вас понимаю. Не послужит ли прилагаемое при сем письмо мое выходом из того положения, в которое я вас невольно поставил. В следующем издании те указания, которые вы делаете, по поводу рассказа, приму во внимание, даже изменю место действия: ведь это так легко сделать. Этот рассказ я считаю одним из лучших

своих шутейных, и возможность улучшить его — мне в радость.

Вскорости мы поедем в Петрозаводск, потом по Волхову, через Грузию в Новгород и через Ильмень в Старую Руссу.

Я изучаю эпоху Александра I, мне надо осмотреть Грузию, военные поселения... Осенью же — август-сентябрь — поедем в Крым, сначала в Гаспру. Ежели в библиотеке Иваново-Вознесенска имеется 1-й номер «Звезды» за этот год — прочтите мою повесть «Дикольче», за которую меня весьма ругала наша критика. Мне было бы интересно ваше мнение об этой вещи. Будьте здоровы, Валентин Валентинович, и не сердитесь на меня.

Ваш Вяч. Шишков.»

К сожалению, после смерти проф. Нагорского его библиотека и переписка с Шишковым, как говорят, разошлась по рукам. Через букинистический магазин в мои руки попало только шесть томиков писателя с дарственными надписями Нагорскому, в одном из которых оказалось и публикуемое выше письмо В. Шишкова.

Знаю я, что в Архангельске с легкой
руки
Через год напечатают: «Мы — рыбаки...»
Что затем я увижу на юге страны
Заявление знакомое: «Мы — чабаны...»
Только он не чабан,
Не шахтер,
Не рыбак.
Это — редкостный тип,
Краснобаев писак.
Он летает на север,
На юг,
На восток —
Так порхает с цветка на цветок
Мотылек.
Как холодный сапожник,
Рифмуя едва,
Он в холодные строки
Вбивает слова.
Он позорит большой поэтический труд
И стремится туда,
Где побольше дадут!

Я ТАК И ЗНАЛ

— Вы слышали? Петров попал под суд —
Большая обнаружена растрата...
— Я так и думал, что нечисто тут.
Ему добро машинами везут,
И дом построил, что твои палаты!
А через день встречаются опять.
— Вы знаете: Петрова оправдали!
— Я так и знал! Никак не мог понять,
Кто мог его так зло оклеветать?
Семен Семеныч был всегда кристален!

**
*

И вы таких, наверное, встречали?

ОН ВОЗМУЩЕН

— Как? Обвинять меня в подхалимаже?!
С начальником я прям и честен был!
Хотел критиковать его.
И даже...
На тень его однажды наступил!

Игорь Мартьянов

ЖАЖДА МУЖЕСТВА

Он заявил своей жене,
Приняв осанку львиную:
— Сегодня, можешь верить мне,
Намылил заву спину я!

Супруга вскинула глаза:
— Опять идешь с собрания?
— Да нет же, я не досказал:
С ним мылся вместе в бане я...

«ИСПРАВИЛСЯ»

Демьян был дельный счетовод,
Но только с небольшим изъяном —
Неоднократно на завод
Он приходил изрядно пьяным.

И приключилась с ним беда —
Дождался взбучки от главбуха:
— Учти, чтоб больше никогда
Я не видал тебя «под мухой»!

И внял словам его Демьян,
С начальством не перекорялся:
С тех пор, когда бывал он пьян,
На службу вовсе не являлся...

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Виктор Кувалдин. В родных колхозах. Рассказы.</i>	3
<i>Владимир Жуков. Начало одной биографии. Поэма.</i>	35
<i>Михаил Шошин. Незабываемые встречи.</i>	48
<i>Д. Семеновский. Заволжье. Утром. Иней. Сумерки. Перед весной. Журавли. Полынь. Земля. Стихи.</i>	80
<i>А. Благоев. Мои мечты. Май. Я счастлив наравне с тобой. Пенсионеры. Скрылось время злое. Стихи.</i>	84
<i>М. Бригов. В избе на задворках. Главы из повести.</i>	88
<i>Сергей Макаров. Сердце твое огневое. Поэма.</i>	154
<i>Иван Ханаев. Чехов. Ранней весной. Нами трасса звездная пробита. Стихи.</i>	160
<i>Николай Гришин. Дождь. Деревце. Июнь. Стихи.</i>	163
<i>Алексей Захаров. Невеста. Рассказ.</i>	165
<i>Алексей Касаткин. Шуйская кадрили на сцене Колонного зала. Речка Воля. Сынок. Стихи.</i>	178
<i>Николай Часов. Гайка. Вовка. Стихи.</i>	180
<i>Геннадий Серебряков. Подснежник. Над откосом. Стихи.</i>	182
<i>Д. Семеновский. Есенин. Воспоминания.</i>	184
<i>Владимир Догадаев. Сколь у солдата душа богата. Сказка.</i>	210
<i>Александр Курчавов. Неотложные вопросы. Из рассказов о Д. Фурманове.</i>	219
<i>Альфред Пряников. Песня в степи. Палатка. Сошел загар коричневатый с кожи. Стихи.</i>	226
<i>Валентин Смирнов. Весенняя ночь. Стоят березки у дороги. Стихи.</i>	229
<i>Василий Великанов. Воскресник. Семья Петровых. Очерки.</i>	231
<i>А. Родыгин. Из блокнота журналиста.</i>	256

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

<i>П. Куприяновский. Забытый рассказ А. С. Серафимовича.</i>	266
<i>Два письма А. Н. Толстого к Е. Ф. Вихреву. Публикация П. Куприяновского.</i>	268
<i>Т. Лешуков. «Роковой выстрел».</i>	272

САТИРА И ЮМОР

<i>Леонид Кудрин. Порхающий мотылек. Я так и знал. Он возмущен. Стихи.</i>	276
<i>Игорь Мартыанов. Жажда мужества. «Исправился». Стихи.</i>	278

Коллектив авторов

ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР

Редакционная коллегия: Бри-
тов М. Е., Жуков В. С. (отв. ре-
дактор), Мелентьев В. Г., Про-
кофьев Д. Г., Шошин М. Д.

Художник Б. Н. Лукин
Художественный редактор
В. А. Орлов

Технический редактор
А. И. Панкратов

Корректоры: Н. А. Смирнова,
В. П. Лобанова

Сдано в набор 3/VII-58 года.
Подписано к печати 27/IX-1958 г.
Бумага 84×108¹/₃₂—8,875 печ. л.,
14,55 усл. п. л., 13,82 уч.-изд. л.

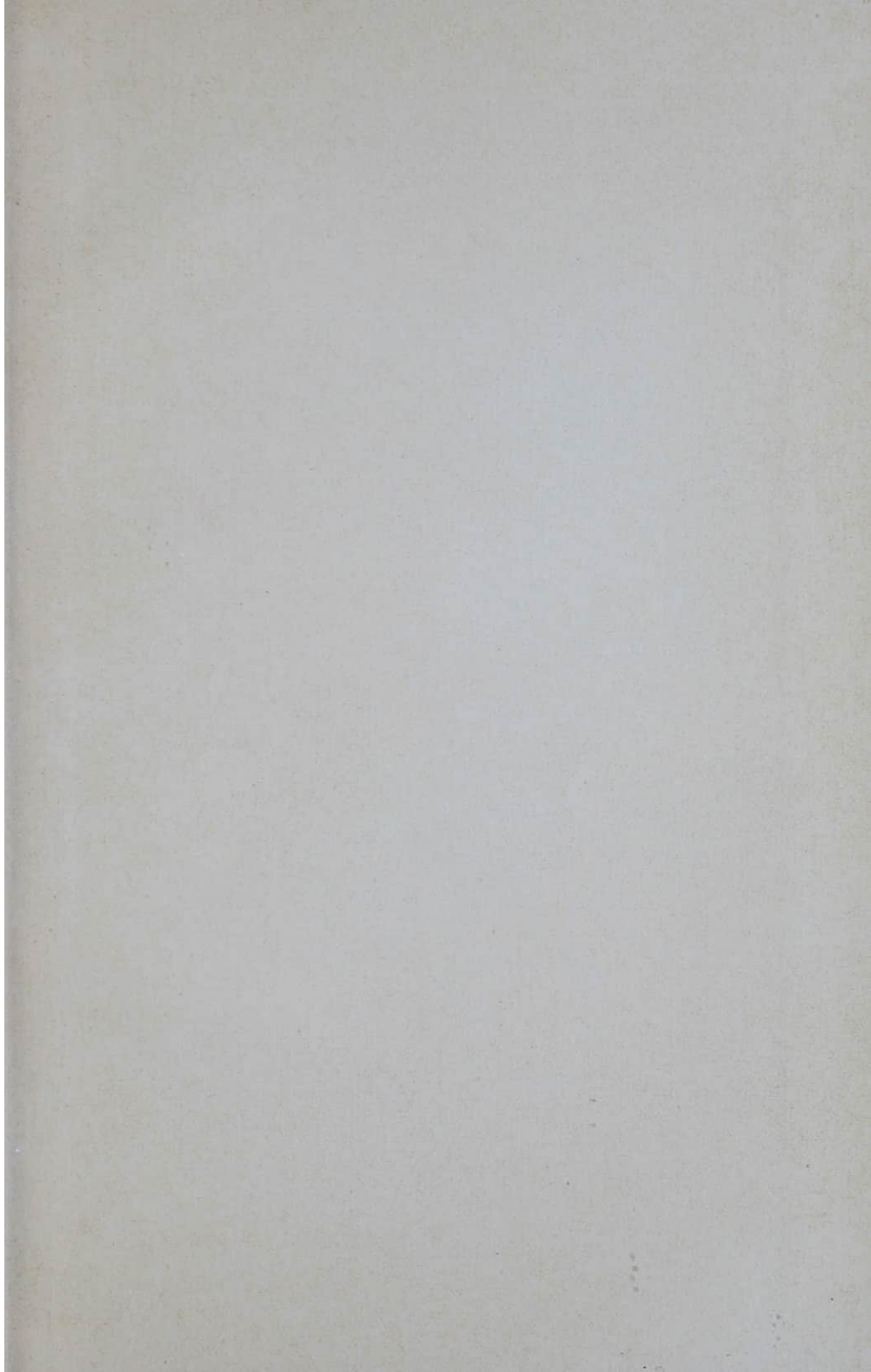
Тираж 5.000 экз. КЕ—04026.

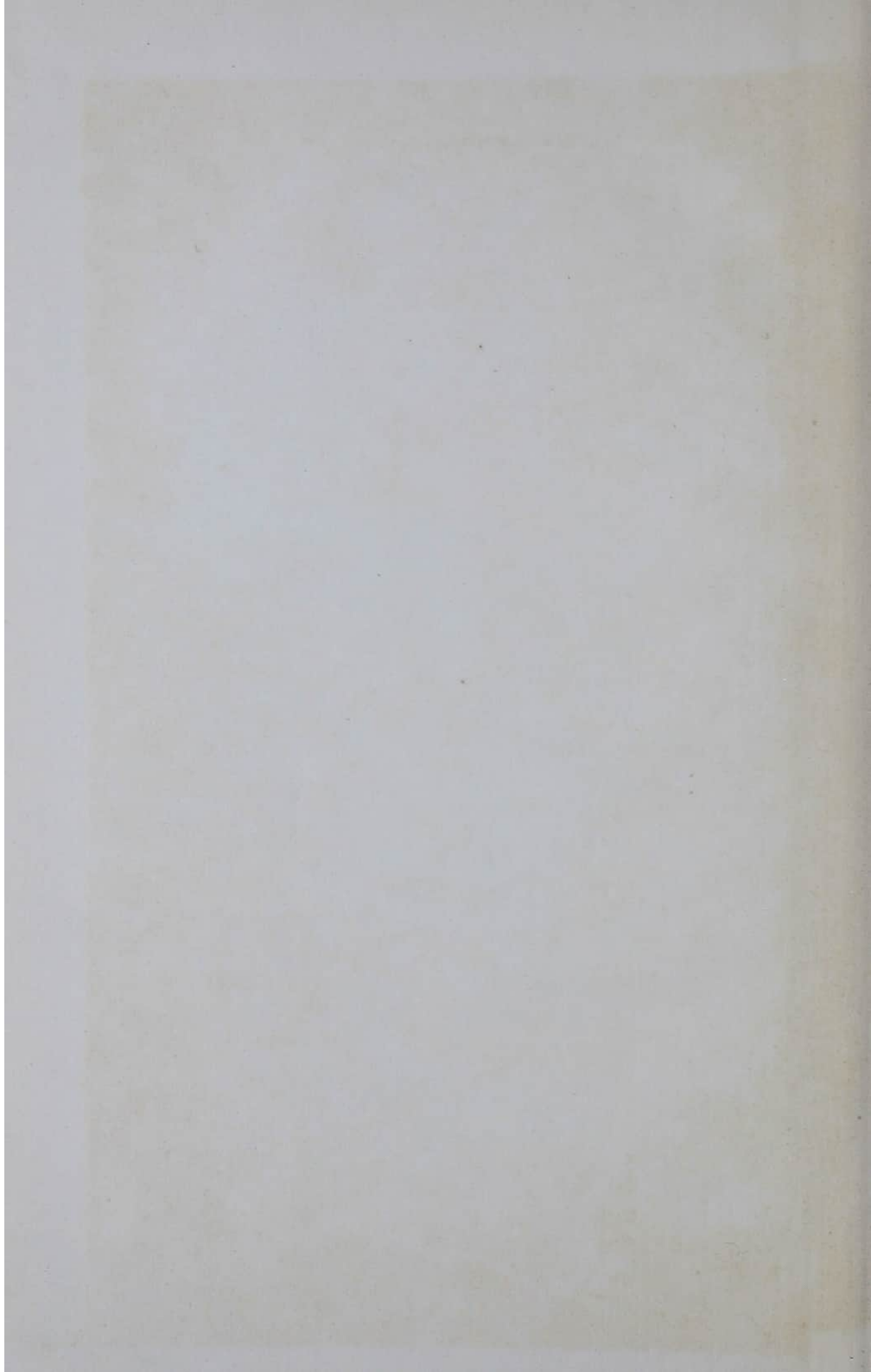
Ивановская областная типография,
г. Иваново, Типографская, 6.

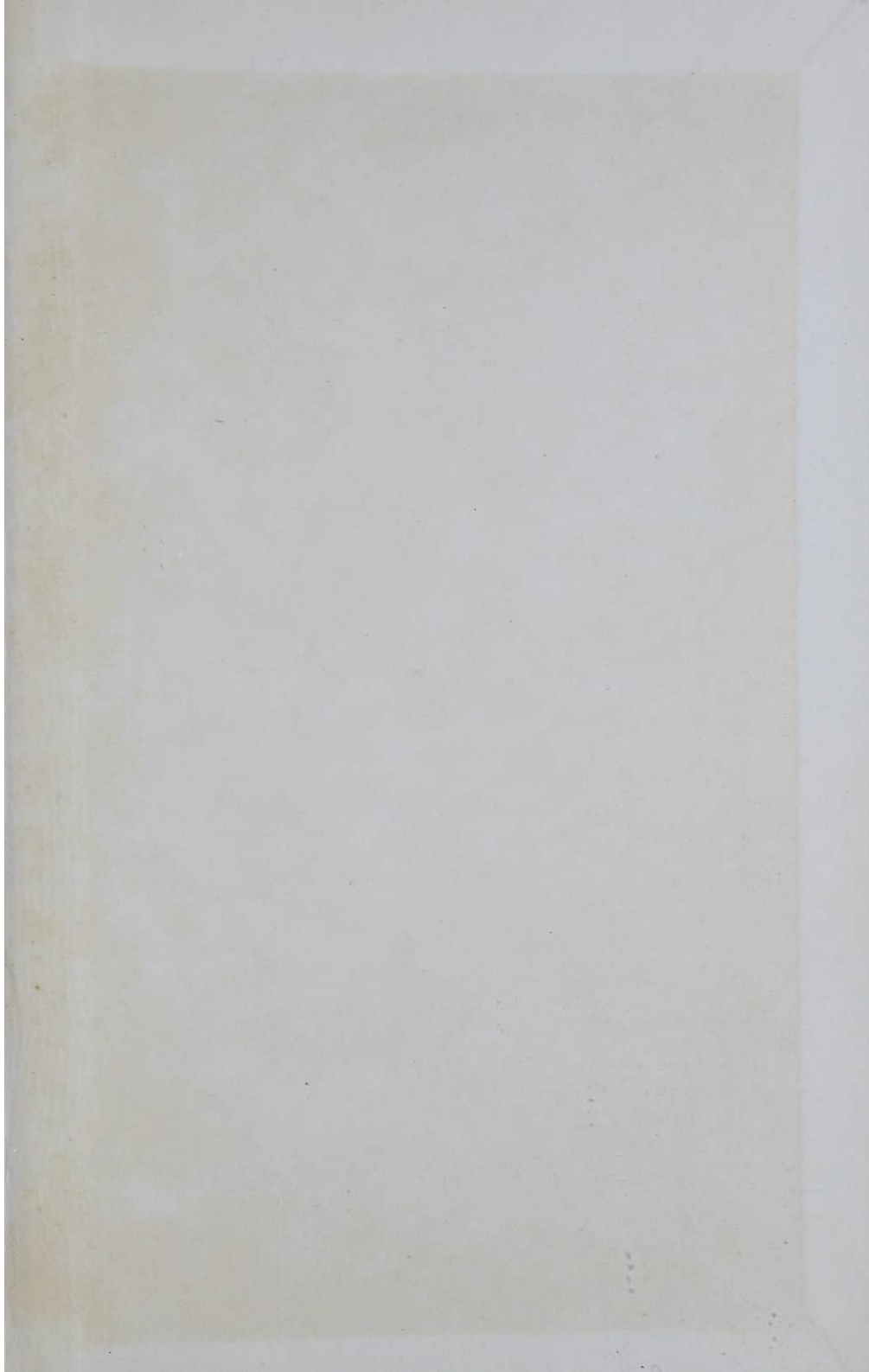
Заказ № 2599.

Цена 5 руб. 55 коп.

Переплет 1 руб.







6 р. 55 к.

ИВАНОВСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1958



